Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ





Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

ДЯДЮШКИН СОН • СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ • ВЕЧНЫЙ МУЖ

ГОРЬКИЙ
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1986

84Р1
Д 70

Текст произведений печатается по изданию:
Достоевский Ф. М.
Полн. собр. соч. В 30-ти т.
Л., Наука, 1972.

Художник
Б. Н. РАЗИН



ДЯДЮШКИН СОН

ИЗ МОРДАСОВСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ



Глава I

Марья Александровна Москалева, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренно ненавидят; но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького,— отчего она, при всем этом, умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтоб эта сановитая дама была первая сплетница в мире или по крайней мере в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии; сплетники — краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их, при удобном случае, и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет — что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это

тактика!— Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным comme il faut[1], с которого все берут образец. Насчет comme il faut она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели; а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Марья Александровна с гордостию их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карльсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома in quarto[2], так был обворожен приемом и любезностию Марьи Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку из самого Карльсруэ. Марью Александровну сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась наконец голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не gentilhomme[3] хорошей породы; а потому, естественно, испугался, наконец, своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в Мордасове? Бывали, например, такие случаи, когда все говорили: «Ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах?» Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и — ничего! Все оставалось благополучно, по-прежнему, и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеич, лишился своего места за неспособностию и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали,

[1] умением себя держать *(франц.)*.
[2] в одну четверть листа *(лат)*.
[3] дворянин *(франц.)*.

что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало: Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде.

Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется и смотрит как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сановит, особенно на именинных обедах, в своем белом галстухе. Но вся эта сановитость и представительность — единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне; это всеобщее мнение. Он и на месте сидел единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он бы мог приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную деревню, в трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ,— мимоходом сказать, всё состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеича при себе единственно за то, что он служил и получал жалованье и... другие доходы. Когда же он перестал получать жалованье и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностию и совершенною бесполезностию. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги, не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтоб сапоги у него блестели; три раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и — доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас, года полтора назад, по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеича? Зинаида, бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют,

почему до сих пор Зина не замужем, одною из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях, полтора года назад, с уездным учителишкой,— слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове; но скажите: кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда же она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было и Зина написала записочку (я даже думаю, что это было непременно так): какова же ловкость со стороны Марьи Александровны! каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело! Ни следа, ни намека! Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету; а между тем, может быть, бог знает как работала, чтоб спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно: какие здесь женихи? Зине только разве быть за владетельным принцем. Видали ль вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгляков, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое Мозгляков? Правда — молод, недурен собою, франт, полтораста незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун, с какими-то новейшими идеями! Да и что такое полтораста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе!

Всё, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое, золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость, то сочинение мое и осталось у меня в столе, в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев — и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более: князь произвел, в некотором смысле, переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многозначительнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове: тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить: что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны,— а для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.

Глава II

Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится: до того он обветшал, или, лучше сказать, износился. В Мордасове об этом князе всегда рассказывались чрезвычайно странные вещи, самого фантастического содержания. Говорили даже, что старичок помешался. Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником. Многие знавали князя назад тому лет шесть или семь, во время его пребывания в Мордасове, и уверяли, что он тогда терпеть не мог уединения и отнюдь не был похож на затворника. Вот, однако же, все, что я мог узнать о нем достоверного.

Когда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим образом вступил в жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался блестящими умственными способностями. Разумеется, он расстроил все свое состояние и, в старости, увидел себя вдруг почти без копейки. Кто-то посоветовал ему отправиться в его деревню, которую уже начали продавать с публичного торга. Он отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. Человек он был к тому же добрейший, разумеется, не без некоторых особенных княжеских замашек, которые, впрочем, в Морда-

сове считались принадлежностию самого высшего общества, а потому, вместо досады, производили даже эффект. Особенно дамы были в постоянном восторге от своего милого гостя. Сохранилось много любопытных воспоминаний. Рассказывали, между прочим, что князь проводил больше половины дня за своим туалетом и, казалось, был весь составлен из каких-то кусочков. Никто не знал, когда и где он успел так рассыпаться. Он носил парик, усы, бакенбарды и даже эспаньолку — все, до последнего волоска, накладное и великолепного черного цвета; белился и румянился ежедневно. Уверяли, что он как-то расправлял пружинками морщины на своем лице и что эти пружины были, каким-то особенным образом, скрыты в его волосах. Уверяли еще, что он носит корсет, потому что лишился где-то ребра, неловко выскочив из окошка, во время одного своего любовного похождения, в Италии. Он хромал на левую ногу; утверждали, что эта нога поддельная, а что настоящую сломали ему, при каком-то другом похождении, в Париже, зато приставили новую, какую-то особенную, пробочную. Впрочем, мало ли чего не расскажут? Но верно было, однако же, то, что правый глаз его был стеклянный, хотя и очень искусно подделанный. Зубы тоже были из композиции. Целые дни он умывался разными патентованными водами, душился и помадился. Помнят, однако же, что князь тогда уже начинал приметно дряхлеть и становился невыносимо болтлив. Казалось, что карьера его оканчивалась. Все знали, что у него уже не было ни копейки. И вдруг в это время, совершенно неожиданно, одна из ближайших его родственниц, чрезвычайно ветхая старуха, проживавшая постоянно в Париже и от которой он никаким образом не мог ожидать наследства,— умерла, похоронив, ровно за месяц до своей смерти, своего законного наследника. Князь, совершенно неожиданно, сделался ее законным наследником. Четыре тысячи душ великолепнейшего имения, ровно в шестидесяти верстах от Мордасова, достались ему одному, безраздельно. Он немедленно собрался для окончания своих дел в Петербург. Провожая своего гостя, наши дамы дали ему великолепный обед, по подписке. Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духаново (свое новоприобретенное имение) и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. Целый год после его отъезда дамы толковали об этих обещанных праздниках, ожидая своего милого старичка с ужасным нетерпением. В ожидании же составлялись даже поездки в Духаново, где был старинный барский дом и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами, по которым ходили лодки с деревянными турками, игравшими на свирелях, с беседками, с павильонами, с монплезирами и другими затеями.

Наконец князь воротился, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, даже и не заехал в Мордасов, а поселился в своем Духанове совершенным затворником. Распространились странные слухи, и вообще с этой эпохи история князя становится туманною и фантастическою. Во-первых, рассказывали, что в Петербурге ему не совсем удалось, что некоторые из его родственников, будущие наследники, хотели, по слабоумию князя, выхлопотать над ним какую-то опеку, вероятно из боязни, что он опять все промотает. Мало того: иные прибавляли, что его хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родственников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. Повторяю опять: мало ли чего не наскажут, особенно у нас в Мордасове? Все это, как рассказывали, ужасно испугало князя, до того, что он совершенно изменился характером и обратился в затворника. Некоторые из мордасовцев из любопытства поехали к нему с поздравлениями, но — или не были приняты, или приняты чрезвычайно странным образом. Князь даже не узнавал своих прежних знакомых. Утверждали, что он и не хотел узнавать. Посетил его и губернатор.

Он воротился с известием, что, по его мнению, князь действительно немного помешан, и всегда потом делал кислую мину при воспоминании о своей поездке в Духаново. Дамы громко негодовали. Узнали наконец одну капитальную вещь, именно: что князем овладела какая-то неизвестная Степанида Матвеевна, бог знает какая женщина, приехавшая с ним из Петербурга, пожилая и толстая, которая ходит в ситцевых платьях и с ключами в руках; что князь слушается ее во всем как ребенок и не смеет ступить шагу без ее позволения; что она даже моет его своими руками; балует его, носит и тешит как ребенка; что, наконец, она-то и отдаляет от него всех посетителей, и в особенности родственников, которые начали было понемногу заезжать в Духаново, для разведок. В Мордасове много рассуждали об этой непонятной связи, особенно дамы. Ко всему этому прибавляли, что Степанида Матвеевна управляет всем имением князя безгранично и самовластно: отрешает управителей, приказчиков, прислугу, собирает доходы; но что управляет она хорошо, так что крестьяне благословляют судьбу свою. Что же касается до самого князя, то узнали, что дни его проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков; что остальное время он проводит с Степанидой Матвеевной, играет с ней в свои козыри, гадает на картах, изредка выезжая погулять верхом на смирной англий-

ской кобыле, причем Степанида Матвеевна непременно сопровождает его в крытых дрожках, на всякий случай,— потому что князь ездит верхом более из кокетства, а сам чуть держится на седле. Видели его иногда и пешком, в пальто и в соломенной широкополой шляпке, с розовым дамским платочком на шее, с стеклышком в глазу и с соломенной корзинкой на левой руке для собирания грибков, полевых цветов, васильков; Степанида же Матвеевна всегда при этом сопровождает его, а сзади идут два саженные лакея и едет, на всякий случай, коляска. Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко»! — то князь немедленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему: «Bonjour, mon ami, bonjour!»[1], и много подобных слухов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро разнесся слух, что князь, затворник, чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Всё переполошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? Иные собирались уже ехать к Марье Александровне. Всем приезд князя казался диковинкой. Дамы пересылались записками, собирались с визитами, посылали своих горничных и мужей на разведки. Особенно странным казалось, отчего именно князь остановился у Марьи Александровны, а не у кого другого? Всех более досадовала Анна Николаевна Антипова, потому что князь приходился ей как-то очень дальней родней. Но, чтоб разрешить все эти вопросы, нужно непременно зайти к самой Марье Александровне, к которой милости просим пожаловать и благосклонного читателя. Теперь, правда, еще только десять часов утра, но я уверен, что она не откажется принять своих коротких знакомых. Нас, по крайней мере, примет она непременно.

Глава III

Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. У Марьи Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурны выписные обои. В мебели, довольно неуклюжей, преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, перед

[1] Здравствуй, друг мой, здравствуй! *(франц.)*

зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, весьма дурного вкуса. Между окнами, в простенках, два зеркала, с которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами, на столиках, опять часы. У задней стены — превосходный рояль, выписанный для Зины: Зина — музыкантша. Около затопленного камина расставлены кресла, по возможности в живописном беспорядке; между ними маленький столик. На другом конце комнаты другой стол, накрытый скатертью ослепительной белизны; на нем кипит серебряный самовар и собран хорошенький чайный прибор. Самоваром и чаем заведует одна дама, проживающая у Марьи Александровны в качестве дальней родственницы, Настасья Петровна Зяблова. Два слова об этой даме. Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка, с свежим цветом лица и с живыми темно-карими глазами. Вообще недурна собою. Она веселого характера и большая хохотунья, довольно хитра, разумеется, сплетница и умеет обделывать свои делишки. У ней двое детей, где-то учатся. Ей бы очень хотелось выйти еще раз замуж. Держит она себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер.

Сама Марья Александровна сидит у камина в превосходнейшем расположении духа и в светло-зеленом платье, которое к ней идет. Она ужасно обрадована приездом князя, который в эту минуту сидит наверху за своим туалетом. Она так рада, что даже не старается скрывать свою радость. Перед ней стоя рисуется молодой человек и что-то с одушевлением рассказывает. По глазам его видно, что ему хочется угодить своим слушательницам. Ему двадцать пять лет. Манеры его были бы недурны, но он часто приходит в восторг и, кроме того, с большой претензией на юмор и остроту. Одет отлично, белокур, недурен собою. Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна находит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью. Но та с ним видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брюнетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с могучею, дивною грудью. Ее плечи и руки — античные, ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна; но зато ее пухленькие алые губки, удивительно обрисованные, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьезно и строго.

Мосье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда; по крайней мере, его как-то коробит, когда он осмеливается взглянуть на нее. Движения ее свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет; впрочем, к ней все идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос, судя по цвету,— не из маменькиных; Мозгляков никогда не смел спросить ее: чьи это волосы? В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна, как будто чем-то озабочена. Зато Марья Александровна готова говорить без умолку, хоть изредка тоже взглядывает на дочь каким-то особенным, подозрительным взглядом, но, впрочем, делает это украдкой, как будто и она тоже боится ее.

— Я так рада, так рада, Павел Александрович,— щебечет она,— что готова кричать об этом всем и каждому из окошка. Не говорю уж о том милом сюрпризе, который вы сделали нам, мне и Зине, приехав двумя неделями раньше обещанного; это уж само собой! Я ужасно рада тому, что вы привезли сюда этого милого князя. Знаете ли, как я люблю этого очаровательного старичка! Но нет, нет! вы не поймете меня! вы, молодежь, не поймете моего восторга, как бы я ни уверяла вас! Знаете ли, чем он был для меня в прежнее время, лет шесть тому назад, помнишь, Зина? Впрочем, я и забыла: ты тогда гостила у тетки... Вы не поверите, Павел Александрович: я была его руководительницей, сестрой, матерью! Он слушался меня как ребенок! было что-то наивное, нежное и облагороженное в нашей связи; что-то даже как будто пастушеское... Я уж и не знаю, как и назвать! Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностию, ce pauvre prince![1] Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне! Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите: он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. Но наконец-то вы его вырвали из этих клещей! Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно! Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Опишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу. Давеча я, впопыхах, обратила только внимание на главное дело, тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, настоящий сок! Я ужасно люблю мелочи, даже в самых важных случаях прежде обращаю внимание на мелочи... и... покамест он еще сидит за своим туалетом...

— Да все то же, что уже рассказывал, Марья Александровна! — с готовностью подхватывает Мозгляков, готовый рассказывать хоть в десятый раз,— это составляет для него наслаждение.— Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал,— можете себе представить, как я спешил! — прибавляет он, обращаясь к Зине,— одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! Ровно в шесть часов утра приезжаю на последнюю станцию, в Игишево. Издрог, не хочу и греться, кричу: лошадей! Испугал смотрительницу с грудным ребенком: теперь, кажется, у ней пропало молоко... Восход солнца очаровательный. Знаете, эта морозная пыль алеет, серебрится! Не обращаю ни на что внимания; одним словом, спешу напропалую! Лошадей взял с бою: отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал. Я едва слушаю, сажусь, лечу, точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета, в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу, произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку, кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении, а из кареты, лежащей на боку, несутся раздирающие душу крики и вопли. Думал проехать мимо: лежи себе на боку; не здешнего прихода! Но превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется с своим носом. Останавливаюсь. Я, мой Семен, ямщик — тоже русская душа, спешим на подмогу и, таким образом, вшестером подымаем наконец экипаж, ставим его на ноги, которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях. Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. Думаю: верно, это тот самый князь! Смотрю: боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! Кричу ему: «Князь! дядюшка!» Он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда; впрочем, тотчас же почти узнал... со второго взгляда. Признаюсь вам, однако же, что едва ли он и теперь понимает — кто я таков, и кажется; принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил,— ну, а ему-то где ж меня помнить! Рекомендуюсь; он в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испуга и плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными глазами! То да се,— уговорил его наконец пересесть в мой возок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть. Он соглашается беспрекословно... Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь, к иеромонаху Мисаилу, которого чтит и уважает; что Степанида Матвеевна,— а уж из нас, родственников, кто не слыхал про Степаниду Матвеевну?— она меня прошлого года из Духанова помелом прогнала,— что эта Степанида Матвеевна получила письмо

[1] этот бедный князь! *(франц.)*

такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании: отец или дочь, не знаю, кто именно, да и не интересуюсь знать; может быть, и отец и дочь вместе; может быть, еще с прибавкою какого-нибудь племянника, служащего по питейной части... Одним словом, она до того была оконфужена, что дней на десять решилась распроститься с своим князем и полетела в столицу украсить ее своим присутствием. Князь сидел день, сидел другой, примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах (может быть, даже и на бобах); но стало невмочь без Степаниды Матвеевны! приказал лошадей и покатил в Светозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степаниды Матвеевны, осмелился было возразить; но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Игишеве, со станции съехал на заре и, на самом повороте к иеромонаху Мисаилу, полетел с каретой чуть не в овраг. Я его спасаю, уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марье Александровне; он говорит про вас, что вы очаровательнейшая дама из всех, которых он когда-нибудь знал, и вот мы здесь, а князь поправляет теперь наверху свой туалет, с помощию своего камердинера, которого не забыл взять с собою и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений или, лучше сказать — исправлений... Вот и вся история! Eine allerliebste Geschichte![1]

— Но какой он юморист, Зина! — вскрикивает Марья Александровна, выслушав,— как он это мило рассказывает! Но, послушайте, Поль,— один вопрос: объясните мне хорошенько ваше родство с князем! Вы называете его дядей?

— Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. Я тут не виноват нисколько; а виновата во всем этом тетушка Аглая Михайловна. Впрочем, тетушке Аглае Михайловне больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню; она-то и протурила меня ехать к нему, прошлого лета, в Духаново. Съездила бы сама! Просто-запросто я называю его дядюшкой; он откликается. Вот вам и все наше родство, на сегодняшний день по крайней мере...

— Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надоумить привезти его прямо ко мне! Я трепещу, когда воображу себе, что бы с ним было, бедняжкой, если б он попал к кому-нибудь другому, а не ко мне? Да его бы здесь расхватали, разобрали по косточкам, съели! Бросились бы на него, как на рудник, как на россыпь,— пожалуй, обокрали б его? Вы не можете представить себе, какие здесь жадные, низкие и коварные людишки, Павел Александрович!..

— Ах, боже мой, да к кому ж его и привезти, как не к вам,— какие вы, Марья Александровна! — подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай.— Ведь не к Анне же Николаевне везти его, как вы думаете?

— Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно,— говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места.

— Дядюшка-то? Да, я думаю, он еще пять часов будет там одеваться! К тому же так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Марья Александровна!

— Ах, полноте, пожалуйста, что вы!

— Вовсе не что вы, Марья Александровна, а сущая правда! Ведь это полукомпозиция, а не человек! Вы его видели шесть лет назад, а я час тому назад его видел. Ведь это полупокойник! Ведь это только воспоминание о человеке; ведь его забыли похоронить! Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах!

— Боже мой, какой вы, однако же, ветреник, как я вас послушаю! — восклицает Марья Александровна, принимая строгий вид.— И как не стыдно вам, молодому человеку, родственнику, говорить так про этого почтенного старичка! Не говоря уже об его беспримерной доброте,— и голос ее принимает какое-то трогательное выражение,— вспомните, что это остаток, так сказать, обломок нашей аристократии. Друг мой, mon ami! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но боже мой! Я и сама — ваших новых идей! Я понимаю, что основание вашего направления благородно и честно. Я чувствую, что в этих новых идеях есть даже что-то возвышенное; но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я видела больше вас, и, наконец, я мать, а вы еще молоды! Он старичок и потому, на ваши глаза, смешон! Мало того: вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю и что надобно же что-нибудь сделать для века, и все это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира! Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в современном нам обществе, так это именно в высшем сословии. Князь и в кульке князь, князь и в лачуге будет как во дворце! А вот муж Натальи Дмитриевны чуть ли не дворец себе выстроил,— и все-таки он

[1] Премилая история! *(нем.)*

только муж Натальи Дмитриевны, и ничего больше! Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, все-таки останется прежней Натальей Дмитриевной и нисколько не прибавит себе. Вы тоже, отчасти, представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужою ему,— а дурное то дитя, которое марает свое гнездо! Но, впрочем, вы сами дойдете до всего этого лучше меня, mon cher Paul [1], и забудете вашего Шекспира. Предрекаю вам. Я уверена, что вы даже и теперь не искренни, а так только, модничаете. Впрочем, я заболталась. Побудьте здесь, mon cher Paul, я сама схожу наверх и узнаю о князе. Может быть, ему надо чего-нибудь, а ведь с моими людишками...

И Марья Александровна поспешно вышла из комнаты, вспомня о своих людишках.

— Марья Александровна, кажется, очень рады, что князь не достался этой франтихе, Анне Николаевне. А ведь уверяла все, что родня ему. То-то разрывается, должно быть, теперь от досады! — заметила Настасья Петровна; но заметив, что ей не отвечают, и взглянув на Зину и на Павла Александровича, госпожа Зяблова тотчас догадалась и вышла, как будто за делом, из комнаты. Она, впрочем, немедленно вознаградила себя, остановилась у дверей и стала подслушивать.

Павел Александрович тотчас же обратился к Зине. Он был в ужасном волнении; голос его дрожал.

— Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня?— проговорил он с робким и умоляющим видом.

— На вас? За что же?— сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза.

— За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна! Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели... Вы мне снились даже во сне. Я прилетел узнать мою участь... Но вы хмуритесь, вы сердитесь! Неужели и теперь я не узнаю ничего решительного?

Зинаида действительно нахмурилась.

— Я ожидала, что вы заговорите об этом,— отвечала она, снова опустив глаза, голосом твердым и строгим, но в котором слышалась досада.— И так как это ожидание было для меня очень тяжело, то, чем скорее оно разрешилось, тем лучше. Вы опять требуете, то есть просите, ответа. Извольте, я повторю вам его, потому что мой ответ все тот же, как и прежде: подождите! Повторяю вам,— я еще не решилась и не могу вам дать обещание быть вашею женою. Этого не требуют насильно, Павел Александрович. Но, чтоб успокоить вас, прибавляю, что я еще не отказываю вам окончательно. Заметьте еще: обнадеживая вас теперь

[1] мой милый Поль *(франц.)*

на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительна к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободною в своем решении, и если я вам скажу наконец, что я не согласна, то вы и не должны обвинять меня, что я вас обнадеживала. Итак, знайте это.

— Итак, что же, что же это! — вскричал Мозгляков жалобным голосом.— Неужели это надежда! Могу ли я извлечь хоть какую-нибудь надежду из ваших слов, Зинаида Афанасьевна?

— Припомните все, что я вам сказала, и извлекайте все, что вам угодно. Ваша воля! Но я больше ничего не прибавлю. Я вам еще не отказываю, а говорю только: ждите. Но, повторяю вам, я оставляю за собой полное право отказать вам, если мне вздумается. Замечу еще одно, Павел Александрович: если вы приехали раньше положенного для ответа срока, чтоб действовать окольными путями, надеясь на постороннюю протекцию, например хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, слышите ли это? А теперь — довольно, и, пожалуйста, до известного времени не поминайте мне об этом ни слова.

Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Мосье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Марья Александровна. За нею, почти тотчас же, госпожа Зяблова.

— Он, кажется, сейчас сойдет, Зина! Настасья Петровна, скорее заварите нового чаю! — Марья Александровна была даже в маленьком волнении.

— Анна Николаевна уже присылала наведаться. Ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала. То-то злится теперь! — возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару.

— А мне какое дело! — сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой.— Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна? Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню. И удивляюсь, решительно удивляюсь, почему вы все считаете меня врагом этой бедной Анны Николаевны, да и не вы одна, а все в городе? Я на вас пошлюсь, Павел Александрович! Вы знаете нас обеих,— ну, из чего я буду врагом ее? За первенство? Но я равнодушна к этому первенству. Пусть ее, пусть будет первая! Я первая готова поехать к ней, поздравить ее с ее первенством. И наконец, все это несправедливо. Я заступлюсь за нее, я обязана за нее заступиться! На нее клевещут. За что вы все на нее нападаете? Она молода и любит наряды,— за это, что ли? Но, по-моему, уж лучше наряды, чем что-нибудь другое, вот как Наталья Дмитриевна, которая — такое любит, что и сказать нельзя. За то ли, что Анна Николаевна ездит по гостям и не может посидеть дома? Но боже мой! Она не

получила никакого образования, и ей, конечно, тяжело раскрыть, например, книгу или заняться чем-нибудь две минуты сряду. Она кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше ничего? Она смешит в танцах,— соглашаюсь! Но зачем же уверяют ее, что она прекрасно полькирует? На ней невозможные наколки и шляпки,— но чем же виновата она, что ей бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. Уверьте ее, что хорошо приколоть к волосам конфетную бумажку, она и приколет. Она сплетница,— но это здешняя привычка: кто здесь не сплетничает? К ней ездит Сушилов с своими бакенбардами и утром, и вечером, и чуть ли не ночью. Ах, боже мой! еще бы: муж козырял в карты до пяти часов утра! К тому же здесь столько дурных примеров! Наконец, это еще, *может быть,* и клевета. Словом, я всегда, всегда заступлюсь за нее!.. Но боже мой! вот и князь! Это он, он! Я узнаю его! Я узна́ю его из тысячи! Наконец-то я вас вижу, mon prince![1]— вскричала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю.

Глава IV

С первого, беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика и, только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтоб закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительные парик, бакенбарды, усы и эспаньолка, превосходнейшего черного цвета, закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись?— неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстух, жилет, белье и все прочее — все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова,— может быть, от старческой немощи, может быть, оттого, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву *э. Да* у него как-то выходит *ддэ,* но только еще

[1] князь *(франц.)*

немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжение всей франтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы! не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже уменье, чтоб с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и, при виде князя, приходит в неизреченный восторг.

— Но вы ничего, ничего не переменились! — восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло.— Садитесь, садитесь, князь! Шесть лет, целых шесть лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время! О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, mon cher prince! Но — чаю, чаю! Ах, боже мой! Настасья Петровна, чаю!

— Благодарю, бла-го-дарю, вин-новат! — шепелявит князь (мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по моде).— Ви-но-ват! и представьте себе, еще прошлого года непре-менно хотел сюда ехать,— прибавляет он, лорнируя комнату.— Да напугали: тут, говорят, хо-ле-ра была.

— Нет, князь, у нас не было холеры,— говорит Марья Александровна.

— Здесь был скотский падеж, дядюшка! — вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом.

— Ну да, скотский па-деж или что-то в этом роде... Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Всё по своей проку-рорской части?

— Н-нет, князь,— говорит Марья Александровна, немного заикаясь.— Мой муж не про-ку-рор...

— Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову! — вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило.

— Ну да, да, Анну Николаевну, и-и... (я все забываю!). Ну да, Антиповну, именно Анти-повну,— подтверждает князь.

— Н-нет, князь, вы очень ошиблись,— говорит Марья Александровна с горькой улыбкой.— Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете! Вы меня удивили, князь! Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну?..

— Марью А-лекс-анд-ровну! представьте себе! а я именно по-ла-гал, что вы-то и есть (как ее) — ну да! Анна Васильевна... C'est délicieux![1] Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно ве-зешь меня к этой Анне Матвеевне. C'est charmant![2] Впрочем, это со мной часто случается... Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всегда доволен, что б ни случилось. Так вы не Настасья Ва-сильевна? Это инте-ресно...

— Марья Александровна, князь, Марья Александровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего лучшего, лучшего друга!

— Ну да, луч-шего друга.. pardon, pardon! — шепелявит князь, заглядываясь на Зину.

— А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в—м году?

— Это ваша дочь! Charmante, charmante! — бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину.— Mais quelle beauté![3] — шепчет он, видимо пораженный.

— Чаю, князь,— говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие и розовые щечки.

— А-а-а, это ваш мальчик?— говорит он.— Какой хо-ро-шень-кий мальчик!.. и-и-и, верно, хо-ро-шо... ведет себя?

— Но, князь,— поспешно перебивает Марья Александровна,— я слышала об ужаснейшем происшествии! Признаюсь, я была вне себя от испуга... Не ушиблись ли вы? Смотрите! этим пренебрегать невозможно...

— Вывалил! вывалил! кучер вывалил! — восклицает князь с необыкновенным одушевлением.— Я уже думал, что наступает светопреставление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что — прости меня, угодник! — небо с овчинку показалось! Не ожидал, не ожидал! совсем не о-жи-дал! И во всем этом мой кучер Фе-о-фил виноват! Я уж на тебя во всем надеюсь, мой друг: распорядись и разыщи хорошенько. Я у-ве-рен, что он на жизнь мою по-ку-шался.

— Хорошо, хорошо, дядюшка! — отвечает Павел Александрович.— Все разыщу! Только послушайте, дядюшка! Простите-ка его, для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?

— Ни за что не прощу! Я уверен, что он на жизнь мою покушался! Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите: нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-

[1] Это восхитительно! *(франц.)*
[2] Это очаровательно! *(франц.)*
[3] Но какая красавица! *(франц.)*

то в нем явилось... Одним словом: коммунист, в полном смысле слова! Я уж и встречаться с ним боюсь!

— Ах, какую вы правду сказали, князь,— восклицает Марья Александровна.— Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек! Вообразите: я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!

— Ну да, ну да! Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп,— замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием.— К лакею это как-то идет,— и даже составляет его достоин-ство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только слу-ча-ях. Са-но-ви-тости в нем оттого как-то больше, тор-жественность какая-то в лице у него является; одним словом, благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от *человека* бла-го-вос-питан-ности. Вот у меня Те-рен-тий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Те-рен-тия? Я, как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза: быть тебе в швейцарах! Глуп фе-но-менально! смотрит, как баран на воду! Но какая са-но-витость, какая торжественность! Кадык такой, светло-розовый! Ну, а — ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно диссертацию сочиняет — такой важный вид! — одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный comme il faut для служащего человека!..

Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца: его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина.

— Но сколько юмору, сколько веселости, сколько в вас остроумия, князь! — восклицает Марья Александровна.— Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту!.. И исчезнуть из общества, запереться на целых пять лет! С таким талантом! Но вы бы могли писать, князь! Вы бы могли повторить Фонвизина, Грибоедова, Гоголя!..

— Ну да, ну да! — говорит вседовольный князь,— я могу пов-то-рить... и, знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены во-де-виль написал... Там было несколько вос-хи-ти-тельных куплетов! Впрочем, его никогда не играли...

— Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати! У нас же сбираются составить театр,— для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых... вот бы ваш водевиль!

— Конечно! Я даже опять готов написать... впрочем, я его совершенно за-был. Но, помню, там было два-три каламбура таких, что (и князь поцеловал свою ручку)... И вообще, когда я был за гра-ни-цей, я производил нас-то-ящий fu-ro-re [1]. Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской но-ге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.

— Лорд Байрон, дядюшка! помилуйте, дядюшка, что вы?

— Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк! Я теперь совершенно припоминаю. И пре-ори-ги-нальный был этот по-ляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только вос-хи-ти-тельно танцевал краковяк и наконец сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил:

Наш по-ляк
Танцевал краковяк...

А там... а там, вот уж дальше и не припомню...

А как ногу сломал,
Танцевать перестал.

— Ну, уж верно, так, дядюшка?— восклицает Мозгляков, все более и более приходя в вдохновенье.

— Кажется, что так, друг мой,— отвечает дядюшка,— или что-нибудь по-добное. Впрочем, может быть, и не так, но только преудачные вышли стишки... Вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий.

— Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении?— интересуется Марья Александровна.— Я так часто думала о вас, mon cher prince, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее...

— Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много за-ня-тий. Когда — отдыхаешь; а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи...

— У вас, должно быть, чрезвычайно, сильное воображение, дядюшка?

— Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое вообра-жу, что даже сам себе потом у-див-ляюсь. Когда я был в Кадуе-ве... A propos! [2] ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернато-ром был?

— Я, дядюшка? Помилуйте, что вы! — восклицает Павел Александрович.

———

[1] фурор *(франц.)*
[2] Кстати! *(франц.)*

— Представь себе, мой друг! а я тебя все принимал за вице-губернатора, да и думаю: что ж это у него как будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо?.. У того, знаешь, было лицо такое о-са-нистое, умное. Не-о-бык-новенно умный был человек и всё стихи со-чи-нял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубно-вого короля был похож...

— Нет, князь,— перебивает Марья Александровна,— кля-нусь, вы погубите себя такой жизнию! Затвориться на пять лет в уединение, никого не видать, ничего не слыхать! Но вы погиб-ший человек, князь! Кого хотите спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы — погибший человек!

— Неужели?— восклицает князь.

— Уверяю вас: я говорю вам как друг, как сестра ваша! Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна! Какая выгода была бы мне лице-мерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь,— иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете...

— Ах, боже мой! Неужели так скоро умру! — восклицает испуганный князь.— И представьте себе, вы угадали: меня чрез-вычайно мучит геморрой, особенно с некоторого времени. И ког-да у меня бывают припадки, то вообще у-ди-ви-тельные при этом симптомы (я вам подробнейшим образом их опишу)... Во-первых...

— Дядюшка, это вы в другой раз расскажете,— подхваты-вает Павел Александрович,— а теперь... не пора ли нам ехать?

— Ну да! пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю... Но все-таки это чрезвы-чайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды... Напомни мне, мой друг, я тебе ужо вечером расскажу один случай в под-роб-ности...

— Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей,— перебивает еще раз Марья Александровна.

— За границей! Ну да, ну да! Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в двадцатых годах, там было у-ди-ви-тельно весело. Я чуть-чуть не женился на одной викон-тессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а дру-гой. И какой странный случай: отлучился всего на два часа, а другой и восторжествовал, один немецкий барон; он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел.

— Но, cher prince, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики... и, сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время, ваше Духаново.

— Неп-ре-менно! Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гид-ро-па-тией.

— Гидропатией?

— Гидропатией. Я уже лечился раз гид-ро-па-тией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня, я уж фамилью забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет семидесяти была. При ней еще находилась дочь, лет пятидесяти, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вы-шел: свою дворовую девку, осердясь, убила и за то под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен; ну, пристали ко мне: «Лечись да лечись!» Я, из деликатности, и начал пить воду; думаю: и в самом деле легче сде-лается. Пил-пил, пил-пил, выпил целый водопад, и, знаете, эта гидропатия — полезная вещь и ужасно много пользы мне принесла, так что если б я наконец не забо-лел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров...

— Вот это совершенно справедливое заключенье, дядюшка! Скажите, дядюшка, вы учились логике?

— Боже мой! какие вы вопросы задаете! — строго замечает скандализированная Марья Александровна.

— Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же все совершенно забыл. Но... признаюсь вам... вы меня так испугали этими болезнями, что я... весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь...

— Но куда ж вы, князь?— вскрикивает удивленная Марья Александровна.

— Я сейчас, сейчас... Я только записать одну новую мысль... au revoir... [1]

— Каков?— вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом.

Марья Александровна теряет терпенье.

— Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь! — начинает она с горячностию.— Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою! Я краснела за вас, Павел Александрович! Но скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного.

— Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается?

— Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал; вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать,— вопиет! Его, решительно, надо спасти! Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту... торговку!

[1] до свидания *(франц.)*

— Знаете ли что? его надо женить, Марья Александровна!— восклицает Павел Александрович.

— Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье Мозгляков!

— Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я говорю совершенно серьезно! Почему ж не женить? Это тоже идея! C'est une idée comme une autre![1] Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его! По закону, он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи (извините за выражение). Во-вторых, и главное — представьте себе, что он выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним, как дочь, и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой... бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?

— Да где же вы найдете такую невесту?— спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.

— Вот так сказали: да хоть бы вы, если только угодно! Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых — вы хорошенькая, во-вторых — вдова, в-третьих — благородная, в-четвертых — бедная (потому что вы действительно небогатая), в-пятых — вы очень благоразумная дама, следственно, будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните ту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфетами,— все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через два месяца с половиною. Тогда вы — княгиня, вдова, богачка и, в награду за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта! C'est joli [2], не правда ли?

— Фу ты, боже мой! да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчика, из одной благодарности, если б он только сделал мне предложение! — восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали.— Только все это — вздор!

— Вздор? хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если сегодня же не будете его невестою! Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку! Он на все говорит: «Ну да, ну да!»—

[1] Эта идея не хуже других! *(франц.)*
[2] Это блестяще *(франц.)*

сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим; да ведь для его же пользы, помилосердуйте!.. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна!

Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как ни рассудительна она, потекли, однако же, слюнки.

— Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем замарашка,— отвечает она.— Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье... А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?

Все это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миною в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев...

Наконец она опомнилась.

— Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость, а главное, совершенно некстати,— резко прерывает она Мозглякова.

— Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и некстати?

— По многим причинам, а главное, потому, что вы у меня в доме, что князь — мой гость и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе как за шутку, Павел Александрович. Но слава богу! вот и князь!

— Вот и я! — кричит князь, входя в комнату.— Удивительно, cher ami, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты и не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу себе целый день.

— Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот...

— Я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже по-лез-ным; так что я решился простить моего Фео-фи-ла. Знаешь что? мне кажется, он не покушался на мою жизнь; ты думаешь? Притом же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили.

— Бороду сбрили, дядюшка! Но у него борода с немецкое государство?

— Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих за-клю-че-ниях. Но это искусственная. И представьте себе, какой случай: вдруг присылают мне прейс-курант. Получены вновь из-за границы превосходнейшие кучерские и господские бо-ро-ды, равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее, и все это лучшего ка-чес-тва и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бо-ро-ду, хоть поглядеть,— что такое? Вот и выписал я бороду кучерскую,— действительно, борода заглядение! Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение: сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал-думал и решил, что уж лучше носить искусственную.

— Вероятно, потому, что искусство выше натуры, дядюшка!

— Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду брили! Как будто со всей своей карьерой, с бородой расставался... Но не пора ли нам ехать, мой милый?

— Я готов, дядюшка.

— Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору! — в волнении восклицает Марья Александровна.— Вы теперь *мой,* князь, и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать: к тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь, я трепещу за вас, князь! Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере до времени!..

— Положитесь на меня, Марья Александровна. Все, как я вам обещал, так будет,— говорит Мозгляков.

— Уж вы, ветреник! положись на вас! Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне! как бы рад он был вас увидеть! Он так вас уважает, так душевно вас любит!

— Ваш муж? А у вас есть и муж?— спрашивает князь.

— Ах, боже мой! как вы забывчивы, князь! Но вы совершенно, совершенно забыли все прежнее! Мой муж, Афанасий Матвеич, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь: Афанасий Матвеич?..

— Афанасий Матвеич! в деревне, представьте себе, mais c'est délicieux! Так у вас есть и муж? Какой странный, однако же, случай! Это точь-в-точь как есть один водевиль: муж в дверь, а жена в... позвольте, вот и забыл! только куда-то и жена тоже поехала, кажется в Тулу или в Ярославль, одним словом, выходит как-то очень смешно.

— Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка,— подсказывает Мозгляков.

— Ну-ну! да-да! благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь, charmant, charmant! так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый! То-то, я помню: в Ярославль или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала! Charmant, charmant! Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить... да! итак, мы едем, друг мой. Au revoir, madame, adieu,

ma charmante demoiselle [1],— прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев.

— Обедать, обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее! — кричит вслед Марья Александровна.

Глава V

— Вы бы, Настасья Петровна, взглянули на кухне,— говорит она, проводив князя.— У меня есть предчувствие, что этот изверг Никитка непременно испортит обед! Я уверена, что он уже пьян...

Настасья Петровна повинуется. Уходя, она подозрительно взглядывает на Марью Александровну и замечает в ней какое-то необыкновенное волнение. Вместо того чтоб идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит в зал, оттуда коридором в свою комнату, оттуда в темную комнатку вроде чуланчика, где стоят сундуки, развешана кой-какая одежда и сохраняется в узлах черное белье всего дома. Она на цыпочках подходит к запертым дверям, скрадывает свое дыхание, нагибается, смотрит в замочную скважину и подслушивает. Эта дверь — одна из трех дверей той самой комнаты, где остались теперь Зина и ее маменька,— всегда наглухо заперта и заколочена.

Марья Александровна считает Настасью Петровну плутоватой, но чрезвычайно легкомысленной женщиной. Конечно, ей приходила иногда мысль, что Настасья Петровна не поцеремонится и подслушать. Но в настоящую минуту госпожа Москалева так занята и взволнована, что совершенно забыла о некоторых предосторожностях. Она садится в кресла и значительно взглядывает на Зину. Зина чувствует на себе этот взгляд, и какая-то неприятная тоска начинает щемить ее сердце.

— Зина!

Зина медленно оборачивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные задумчивые глаза.

— Зина, я намерена поговорить с тобой о чрезвычайно важном деле.

Зина оборачивается совершенно к своей маменьке, складывает свои руки и стоит в ожидании. В лице ее досада и насмешка, что, впрочем, она старается скрыть.

— Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе, сегодня, *этот* Мозгляков?

— Вы уже давно знаете, как я о нем думаю,— нехотя отвечает Зина.

---

[1] До свидания, мадам, прощайте, моя милая барышня *(франц.)*

— Да, mon enfant [1]; но, мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым с своими... исканиями.

— Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна.

— Странно! Ты прежде не извиняла его так... охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю об нем.

— Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтоб я вышла за него замуж, а теперь первая на него нападаете.

— Почти. Я не запираюсь, Зина: я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять (что бы ты ни думала обо мне!) и которые отравляют мой сон по ночам. Я уверилась наконец, что одна только значительная перемена в твоей жизни может спасти тебя! И перемена эта должна быть — замужество. Мы небогаты и не можем ехать, например, за границу. Здешние ослы удивляются, что тебе двадцать три года и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здешнего советника или за Ивана Ивановича, нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ; это все-таки лучше, чем жить крючками да взятками да бог знает какими приключениями; потому я и бросила на него мои взгляды. Но, клянусь тебе, я никогда не имела настоящей к нему симпатии. Я уверена, что сам всевышний предупреждал меня. И если бы бог послал, хоть теперь, что-нибудь лучше — о! как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь сегодня ничего не сказала ему наверно, Зина?

— К чему так кривляться, маменька, когда все дело в двух словах?— раздражительно проговорила Зина.

— Кривляться, Зина, кривляться! и ты могла сказать такое слово матери? Но что я! Ты давно уже не веришь своей матери! Ты давно уже считаешь меня своим врагом, а не матерью.

— Э, полноте, маменька! Нам ли с вами за слово спорить! Разве мы не понимаем друг друга? Было, кажется, время понять!

— Но ты оскорбляешь меня, дитя мое! Ты не веришь, что я готова решительно на все, на все, чтоб устроить судьбу твою!

Зина взглянула на мать насмешливо и с досадою.

— Уж не хотите ли вы меня выдать за этого князя, чтоб *устроить* судьбу мою?— спросила она с странной улыбкой.

— Я ни слова не говорила об этом, но к слову скажу, что

---

[1] дитя мое *(франц.)*.

если б случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием...

— А я нахожу, что это просто вздор! — запальчиво воскликнула Зина.— Вздор! вздор! Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений, вы женщина-поэт, в полном смысле этого слова; вас здесь и называют так. У вас беспрерывно проекты. Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился Мозгляков и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице. Я готова биться об заклад, что вы об этом думаете и теперь с этим же ко мне подъезжаете. Но так как ваши беспрерывные проекты насчет меня начинают мне до смерти надоедать, начинают мучить меня, то прошу вас не говорить мне об этом ни слова, слышите ли, маменька,— ни слова, и я бы желала, чтоб вы это запомнили! — Она задыхалась от гнева.

— Ты дитя, Зина,— раздраженное, больное дитя! — отвечала Марья Александровна растроганным, слезящимся голосом.— Ты говоришь со мной непочтительно и оскорбляешь меня. Ни одна мать не вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна терпеть и прощать. Но одно слово, Зина: если б я и действительно мечтала об этом союзе,— почему именно ты считаешь все это вздором? По-моему, Мозгляков никогда не говорил умнее давешнего, когда доказывал, что князю необходима женитьба, конечно, не на этой чумичке Настасье. Тут уж он заврался.

— Послушайте, маменька! скажите прямо: вы это спрашиваете только так, из любопытства, или с намерением?

— Я спрашиваю только: почему это кажется тебе таким вздором?

— Ах, досада! ведь достанется же такая судьба! — восклицает Зина, топнув ногою от нетерпения.— Вот почему, если это вам до сих пор неизвестно: не говоря уже о всех других нелепостях,— воспользоваться тем, что старикашка выжил из ума, обмануть его, выйти за него, за калеку, чтоб вытащить у него его деньги и потом каждый день, каждый час желать его смерти, по-моему, это не только вздор, но, сверх того, так низко, так низко, что я не поздравляю вас с такими мыслями, маменька!

С минуту продолжалось молчание.

— Зина! А помнишь ли, что было два года назад?— спросила вдруг Марья Александровна.

Зина вздрогнула.

— Маменька!— сказала она строгим голосом,— вы торжественно обещали мне никогда не напоминать об этом.

— А теперь торжественно прошу тебя, дитя мое, чтоб ты позволила мне один только раз нарушить это обещание, которое я никогда до сих пор не нарушала. Зина! пришло время полного объяснения между нами. Эти два года молчания были ужасны! Так не может продолжаться!.. Я готова на коленях молить тебя, чтоб ты мне позволила говорить. Слышишь, Зина: родная мать умоляет тебя на коленях! Вместе с этим даю тебе торжественное слово мое — слово несчастной матери, обожающей свою дочь, что никогда, ни под каким видом, ни при каких обстоятельствах, даже если б шло о спасении жизни моей, я уже не буду более говорить об этом. Это будет в последний раз, но теперь — это необходимо!

Марья Александровна рассчитывала на полный эффект.

— Говорите,— сказала Зина, заметно бледнея.

— Благодарю тебя, Зина. Два года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель...

— Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька! К чему все это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны?— с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина.

— К тому, дитя мое, что я, твоя мать, принуждена теперь оправдываться перед тобою! К тому, что я хочу представить тебе это же все дело совершенно с другой точки зрения, а не с той ошибочной точки, с которой ты привыкла смотреть на него. К тому, наконец, чтоб ты лучше поняла заключение, которое я намерена из всего этого вывесть. Не думай, дитя мое, что я хочу играть твоим сердцем! Нет, Зина, ты найдешь во мне настоящую мать и, может быть, обливаясь слезами, у ног моих, у ног *низкой женщины,* как ты сейчас назвала меня, сама будешь просить примирения, которое ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать все, Зина, все с самого начала; иначе я молчу!

— Говорите,— повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки.

— Я продолжаю, Зина: этот учитель уездного училища, почти еще мальчик, производит на тебя совершенно непонятное для меня впечатление. Я слишком надеялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость и, главное, на его ничтожество (потому что надо же все говорить), чтобы хоть что-нибудь подозревать между вами. И вдруг ты приходишь ко мне и решительно объявляешь, что намерена выйти за него замуж! Зина! Это был кинжал в мое сердце! Я вскрикнула и лишилась чувств. Но... ты все это помнишь! Разумеется, я сочла за нужное употребить всю свою власть, которую ты называла тиранством. Подумай: мальчик, сын дьячка, получающий двенадцать целковых в месяц

жалованья, кропатель дрянных стишонков, которые, из жалости, печатают в «Библиотеке для чтения», и умеющий только толковать об это проклятом Шекспире,— этот мальчик — твой муж, муж Зинаиды Москалевой! Но это достойно Флориана и его пастушков! Прости меня, Зина, но одно уже воспоминание выводит меня из себя! Я отказала ему, но никакая власть не может остановить тебя. Твой отец, разумеется, только хлопал глазами и даже не понял, чтó я начала ему объяснять. Ты продолжаешь с этим мальчиком сношения, даже свидания, но что всего ужаснее, ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже распространяться слухи. Меня начинают колоть намеками; уже обрадовались, уже затрубили во все рога, и вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь; он оказывается самым недостойным тебя... мальчишкой (я никак не могу назвать его человеком!) и грозит тебе распространить по городу твои письма. При этой угрозе, полная негодования, ты выходишь из себя и даешь пощечину. Да, Зина, мне известно и это обстоятельство! Мне все, все известно! Несчастный, в тот же день, показывает одно из твоих писем негодяю Заушину, и через час это письмо уже находится у Натальи Дмитриевны, у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший, в раскаянии, делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший! Эта чумичка Настасья прибегает ко мне испуганная, с страшным известием: уже целый час письмо в руках у Натальи Дмитриевны; через два часа весь город будет знать о твоем позоре! Я пересилила себя, я не упала в обморок,— но какими ударами ты поразила мое сердце, Зина. Эта бесстыдная, этот изверг Настасья требует двести рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. Я сама, в легких башмаках, по снегу, бегу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар — память праведницы, моей матери! Через два часа письмо в моих руках. Настасья украла его. Она взломала шкатулку, и — честь твоя спасена — доказательств нет! Но в какой тревоге ты заставила меня прожить тот ужасный день! На другой же день я заметила, в первый раз в жизни, несколько седых волос на голове моей. Зина! ты сама рассудила теперь о поступке этого мальчика. Ты сама теперь соглашаешься, и, может быть, с горькою улыбкою, что было бы верхом неблагоразумия доверить ему судьбу свою. Но с тех пор ты терзаешься, ты мучишься, дитя мое; ты не можешь забыть его или, лучше сказать, не его,— он всегда был недостоин тебя,— а призрак своего прошедшего счастья. Этот несчастный теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты,— ангел доброты! — ты не хочешь при жизни его выходить замуж, чтоб не растерзать его сердца, потому что он до сих пор еще мучится ревностию,

хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом! Я знаю, что, услышав про искания Мозглякова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя мое, я угадала тебя, и, бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою!..

— Да оставьте все это, маменька! — прерывает Зина в невыразимой тоске.— Очень понадобилась тут ваша подушка,— прибавляет она с колкостию.— Нельзя без декламаций да вывертов!

— Ты не веришь мне, Зина! Не смотри на меня враждебно, дитя мое! Я не осушала глаз эти два года, но скрывала от тебя мои слезы, и, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время! Я давно поняла твои чувства и, каюсь, только теперь узнала всю силу твоей тоски. Можно ли обвинять меня, друг мой, что я смотрела на эту привязанность как на романтизм, навеянный этим проклятым Шекспиром, который как нарочно сует свой нос везде, где его не спрашивают. Какая мать осудит меня за мой тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь, теперь, видя твои двухлетние страдания, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя понимаешь. Я уверена, что ты любишь не его, этого неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. Я сама любила, и, может быть, сильнее, чем ты. Я сама страдала; у меня тоже были свои возвышенные идеалы. И потому кто может обвинить меня теперь, и прежде всего можешь ли ты обвинить меня за то, что я нахожу союз с князем самым спасительным, самым необходимым для тебя делом в теперешнем твоем положении?

Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменька никогда не впадет в такой тон без причины. Но последнее, неожиданное заключение совершенно изумило ее.

— Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя?— вскричала она, с изумлением, чуть не с испугом смотря на мать свою.— Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение? Стало быть, я угадала? И... и... каким образом это замужество спасет меня и необходимо в настоящем моем положении? И... и... каким образом все это вяжется с тем, что вы теперь наговорили,— со всей этой историей?.. Я решительно не понимаю вас, маменька!

— А я удивляюсь, mon ange [1], как можно не понимать всего этого! — восклицает Марья Александровна, одушевляясь в свою очередь.— Во-первых, уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир! Ты оставляешь навсегда этот отврати-

[1] мой ангел *(франц.)*

тельный городишка, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту. Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир, а не здешняя скверная речонка с неприличным названием...

— Но, позвольте, маменька, вы говорите так, как будто я уже замужем или по крайней мере князь сделал мне предложение?

— Не беспокойся об этом, мой ангел, я знаю, что я говорю. Но — позволь мне продолжать. Я уже сказала *первое,* теперь *второе:* я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому Мозглякову...

— Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою!— отвечала с горячностию Зина, и глаза ее засверкали.

— И если б ты знала, как я понимаю твое отвращение, друг мой! Ужасно поклясться перед алтарем божиим в любви к тому, кого не можешь любить! Ужасно принадлежать тому, кого даже не уважаешь! А он потребует твоей любви; он для того и женится, я это знаю по взглядам его на тебя, когда ты отвернешься. Каково же притворяться! Я сама двадцать пять лет это испытываю. Твой отец погубил меня. Он, можно сказать, высосал всю мою молодость, и сколько раз ты видела слезы мои!..

— Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста,— отвечала Зина.

— Знаю, ты всегдашняя его заступница. Ах, Зина! У меня все сердце замирало, когда я, из расчета, желала твоего брака с Мозгляковым. А с князем тебе притворяться нечего. Само собою разумеется, что ты не можешь его любить... любовью, да и он сам *не способен* потребовать такой любви...

— Боже мой, какой вздор! Но уверяю вас, что вы ошиблись в самом начале, в самом первом, главном! Знайте, что я не хочу собою жертвовать неизвестно для чего! Знайте, что я вовсе не хочу замуж, ни за кого, и останусь в девках! Вы два года ели меня за то, что я не выхожу замуж. Ну, что ж? придется с этим вам примириться. Не хочу, да и только! Так и будет!

— Но, душечка, Зиночка, не горячись, ради бога, не выслушав! И что у тебя за головка горячая, право! Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его,— княгиня, свободна, богата, независима! Друг мой, ты, может быть, с презрением смотришь на все эти расчеты,— расчеты на смерть его! Но — я мать, а какая мать осудит меня за мою дальновидность? Наконец, если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не

хочешь даже выйти замуж при его жизни (как я догадываюсь), то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться! Если в нем есть хоть капля здравого смысла, то он, конечно, поймет, что ревность к князю неуместна, смешна; поймет, что ты вышла по расчету, по необходимости. Наконец, он поймет... то есть я просто хочу сказать, что, по смерти князя, ты можешь опять выйти замуж, за кого хочешь...

— Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтоб выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги! Вы хотите соблазнить меня, предлагая мне... Я понимаю вас, маменька, вполне понимаю! Вы никак не можете воздержаться от выставки благородных чувств даже в гадком деле. Сказали бы лучше прямо и просто: «Зина, это подлость, но она выгодна, и потому согласись на нее!» Это по крайней мере было бы откровеннее.

— Но зачем же, дитя мое, смотреть непременно с этой точки зрения,— с точки зрения обмана, коварства и корыстолюбия. Ты считаешь мои расчеты за низость, за обман? Но, ради всего святого, где же тут обман, какая тут низость? Взгляни на себя в зеркало: ты так прекрасна, что за тебя можно отдать королевство! И вдруг ты,— ты, красавица,— жертвуешь старику свои лучшие годы! Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты как зеленый плющ, обовьешься около его старости, ты, а не эта крапива, эта гнусная женщина, которая околдовала его и с жадностию сосет его соки! Неужели ж его деньги, его княжество стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина!

— Верно, стоят, коли надо выходить за калеку! Обман — всегда обман, маменька, какие бы ни были цели.

— Напротив, друг мой, напротив! на это можно взглянуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! Ты сама однажды, в каком-то исступлении, сказала мне, что хочешь быть сестрою милосердия. Твое сердце страдало, ожесточилось. Ты говорила (я знаю это), что оно уже не может любить. Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышенный предмет, обрати искренно, как дитя, со всею верою и святостию,— и бог благословит тебя. Этот старик тоже страдал, он несчастен, его гонят; я уже несколько лет его знаю и всегда питала к нему непонятную симпатию, род любви, как будто что-то предчувствовала. Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его,— если уж все говорить! — но согрей его сердце, и ты сделаешь это для бога, для добродетели! Он смешон,— не смотри на это. Он получеловек,— пожалей его: ты христианка! Принудь себя; такие подвиги нудятся. На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвра-

тительно дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы божии, исполняющие это и благословляющие бога за свое назначение. Вот лекарство твоему оскорбленному сердцу, занятие, подвиг — и ты залечишь раны свои. Где же тут эгоизм, где тут подлость? Но ты мне не веришь! Ты, может быть, думаешь, что я притворяюсь, говоря о долге, о подвигах. Ты не можешь понять, как я, женщина светская, суетная, могу иметь сердце, чувства, правила? Что ж? не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны. Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой-нибудь невидимый голос... Тебя, главное, смущает, что все это будет за деньги, как будто это какая-нибудь продажа или купля? Так откажись, наконец, от денег, если деньги так для тебя ненавистны! Оставь себе необходимое и все раздай бедным. Помоги хоть, например, ему, этому несчастному, на смертном одре.

— Он не примет никакой помощи,— проговорила Зина тихо, как бы про себя.

— Он не примет, но мать его примет,— отвечала торжествующая Марья Александровна,— она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад; я это знаю. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтоб кормить своего насчастного сына.

— Ему скоро не нужна будет помощь!

— Знаю и это, на что ты намекаешь,— подхватила Марья Александровна, и вдохновение, настоящее вдохновение осенило ее,— знаю, про что ты говоришь. Говорят, он в чахотке и скоро умрет. Но кто же это говорит? Я на днях нарочно спрашивала о нем Каллиста Станиславича; я интересовалась о нем, потому что у меня есть сердце, Зина. Каллист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор уверен, что бедный не в чахотке, а так только, довольно сильное грудное расстройство. Спроси хоть сама. Он наверно говорил мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании,— и это я еще прежде слышала, даже читала,— что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется Малага,— одним словом, похоже на какое-то вино,— где не только грудные, но даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разумеется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. Но уж одна эта волшебная Альгамбра, эти мирты, эти лимоны, эти испанцы на своих мулах! — одно это произведет уже необыкновенное впечатление на натуру поэтическую. Ты думаешь, что он не примет твоей помощи, твоих денег, для этого

путешествия? Так обмани его, если тебе жаль! Обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадежь его, обещай ему, наконец, любовь свою; скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Все на свете можно сказать благородным образом. Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения жизни его, и потому — все позволительно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет обращать внимание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья. Если он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него,— все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его! Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием! Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему, и, если только он будет достоин тебя,— пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен. Что ожидает вас обоих, если б вы теперь решились на такое безумство? Всеобщее презрение, нищета, дранье за уши мальчишек, потому что это сопряжено с его должностью, взаимное чтение Шекспира, вечное пребывание в Мордасове и, наконец, его близкая, неминуемая смерть. Тогда как воскресив его,— ты воскресишь его для полезной жизни, для добродетели; простив ему,— ты заставишь его обожать себя. Он терзается своим гнусным поступком, а ты, открыв ему новую жизнь, простив ему, дашь ему надежду и примиришь его с самим собою. Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собою, на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою, под сенью мирт, лимонов, под лазуревым, экзотическим небом! О Зина! все это в руках твоих! Все выгоды на твоей стороне — и все это чрез замужество с князем.

Марья Александровна кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении.

Мы не беремся описывать чувства Зины; мы не можем их угадать. Но, кажется, Марья Александровна нашла настоящую дорогу к ее сердцу. Не зная, в каком состоянии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрагивалась до самых больных мест сердца Зины и, разумеется, по привычке, не могла обойтиться без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили Зину. «Но что за нужда, что она мне не верит,— думала Марья Александровна,— только бы ее заставить задуматься! только бы ловчее намекнуть, о чем мне прямо нельзя говорить!» Так она думала и

достигла цели. Эффект был произведен. Зина жадно слушала. Щеки ее горели, грудь волновалась.

— Послушайте, маменька,— сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице ее показывала ясно, чего стоила ей эта решимость.— Послушайте, маменька...

Но в это мгновение внезапный шум, раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивавший Марью Александровну, заставили Зину вдруг остановиться. Марья Александровна вскочила с места.

— Ах, боже мой! — вскричала она,— черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала две недели назад! — прибавила она чуть не в отчаянии.— Но... но невозможно теперь не принять ее! Невозможно! Она, наверно, с вестями, иначе не посмела бы и явиться. Это важно, Зина! Мне надо знать... Ничем теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благодарна за ваш визит! — закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гостье.— Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна? Какой о-ча-ро-ва-тельный сюрприз!

Зина убежала из комнаты.

Глава VI

Полковница, Софья Петровна Фарпухина, только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая пятидесятилетняя дама, с остренькими глазками, в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу. На маленьком, иссохшем тельце ее, помещенном на тоненьких крепких воробьиных ножках, было шелковое темное платье, всегда шумевшее, потому что полковница двух секунд не могла пробыть в покое. Это была зловещая и мстительная сплетница. Она была помешана на том, что она полковница. С отставным полковником, своим мужем, она очень часто дралась и царапала ему лицо. Сверх того, выпивала по четыре рюмки водки утром и по стольку же вечером и до помешательства ненавидела Анну Николаевну Антипову, прогнавшую ее на прошлой неделе из своего дома, равно как и Наталью Дмитриевну Паскудину, тому способствовавшую.

— Я к вам только на минутку, mon ange,— защебетала она.— Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя! Наши пройдохи — vous comprenez![1]— его ловят, ищут, тащат его нарасхват, шампанским поят,— вы не поверите!

[1] понимаете! *(франц.)*

не поверите! Да как это вы решились его отпустить от себя? Знаете ли, что он теперь у Натальи Дмитриевны?

— У Натальи Дмитриевны! — вскричала Марья Александровна, привскакнув на месте.— Да ведь он к губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго!

— Ну да, ненадолго; вот и ловите его теперь! Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обедать у ней, а Наташка, которая теперь от нее не выходит, затащила его к себе до обеда завтракать. Вот вам и князь!

— А что ж... Мозгляков? Ведь он обещался...

— Дался вам этот Мозгляков! хваленый-то ваш... Да и он с ними туда же! Посмотрите, если его в картишки там не засадят, опять проиграется, как прошлый год проигрался! Да и князя тоже засадят; облупят как липку. А какие она вещи про вас распускает, Наташка-то! Вслух кричит, что вы завлекаете князя, ну там... для известных целей,— vous comprenez? Сама ему толкует об этом. Он, конечно, ничего не понимает, сидит, как мокрый кот, да на всякое слово: «ну да! ну да!» А сама-то, сама-то! вывела свою Соньку — вообразите: пятнадцать лет, а все еще в коротеньком платье водит! все это только до колен, как можете себе представить... Послали за этой сироткой Машкой, та тоже в коротеньком платье, только еще выше колен,— я в лорнет смотрела... На голову им надели какие-то красные шапочки с перьями,— уж не знаю, что это изображает! — и под фортепьяно заставили обеих пигалиц перед князем плясать казачка! Ну, вы знаете слабость этого князя? Он так и растаял: «формы», говорит, «формы»! В лорнетку на них смотрит, а они-то отличаются, две сороки! раскраснелись, ноги вывертывают, такой монплезир пошел, что люли, да и только! тьфу! Это — танец! Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни,— так я благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! Там княжеские и графские дочери воспитывались! А ведь это просто канкан! Я сгорела со стыда, сгорела, сгорела! Я просто не высидела!..

— Но... разве вы сами были у Натальи Дмитриевны? ведь вы...

— Ну да, она меня оскорбила на прошлой неделе. Я это прямо всем говорю. Mais, ma chère[1], мне захотелось хоть в щелочку посмотреть на этого князя, я и приехала. А то где ж бы я его увидела? Поехала бы я к ней, кабы не этот скверный князишка! Представьте себе: всем шоколад подают, а мне нет, и все время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно... Кадушка этакая! Вот я ж ей теперь! Но прощайте, mon ange, я теперь спешу, спешу... Мне надо непременно застать Акулину Панфиловну и

[1] Но, милая моя *(франц.)*

ей рассказать... Только вы теперь так и проститесь с князем! Он уж у вас больше не будет. Знаете — памяти-то у него нет, так Анна Николаевна непременно к себе его перетащит! Они все боятся, чтобы вы не того... понимаете? насчет Зины...

— Quelle horreur![1]

— Уж это я вам говорю! Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать, а потом и совсем. Это она вам в пику делает, mon ange. Я к ней на двор в щелочку заглянула. Такая там суетня: обед готовят, ножами стучат... за шампанским послали. Спешите, спешите и перехватите его на дороге, когда он к ней поедет. Ведь он к вам первой обещался обедать! Он ваш гость, а не ее! Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, эта сопля! Да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась... тьфу! Mais adieu, mon ange![2] У меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала...

Ходячая газета исчезла, Марья Александровна затрепетала от волнения, но совет полковницы был чрезвычайно ясен и практичен. Медлить было нечего, да и некогда. Но оставалось еще самое главное затруднение. Марья Александровна бросилась в комнату Зины.

Зина ходила по комнате взад и вперед, сложив накрест руки, понурив голову, бледная и расстроенная. В глазах ее стояли слезы; но решимость сверкала во взгляде, который она устремила на мать. Она поспешно скрыла слезы, и саркастическая улыбка появилась на губах ее.

— Маменька,— сказала она, предупреждая Марью Александровну,— сейчас вы истратили со мною много вашего красноречия, слишком много. Но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целями — все это такое иезуитство, которое не могло обмануть меня. Слышите: это не могло меня обмануть, и я хочу, чтоб вы это непременно знали!

— Но, mon ange!..— вскрикнула оробевшая Марья Александровна.

— Молчите, маменька! Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное сознание того, что все это только одно иезуитство; несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка,— я принимаю ваше предложение вполне, слышите: *вполне,* и объявляю вам, что готова выйти

[1] Какой ужас *(франц.)*
[2] Но прощайте, мой ангел! *(франц.)*

за князя и даже готова помогать всем вашим усилиям, чтоб заставить его на мне жениться. Для чего я это делаю?— вам не надо знать. Довольно и того, что я решилась. Я решилась на все: я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтоб загладить перед ним мою низость; я употреблю все на свете, чтоб он не раскаивался в том, что женился на мне! Но, взамен моего решения, я требую, чтоб вы откровенно сказали мне: каким образом вы все это устроите? Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то — я вас знаю — вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определенного плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни; откровенность — непременное условие! Я не могу решиться, не зная положительно, как вы все это сделаете?

Марья Александровна была так озадачена неожиданным заключением Зины, что некоторое время стояла перед ней, немая и неподвижная от изумления, и глядела на нее во все глаза. Приготовившись воевать с упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства которой она постоянно боялась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на все, даже вопреки своим убеждениям! Следственно, дело принимало необыкновенную прочность,— и радость засверкала в глазах ее.

— Зиночка! — воскликнула она в увлечении,— Зиночка! ты плоть и кровь моя!

Больше она ничего не могла выговорить и бросилась обнимать свою дочь.

— Ах, боже мой! я не прошу ваших объятий, маменька,— вскричала Зина с нетерпеливым отвращением,— мне не надо ваших восторгов! я требую от вас ответа на мой вопрос и больше ничего.

— Но, Зина, ведь я люблю тебя! Я обожаю тебя, а ты меня отталкиваешь... ведь я для твоего же счастья стараюсь...

И непритворные слезы заблистали в глазах ее. Марья Александровна действительно любила Зину, *по-своему,* а в этот раз, от удачи и от волнения, чрезвычайно расчувствовалась. Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, понимала, что мать ее любит, и — тяготилась этой любовью. Ей даже было бы легче, если б мать ее ненавидела...

— Ну, не сердитесь, маменька, я в таком волнении,— сказала она, чтоб успокоить ее.

— Не сержусь, не сержусь, мой ангельчик! — защебетала Марья Александровна, мигом оживляясь.— Ведь я и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь, друг мой, ты требуешь откровенности... Изволь, я буду откровенна, вполне откровенна, уверяю тебя! Только бы ты-то мне верила! И, во-первых, скажу тебе, что вполне определенного плана, то есть во всех подроб-

ностях, у меня еще нет, Зиночка, да и не может быть; ты, как умная головка, поймешь — почему. Я даже предвижу некоторые затруднения... Вот и сейчас эта сорока натрещала мне всякой всячины... (Ах, боже мой! спешить бы надо!) Видишь, я вполне откровенна! Но, клянусь тебе, я достигну цели! — прибавила она в восторге.— Уверенность моя вовсе не поэзия, как ты давеча говорила, мой ангел; она основана на деле. Она основана на совершенном слабоумии князя,— а ведь это такая канва, по которой вышивай что угодно. Главное — чтоб не помешали! Да этим ли дурам перехитрить меня,— вскричала она, стукнув рукой по столу и сверкая глазами,— уж это мое дело! А для этого всего нужнее как можно скорей начинать, даже чтоб сегодня и кончить все главное, если только возможно.

— Хорошо, маменька, только выслушайте еще одну... *откровенность:* знаете ли, почему я так интересуюсь о вашем плане и не доверяю ему? Потому что на себя не надеюсь. Я сказала уже, что решилась на эту низость; но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и все брошу. Знаю, что это новая низость: решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так будет!..

— Но, Зиночка, какая же тут особенная подлость, mon ange?— робко возразила было Марья Александровна.— Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают! Только надобно с этой точки взглянуть, и всё очень благородно покажется...

— Ах, маменька, ради бога, не хитрите со мной! Вы видите, я на все, на все согласна! ну чего ж вам еще? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь — единственное мое утешение!

И горькая улыбка показалась на губах ее.

— Ну, ну, хорошо, мой ангельчик, можно быть несогласными в мыслях и все-таки взаимно уважать друг друга. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, то предоставь все эти хлопоты мне; клянусь, что на тебя не брызнет ни капельки грязи. Я ли захочу тебя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и все превосходно, преблагородно уладится, главное — преблагородно! Скандалу не будет никакого, а если и будет какой-нибудь маленький, необходименький скандальчик,— так... какой-нибудь! — так ведь мы уж будем тогда далеко! ведь уж здесь не останемся! Пусть их кричат во все горло, наплевать на них! Сами же будут завидовать. Да и стоит того, чтоб о них заботиться! Я даже удивляюсь тебе, Зиночка (но ты не сердись на меня),— как это ты, с твоей гордостью, их боишься?

— Ах, маменька, я вовсе не их боюсь! вы совершенно меня не понимаете! — отвечала раздражительно Зина.

— Ну, ну, душка, не сердись! Я только к тому, что они сами каждый божий день пакости строят, а тут ты всего-то какой-нибудь один разочек в жизни... да и что я, дура! Вовсе не пакость! Какая тут пакость? Напротив, это даже преблагородно. Я решительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все оттого, с какой точки зрения смотреть...

— Да полноте, маменька, с вашими доказательствами! — с гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою.

— Ну, душка, не буду, не буду! я опять завралась...

Наступило маленькое молчание. Марья Александровна смиренно ходила за Зиной и с беспокойством смотрела ей в глаза, как маленькая провинившаяся собачка смотрит в глаза своей барыне.

— Я даже не понимаю, как вы возьметесь за дело,— с отвращением продолжала Зина.— Я уверена, что вы наткнетесь на один только стыд. Я презираю их мнение, но для вас это будет позором.

— О, если только это тебя беспокоит, мой ангел,— пожалуйста, не беспокойся! прошу тебя, умоляю тебя! Только бы мы согласились, а обо мне не беспокойся. Ох, если б ты только знала, из каких я передряг суха выходила? Такие ли дела мне случалось обделывать! ну, да позволь хоть только попробовать! Во всяком случае прежде всего нужно как можно скорее быть наедине с князем. Это самое первое! а все остальное будет зависеть от этого! Но уж я предчувствую и остальное. Они все восстанут, но... это ничего! я их сама отделаю! Пугает меня еще Мозгляков...

— Мозгляков?— с презрением проговорила Зина.

— Ну да, Мозгляков; только ты не бойся, Зиночка! клянусь тебе, я его до того доведу, что он же будет нам помогать! Ты еще не знаешь меня, Зиночка! ты еще не знаешь, какая я в деле! Ах, Зиночка, душенька! давеча, как я услышала об этом князе, у меня уж и загорелась мысль в голове! Меня как будто разом всю осветило. И кто ж, и кто ж мог ожидать, что он к нам приедет? Да ведь в тысячу лет не будет такой оказии! Зиночка! ангельчик! Не в том бесчестие, что ты выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а между тем *действительно* будешь женой его! А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт! Ведь ему ж, дураку, будет выгода,— ему же, дураку, дают такое неоцененное счастье! Ах, какая ты сегодня красавица, Зиночка! раскрасавица, а не красавица! Да я бы, если б была мужчиной, я бы тебе полцарства достала, если б ты захотела! Ослы они все! Ну, как не поцеловать эту ручку?— И Марья

Александровна горячо поцеловала руку у дочери.— Ведь это мое тело, моя плоть, моя кровь! да хоть насильно женить его, дурака! А как заживем-то мы с тобой, Зиночка! Ведь ты не разлучишься со мной, Зиночка? Ведь ты не прогонишь свою мать, как в счастье попадешь? Мы хоть и ссорились, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я; все-таки...

— Маменька! если уж вы решились, то, может быть, вам пора... что-нибудь и делать. Вы здесь только время теряете!— в нетерпении сказала Зина.

— Пора, пора, Зиночка, пора! ах! я заболталась! — схватилась Марья Александровна.— Они там хотят совсем сманить князя. Сейчас же сажусь и еду. Подъеду, вызову Мозглякова, а там... Да я его силой увезу, если надо! Прощай, Зиночка, прощай, голубчик, не тужи, не сомневайся, не грусти, главное — не грусти! все прекрасно, преблагородно обделается! Главное, с какой точки смотреть... ну, прощай, прощай!..

Марья Александровна перекрестила Зину, выскочила из комнаты, с минутку повертелась у себя перед зеркалом, а через две минуты катилась по мордасовским улицам в своей карете на полозьях, которая ежедневно запрягалась около этого часу в случае выезда. Марья Александровна жила en grand [1].

«Нет, не вам перехитрить меня! — думала она, сидя в своей карете.— Зина согласна, значит, половина дела сделана, и тут — оборваться! вздор! Ай да Зина! Согласилась-таки наконец! Значит, и на твою головку действуют иные расчетцы! Перспективу-то я выставила ей заманчивую! Тронула! Но только ужас как она хороша сегодня! Да я бы, с ее красотой, пол-Европы перевернула по-своему! Ну, да подождем... Шекспир-то слетит, когда княгиней сделается да кой с чем познакомится. Что она знает? Мордасов да своего учителя! Гм... Только какая же она будет княгиня! Люблю я в ней эту гордость, смелость, недоступная какая! взглянет — королева взглянула. Ну как, ну как не понимать своей выгоды? Поняла ж наконец! Поймет и остальное... Я ведь все-таки буду при ней! Согласится же наконец со мной во всех пунктах! А без меня не обойдется! Я сама буду княгиня; меня и в Петербурге узнают. Прощай, городишка! Умрет этот князь, умрет этот мальчишка, и тогда я ее за владетельного принца выдам! Одного боюсь: не слишком ли я ей доверилась? Не слишком ли откровенничала, не слишком ли я расчувствовалась? Пугает она меня, ох пугает!»

И Марья Александровна погрузилась в свои размышления. Нечего сказать: они были хлопотливы. Но ведь говорится же, что охота пуще неволи.

---

[1] на широкую ногу *(франц.)*

Оставшись одна, Зина долго ходила взад и вперед по комнате, скрестив руки, задумавшись. О многом она передумала. Часто и почти бессознательно повторяла она: «Пора, пора, давно пора!» Что значило это отрывочное восклицание? Не раз слезы блистали на ее длинных шелковистых ресницах. Она не думала отирать их,— останавливать. Но напрасно беспокоилась ее маменька и старалась проникнуть в мысли своей дочери: Зина совершенно решилась и приготовилась ко всем последствиям...

«Постой же! — думала Настасья Петровна, выбираясь из своего чуланчика по отъезде полковницы.— А я было и бантик розовый хотела приколоть для этого князишки! И поверила же, дура, что он на мне женится! Вот тебе и бантик! А, Марья Александровна! Я у вас чумичка, я нищая, я взятки по двести целковых беру. Еще бы с тебя упустить не взять, франтиха ты этакая! Я взяла благородным образом; я взяла на сопряженные с делом расходы... Может, мне самой пришлось бы взятку дать! Тебе какое дело, что я не побрезгала, своими руками замок взломала? Для тебя же работала, белоручка ты этакая! Тебе бы только по канве вышивать! Погоди ж, я тебе покажу канву. Я покажу вам обеим, какова я чумичка! Узнаете Настасью Петровну и всю ее кротость!»

Глава VII

Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марья Александровны,— было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я суха выходила!»— говорила она Зине, и говорила справедливо. Не то какая ж бы она была героиня?

Бесспорно, что все это походило несколько на разбой на большой дороге; но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимание. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль: «Обвенчают, так уж не развенчаются»,— мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну, от одного уже представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но

план этот был составлен вчерне, вообще, en grand [1] и еще как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояла бездна подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Марья Александровна была уверена в себе: она волновалась не страхом неудачи — нет! ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают всё из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала, по неоднократному печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного, в ее доме, который, случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через три часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они — неизвестно, но разошлись они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя свою Зину, свою бесприданную, двадцатитрехлетнюю Зину; что Мозгляков в отставке и что все это уже решено и подписано. Что было причиною таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марью Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, ни очевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось,— не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Марья Александровна приступила к своему давешнему разговору с Зиной об этом же самом предмете. Таково-то чутье провинциалов! Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен бы быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренно удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим еще одно обстоятельство: Зину ненавидели почти еще больше Марьи Александровны,— за что?— неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиною. Может быть, и то, что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, *своего поля ягода.* Исчезни она из города, и — кто знает?— об ней бы, может быть, пожалели. Она оживляла общество беспрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня и, может быть сама не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандалезные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала; чего доброго — пожалуй, еще за губернатора (а мордасовский губернатор, как нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу). Тогда она будет первая дама в губернии, и, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло; что старик не в своем уме; что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием; что старика надо спасти от кровожадных когтей; что это, наконец, разбой и безнравственность; что, наконец, чем же другие хуже Зины? и другие могли бы точно так же выйти за князя. Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все готовы будут употребить всё, что возможно и что даже невозможно, чтоб воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя, так что приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, весь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать? Откажи в дверь, вой-

[1] Здесь: в главных чертах *(франц.)*

дут в окно: случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если б только представилась надобность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его, но зато она знала наверно, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов.

Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят: каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось-таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом?— то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой? Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех все оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и, по своему обыкновению, очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил три бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился окончательно. Тут уж подливала сама Марья Александровна. Обед был очень порядочный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был видимо не в своей тарелке и мало ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела угрюмая и даже, украдкой, делала Мозглякову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны.

А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднение: надо спешить, торопиться, а этот «проклятый Мозгляков» сидит себе, как болван, которому мало заботы, и только мешает! Ведь нельзя же, в самом деле, начинать такое дело при нем! Марья Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление, радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встали из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему,— разумеется, к его величайшему сожалению,— необходимо сейчас же отправиться.

— Куда это?— спросила с необыкновенным соболезнованием Марья Александровна.

— Вот видите, Марья Александровна,— начал Мозгляков с беспокойством и даже несколько путаясь,— со мной случилась престранная история. Я уж и не знаю, как вам сказать... дайте мне, ради бога, совет!

— Что, что такое?

— Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете,— тот купец... встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает, говорит мне, что я загордился. Вот уже третий раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. «Приезжай, говорит, сегодня на чай». Теперь ровно четыре часа, а чай он пьет по-старинному, как проснется, в пятом часу. Что мне делать? Оно, Марья Александровна, конечно,— но подумайте! Ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня все-таки только полтораста душ. А ведь у него миллион, люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему — сто тысяч по духовной оставит. Семьдесят лет,— подумайте!

— Ах, боже мой! так что ж это вы! что же вы медлите?— вскричала Марья Александровна, едва скрывая свою радость.— Поезжайте, поезжайте! этим нельзя шутить. То-то, я смотрю, за обедом — вы такой скучный! Поезжайте, mon ami, поезжайте! Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку! Ах, молодежь, молодежь!

— Да ведь вы же сами, Марья Александровна,— в изумлении вскричал Мозгляков,— вы же сами нападали на меня за это знакомство. Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными да поверенными?

— Ах, mon ami! Мало ли мы что говорим необдуманного! Я тоже могу ошибиться, я — не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа... Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке... Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь я поневоле должна смотреть с другой точки зре-

ния, и — какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлите! Даже вечер у него посидите... да послушайте! Заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю, да этак половчее, получше! Ах, боже мой! И у меня ведь это из головы вышло! Мне бы надо самой догадаться вас надоумить!

— Воскресили вы меня, Марья Александровна! — вскричал восхищенный Мозгляков.— Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться! А то ведь я вам просто боялся сказать!.. Ну, прощайте, я и в путь! Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда...

— Благословляю вас, mon ami! Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним! Он действительно премилый старичок. Я давно уже переменила о нем мои мысли... Я и всегда, впрочем, любила в нем всё это старинное русское, неподдельное... Au revoir, mon ami, au revoir!

«Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам бог помогает!»— подумала она, задыхаясь от радости.

Павел Александрович вышел в переднюю и надевал уже шубу, как вдруг откуда ни возьмись Настасья Петровна. Она поджидала его.

— Куда вы?— сказала она, удерживая его за руку.

— К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный отец мой; удостоился меня крестить... Богатый старик, оставит что-нибудь, надо польстить!..

Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа.

— К Бородуеву! ну так и проститесь с невестою,— резко сказала Настасья Петровна.

— Как так «проститесь»?

— Да так! Вы думали, она уж и ваша! А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала!

— За князя? помилосердуйте, Настасья Петровна!

— Да чего «помилосердуйте»! Вот не угодно ли самим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, подите-ка сюда!

Ошеломленный Павел Александрович бросил шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала.

— Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю!..

— А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнется.

— Какая комедия?

— Тсс! не говорите громко! Комедия в том, что вас просто

надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Марья Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя, говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться, и такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе честили! просто за дурака почитают, а Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура! Красный бантик приколоть хотела! Послушайте-ка, послушайте-ка!

— Да ведь это безбожнейшее коварство, если так! — прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасье Петровне.

— Да вы только послушайте, и не то еще услышите.

— Да где же слушать?

— Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку...

— Но, Настасья Петровна, я... я не способен подслушивать.

— Эк, когда хватились! Тут, батюшка, честь-то в карман; пришли, так уж слушайте!

— Но, однако же...

— А не способны, так и оставайтесь с носом! Вас же жалеют, а он куражится! Мне что! ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь!

Павел Александрович скрепя сердце нагнулся к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти не понимал, что с ним происходит.

Глава VIII

— Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны?— спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания.

После обеда князя тотчас же перевели в «салон», в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марьи Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок, с шести бокалов, как-то весь раскис и некрепко держался на ногах. Зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости.

— Чрез-вы-чайно весело,— отвечал князь,— и, знаете, бес-по-добней-шая женщина, Наталья Дмитриевна, бес-по-до-бней-шая женщина!

Как ни занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала сопернице уколола ее в самое сердце.

— Помилуйте, князь! — вскричала она, сверкая глазами,— если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, чтó после этого! Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества, совершенно не знаете! Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподымите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят!

— Неужели?— воскликнул князь.— Удивляюсь!

— Но я клянусь вам в этом! Ah, mon prince. Послушай, Зина, я должна, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей, на прошлой неделе,— помнишь? Да, князь, это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которою вы так восхищаетесь. О милейший мой князь! Клянусь, я не сплетница! Но я непременно расскажу это, единственно для того, чтоб рассмешить, чтоб показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, чтó здесь за люди! Две недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я за чем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахару в серебряной сахарнице: она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю: лежат на донышке только три кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова! У ней свой каменный дом и денег бессчетно! Этот случай смешной, комический, но судите после этого о благородстве здешнего общества!

— Не-у-же-ли! — воскликнул князь, искренно удивляясь.— Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели ж она все одна съела?

— Так вот какая она *бесподобнейшая* женщина, князь! как вам нравится этот позорный случай? Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы решилась на такой отвратительный поступок!

— Ну да, да... Только, знаете, она все-таки такая belle femme...[1]

— Наталья-то Дмитриевна! помилуйте, князь, да это просто кадушка! Ах, князь, князь! что это вы сказали! Я ожидала в вас гораздо поболее вкусу...

— Ну да, кадушка... только, знаете, она так сложена... Ну, а эта девочка, которая тан-це-ва-ла, она тоже... сложена...

[1] Здесь: статная женщина *(франц.)*

— Сонечка-то? да ведь она еще ребенок, князь! ей всего четырнадцать лет!

— Ну да... только, знаете, такая ловкая, и у ней тоже... такие формы... формируются. Ми-лень-кая такая! и другая, что с ней тан-це-ва-ла, тоже... формируется...

— Ах, это несчастная сирота, князь! Они ее часто берут.

— Си-ро-та. Грязная, впрочем, такая, хоть бы руки вымыла... А, впрочем, тоже за-ман-чи-вая...

Говоря это, князь с какою-то возрастающей жадностью рассматривал Зину в лорнет.

— Mais quelle charmante personne![1]— бормотал он вполголоса, тая от наслаждения.

— Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой! Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка! И если б вы знали, князь,— продолжала Марья Александровна вполголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своею тихою, плавною поступью, от которой чуть не покоробило бедного старичка,— если б вы знали, какая она дочь! Как она умеет любить, как нежна со мной! Какие чувства, какое сердце!

— Ну да... чувства... и, знаете ли, я только одну женщину знал, во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по кра-со-те,— перебил князь, глотая слюнки.— Это покойная графиня Наинская, умерла лет тридцать тому назад. Вос-хи-тительная была женщина, неопи-сан-ной красоты, потом еще за своего повара вышла...

— За своего повара, князь!

— Ну да, за своего повара... за француза, за границей. Она ему за гра-ни-цей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими у-си-ка-ми.

— И-и... как же они жили, князь?

— Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились...

— Маменька, что мне играть?— спросила Зина.

— Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь! Вы любите музыку?

— О да! Charmant, charmant! Я очень люблю му-зы-ку. Я за границей с Бетховеном был знаком.

— С Бетховеном! Вообрази, Зина, князь был знаком с Бетховеном! — кричит в восторге Марья Александровна.— Ах, князь! неужели вы были знакомы с Бетховеном?

— Ну да... мы были с ним на дру-жес-кой но-ге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной!

[1] Но какое очаровательное существо! *(франц.)*

— Бетховен?

— Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бет-хо-вен, а какой-нибудь другой не-мец. Там очень много нем-цев... Впрочем, я, кажется, сби-ва-юсь.

— Что же мне петь, маменька?— спросила Зина.

— Ах, Зина! спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур... Ах, князь! Как я люблю все это рыцарское! Эти замки, замки!.. Эта средневековая жизнь! Эти трубадуры, герольды, турниры... Я буду аккомпанировать тебе, Зина. Пересядьте сюда, князь, поближе! Ах, эти замки, замки!

— Ну да... замки. Я тоже люблю зам-ки,— бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом.— Но... боже мой! — восклицает он,— это романс!.. Но... я знаю этот ро-манс! Я давно уже слышал этот романс... Это так мне на-по-ми-нает... Ах, боже мой!

Я не берусь описывать, что сделалось с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый, звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная,— все это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями (а у кого нет любимых воспоминаний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно... Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила.

— О ma charmante enfant![1]— вскричал он, целуя ее пальчики.— Vous me ravissez![2] Я теперь, теперь только вспомнил... Но... но... о ma charmante enfant...

Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута.

— Зачем же вы губите себя, князь?— воскликнула она торжественно.— Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединении! убежать от людей, от друзей! Но это непростительно! Одумайтесь, князь! взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего,— воспоминания золотой вашей молодости, золотых, беззаботных дней,— воскресите их, воскресите себя! Начните опять жить в обществе, меж людей! Поезжайте за границу, в Италию, в Испанию — в Испанию, князь!.. Вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало? Но у вас есть друзья! Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу все и побегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь; я брошу мужа и пойду за вами... и даже, если б я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если б вы того захотели!

— И я уверен, что вы были une charmante personne в свое вре-мя,— проговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами.

— Мы живем в наших детях, князь,— с высоким чувством отвечала Марья Александровна.— У меня тоже есть свой ангел-хранитель! И это — она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь! Она отвергла уже семь предложений, не желая расставаться со мною.

— Стало быть, она с вами поедет, когда вы бу-дете со-про-вож-дать меня за гра-ницу? В таком случае я непременно поеду за границу! — вскричал князь, одушевляясь.— Неп-ре-менно по-еду! И если б я мог льстить себя на-деж-дою... Но она очаровательное, оча-ро-ва-тельное дитя! О ma charmante enfant!...— И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка, ему хотелось стать перед ней на колени.

— Но... но, князь, вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою?— подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия.— Но вы странны, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии! вы — представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств и... манер! Разве Мария не полюбила старика Мазепу? Я помню, я читала, что Лозён, этот очаровательный маркиз двора Людовика... я забыла которого,— уже в преклонных летах, уже старик,— победил сердце одной из первейших придворных красавиц!.. И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому! Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер! Но появитесь где-нибудь теперь, за границей, на водах, с молодою женой, с такой же красавицей, как например моя Зина,— я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения,— и вы увидите, какой колоссальный будет эффект! Вы — обломок аристократии, она — красавица из красавиц! вы ведете ее торжественно под руку; она поет в блестящем

[1] прелестное дитя! *(франц.)*
[2] Вы меня восхищаете! *(франц.)*

обществе, вы, с своей стороны, сыплете остроумием,— да все воды сбегутся смотреть на вас! Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос... Князь, князь! И вы говорите: можете ли вы льстить себя надеждою?

— Фельетоны... ну да, ну да!.. Это в газетах...— бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марьи Александровны и раскисая все более и более.— Но... дитя мое, если вы не ус-та-ли,— повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели!

— Ах, князь! Но у ней есть и другие романсы, еще лучше... Помните, князь, «L'hirondelle»?[1] Вы, вероятно, слышали?

— Да, помню... или, лучше сказать, я за-был. Нет, нет, прежний ро-манс, тот самый, который она сейчас пела! Я не хочу «L'hirondelle»! Я хочу тот романс...— говорил князь, умоляя, как ребенок.

Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колена. Он плакал.

— O ma belle châtelaine![2]— восклицал он своим дребезжащим от старости и волнения голосом.— O ma charmante châtelaine![3] О милое дитя мое! вы мне так много на-пом-нили... из того, что давно прошло... Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты... с виконтессой... этот самый романс... а теперь... Я не знаю, что уже те-перь...

Всю эту речь князь произнес задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масла в огонь.

— Князь! Но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину! — вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная.

Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.

— Я до безумия влюблен в нее! — вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, все еще стоя на коленах и весь дрожа от волнения.— Я ей жизнь готов отдать! И если б я только мог на-деяться... Но подымите меня, я не-мно-го ос-лаб... Я... если б только мог надеяться предложить ей мое сердце, то... я... она бы мне каждый день пела ро-ман-сы, а я бы все смотрел на нее... все смотрел... Ах, боже мой!

— Князь, князь! вы предлагаете ей свою руку! вы хотите ее взять у меня, мою Зину! мою милую, моего ангела, Зину! Но я не пущу тебя, Зина! Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери!—

---

[1] «Ласточку» *(франц.)*
[2] Здесь: моя прекрасная владычица! *(франц.)*
[3] Здесь: моя очаровательная владычица! *(франц.)*

Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятиях, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали... Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию. Однако ж она молчала, а это — все, что было надо Марье Александровне.

— Она девять раз отказывала, чтоб только не разлучаться с своею матерью! — кричала она.— Но теперь — мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас... Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью!.. О! вы разлучите нас; я это предчувствую!..

— Я о-бо-жаю ее! — пробормотал князь, все еще дрожа как осиновый листик.

— Итак, ты оставляешь мать свою! — воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери.

Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями.

— Я только теперь на-чи-наю жить,— бормотал он, захлебываясь от восторга.

— Зина!— торжественно проговорила Марья Александровна,— взгляни на этого человека! Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю! Это рыцарь средних веков! Но она это знает, князь; она знает, на горе моему сердцу... О! зачем вы приехали! Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь! Вас умоляет мать, и какая мать осудит меня за мою горесть!

— Маменька, довольно! — прошептала Зина.

— Вы защитите ее от обиды, князь? Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?

— Довольно, маменька, или я...

— Ну да, блеснет...— бормотал князь.— Я только теперь начинаю жить... Я хочу, чтоб сейчас же, сию минуту была свадьба... я... Я хочу послать сейчас же в Ду-ха́-ново. Там у меня бриллианты. Я хочу положить их к ее ногам...

— Какой пыл! какой восторг! какое благородство чувств!— воскликнула Марья Александровна.— И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света? Я тысячу раз буду это говорить! Я вне себя, когда вспомню об этой адской...

— Что же мне де-лать, я так бо-ялся! — бормотал князь, хныча и расчувствовавшись.— Они меня в су-мас-шед-ший дом посадить хо-те-ли... Я и испугался.

— В сумасшедший дом! О изверги! о бесчеловечные люди!

О низкое коварство! Князь — я это слышала! Но это сумасшествие со стороны этих людей! Но за что же, за что?!

— А я и сам не знаю за что! — отвечал старичок, от слабости садясь на кресло.— Я, знаете, на ба-ле был и какой-то анекдот рас-ска-зал, а им не понра-ви-лось. Ну и вышла история!

— Неужели только за это, князь?

— Нет. Я еще по-том в карты иг-рал, с князем Петром Демен-тьи-чем и без шести ос-тал-ся. У меня было два ко-ро-ля и три дамы... или, лучше сказать, три дамы и два ко-ро-ля... Нет! один ко-ро-ль! а потом уж были и да-мы...

— И за это! за это! о адское бесчеловечие! вы плачете, князь! Но теперь этого не будет! Теперь я буду подле вас, мой князь; я не расстанусь с Зиной, и посмотрим, как они осмелятся сказать слово!.. И даже, знаете, князь, ваш брак поразит их. Он пристыдит их! Они увидят, что вы еще способны... то есть они поймут, что не вышла бы за сумасшедшего такая красавица! Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете смотреть им прямо в лицо...

— Ну да, я буду смотреть им пря-мо в ли-цо,— пробормотал князь, закрывая глаза.

«Однако он совсем раскис,— подумала Марья Александровна.— Только слова терять!»

— Князь, вы встревожены, я вижу это; вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения,— сказала она, матерински нагибаясь к нему.

— Ну да, я бы хотел немно-го по-ле-жать,— сказал он.

— Да, да! Успокойтесь, князь! Эти волнения... Постойте, я сама провожу вас... Я уложу вас сама, если надо.— Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери — этого ангела, а не женщины! О, зачем ее нет теперь между нами! Это была праведница! князь, праведница! иначе я не называю ее!

— Пра-вед-ни-ца? c'est joli...[1] У меня тоже была мать... princesse...[2] и — вообразите — нео-бык-новен-но полная была жен-щина... Впрочем, я не то хотел сказать... Я не-мно-го ослаб. Adieu, ma charmante enfant!.. Я с нас-лажде-нием... я сегодня... завтра... Ну, да все рав-но! au revoir, au revoir! — тут он хотел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на пороге.

— Осторожнее, князь! Обопритесь на мою руку,— кричала Марья Александровна.

— Charmant! charmant! — бормотал он, уходя.— Я теперь только на-чи-наю жить...

---

[1] это мило *(франц.)*
[2] княгиня *(франц.)*

Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. С сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее... В эту минуту отворилась дверь, и Мозгляков вбежал в комнату.

Глава IX

Он слышал все, все!

Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением.

— Так-то вы! — вскричал он задыхаясь.— Наконец-то я узнал, кто вы такая!

— Кто я такая! — повторила Зина, смотря на него как на сумасшедшего, и вдруг глаза ее заблистали гневом.

— Как смели вы так говорить со мной! — вскричала она, подступая к нему.

— Я слышал все! — повторил Мозгляков торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад.

— Вы слышали? вы подслушивали?— сказала Зина, с презрением смотря на него.

— Да! я подслушивал! да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам... какая вы теперь выходите! — отвечал он, все более и более робея перед взглядом Зины.

— А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?

— Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права!.. да вы мне слово дали, вот что!

— Когда?

— Как когда?

— Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного.

— Однако же вы не прогнали меня, вы не отказали мне совсем; значит, вы удерживали меня про запас! значит, вы завлекали меня.

В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой, пронзительной внутренней боли; но она перемогла свое чувство.

— Если я вас не прогоняла,— отвечала она ясно и с расстановкой, хотя в голове ее слышалось едва заметное дрожание,—

то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам «нет», но разглядеть вас поближе, и «тогда — сказали вы,— тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете». Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться! Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, двумя неделями раньше, чем вы обещали, и это отвращение я не скрыла перед вами, напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня: не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали? Знайте, что того не завлекают, перед кем не могут и *не хотят* скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не одарен умом, очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак,— мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!

Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты.

Мозгляков, догадавшись, что все потеряно, закипел от ярости.

— А! так я дурак,— кричал он,— так я теперь уж дурак! Хорошо! Прощайте! Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова.

Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь.

В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгляков еще не уехал, Мозгляков около князя, Мозгляков раззвонит по городу, а тайна, хотя бы на самое малое время, была необходима! У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан.

— Что с вами, mon ami?— сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку.

— Как: *mon ami*! — вскричал он в бешенстве,— после того, что вы натворили, да еще: *mon ami*. Морген-фри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз?

— Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в таком *странном* состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой.

— Перед дамой! Вы... вы все, что хотите, а не дама! — вскри-

чал Мозгляков. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое.

Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо.

— Сядьте! — грустно проговорила она, показывая ему на кресла, в которых, четверть часа тому, покоился князь.

— Но послушайте наконец, Марья Александровна! — вскричал озадаченный Мозгляков.— Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами! Ведь это нельзя же-с!.. такой тон!.. ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения... знаете ли вы это?

— Друг мой! — отвечала Марья Александровна,— вы позволите мне все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я; друг мой! вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце — и потому не удивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам все, все мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же, поговорим.

Голос Марьи Александровны был болезненно мягкий.

В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресла.

— Вы подслушивали?— продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо.

— Да, я подслушивал! еще бы не подслушивать; вот бы олухто был! По крайней мере узнал все, что вы против меня затеваете,— грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом.

— И вы, и вы, с вашим воспитанием, с вашими правилами, могли решиться на такой поступок? О боже мой!

Мозгляков даже вскочил со стула.

— Но, Марья Александровна! — вскричал он,— это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились, с вашими правилами, а тогда осуждайте других!

— Еще вопрос,— сказала она, не отвечая на его вопросы,— кто вас надоумил подслушивать, кто рассказал, кто тут шпионил?— вот что я хочу знать.

— Ну, уж извините,— этого не скажу-с.

— Хорошо. Я сама узнаю. Я сказала, Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете всё, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала возможно больше добра.

— Мне? добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!

И он повернулся в креслах так, что они затрещали.

— Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее, если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласи-

тесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить все, все, и вы узнали бы от меня все дело, до малейшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилась с вами заранее, давеча, то единственно потому, что все дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите: я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя.

— Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви *до безумия,*— иронически проговорил Мозгляков.

— Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее.

— Ну, не до тону теперь, Марья Александровна! А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня ну честить! Вы чернили меня,— вот что я вам говорю-с! Я это все знаю, все!

— И, верно, из того же грязного источника?— заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь.— Да, Павел Александрович, я чернила вас, я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, может быть, даже клеветать на вас,— уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить! Недальновидный человек! Если б она не любила вас, нужно ли б было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего! Я должна была употребить власть матери, чтоб исторгнуть вас из ее сердца, и, после невероятных усилий, достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова; пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я, из жалости к ней, увела наконец отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы...

Мозгляков действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах.

— Но вы, вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна?— вскричал он.— За что вы чернили меня, клеветали на меня,— в чем сами признаетесь теперь?

— А, это другое дело! Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы! Все это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? отвечаю: во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи,

и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет,— может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны,— тогда Зина — молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзала, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила.

— Гм! — промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги.

— Во-вторых,— и об этом я упомяну только вкратце,— продолжала Марья Александровна,— потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и *очень добры,* но еще слишком молоды,— а я мать, Павел Александрович! Слушайте же: я выдаю Зину за князя отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей как дело высокохристианское быть опорой, утешением, другом, дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние, закатные дни! Где же тут эгоизм,— скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм!

— Так вы... так вы сделали это только для князя, для подвига сестры милосердия?— промычал Мозгляков насмешливым голосом.

— Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович; он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами? Что ж? может быть, в голове моей и были эти расчеты, только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию, но об одном прошу вас, Павел Александрович: не мешайте в это дело Зину! Она чиста как голубь: она не рассчитывает; она только умеет любить,— милое дитя мое! Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна! Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите: кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших,

даже в бескорыстнейших делах наших, рассчитываем неприметно, невольно! Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать: я сознаюсь, что, при всем благородстве моих целей,— я рассчитывала. Но, спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович! я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти, и — какая мать может обвинить меня в этом случае?

Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами.

— Ну да, какая мать...— проговорил он наконец.— Вы хорошо поете, Марья Александровна,— но... но ведь вы мне дали слово! Вы обнадеживали и меня... Мне-то каково? подумайте! Ведь я теперь, знаете, с каким носом?

— Но неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, mon cher Paul! Напротив: во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня, главным образом, исполнить все это предприятие.

— Моя выгода! — вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный.— Это как?

— Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным! — вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу.— О молодость! молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем,— живя чужим умом и чужими мыслями! Вы спрашиваете, *добрый* мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление: Зина вас любит,— это несомненно! Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она, как бы нарочно, удерживает себя и холодна с вами,— плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович?

— За-ме-чал; и даже сегодня... Однако что же вы хотите сказать, Марья Александровна?

— Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать — и мне ли не угадать сердца моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того, чтоб вбежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей,— вообразите, что вы бы приняли эту весть

кротко, со слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души...

— Гм!

— Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида! Я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастия, и я уже не смею восставать против них, Зинаида! я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь!» И тут бы вы устремили на нее взор, взор закалаемого агнца, если можно так выразиться,— вообразите все это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце!

— Да, Марья Александровна, положим, все это так; я это все понимаю... но что же,— я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего...

— Нет, нет, нет, мой друг! Не перебивайте меня! Я непременно хочу изобразить всю картину, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, чрез несколько времени, в высшем обществе; встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин, и, среди всего этого праздника, вы одни, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну (но так, что вас видно), следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплется остроумие высшего общества,— а вы один, бледный, и убитый вашею страстию! Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? «И я,— подумает она,— я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце!» Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою!

Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозгляков повернулся в креслах с такою силою, что они еще раз затрещали. Марья Александровна продолжала.

— Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию,— в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир,— где страна любви, где нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе! Вы едете туда же, за ней; вы жертвуете службой, связями, всем! Там начинается ваша любовь с неудержимою силой; любовь, молодость, Испания,— боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая; но вы, наконец, *томитесь,* смотря друг на друга. Вы меня понимаете, mon ami! Конечно, найдутся низкие, коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное

чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочною, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному!.. Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но — что до этого! Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец, он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите: за кого ж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную,— и в какое же время?— когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож! Чрез нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества; через нее вы получаете вдруг значительное место, входите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы богаты; князь устроит все в своем завещании; я берусь за это. И наконец, главное, она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения!.. И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода!» Павел Александрович, помилуйте!

— Марья Александровна! — вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении,— теперь я все понял! я поступил грубо, низко и подло!

Он вскочил со стула и схватил себя за волосы.

— И не расчетливо,— прибавила Марья Александровна,— главное: не расчетливо!

— Я осел, Марья Александровна! — вскричал он почти в отчаянии.— Теперь все погибло, потому что я до безумия люблю ее!

— Может быть, и не все погибло,— проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая.

— О, если б это было возможно! Помогите! научите! спасите! И Мозгляков заплакал.

— Друг мой! — с состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку,— вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней! Вы были в отчаянии, вы не помнили себя! ведь должна же она понять все это...

— Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать! — кричал Мозгляков.

— Послушайте, я оправдаю вас перед нею...

— Марья Александровна!

— Да, я берусь за это! Я сведу вас. Вы выскажете ей все, все, как я вам сейчас говорила!

— О боже! как вы добры, Марья Александровна!.. Но... нельзя ли это сделать сейчас!

— Оборони бог! О, как вы неопытны, друг мой! Она такая гордая! Она примет это за новую грубость, за нахальность! Завтра же я устрою все, а теперь — уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу... пожалуй, приходите вечером; но я бы вам не советовала!

— Уйду, уйду! боже мой! вы меня воскрешаете! но еще один вопрос: ну, а если князь не так скоро умрет?

— Ах, боже мой, как вы наивны, mon cher Paul. Напротив, вам надобно молить бога о его здоровье. Надобно всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку! Я первая, со слезами, и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы! кажется, здоровье князя ненадежно! К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, ох боюсь, чтоб это окончательно не доконало его! Но — будем молиться, cher Paul, а остальное — в руце божией!.. Вы уже идете! Благословляю вас, mon ami! Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное — мужайтесь! Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших...

Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты.

— Ну, проводила одного дурака!— сказала она с торжеством.— Остались другие...

Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного. Глаза ее сверкали.

— Маменька!— сказала она,— кончайте скорее, или я не вынесу! Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня! Меня тошнит, слышите ли: меня тошнит от всей этой грязи!

— Зина! что с тобою, мой ангел? Ты... ты подслушивала!— вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством вглядываясь в Зину.

— Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость! Но... я не знала себя! Я задохнусь от этого смрада!..— И она вышла, хлопнув дверями.

Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась.

— Спешить, спешить!— вскричала она, встрепенувшись.— В ней главная беда, главная опасность, и если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу,— что, уж верно, и

сделано,— то все пропало! Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало и немедленно надо увезти князя в деревню! Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться! А там тот выспится — и отправимся!— Она позвонила.

— Что ж лошади?— спросила она вошедшего человека.

— Давно готовы-с,— отвечал лакей.

Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя.

Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтоб сообщить ей, в главных чертах, свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках; она обливалась слезами и рвала свои длинные, чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы.

Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении, и чтоб вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть мочи.

«Скверно то, что Зина подслушивала!— думала она, сидя в карете.— Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась... Гм! Но главное, главное — успеть все обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, если на грех моего дурака нету дома!..»

И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеичу; она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее во всю прыть.

Глава X

Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи Александровны еще утром, в то время когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была: в свою очередь конфисковать князя и, как можно скорее, увезти его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеич. Не скроем, что на Марью Александровну все более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз

в деревне,— рассуждала она,— так тут хоть весь город вверх ногами!» Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Все могло случиться, все, решительно все, хотя мы, конечно, не верим слухам, распространенным впоследствии про мою героиню ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра; в самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в два часа обделывались! Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое comme il faut; внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец, можно было все выставить как романическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае можно даже и напоить его или, еще лучше, держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней! Если же не обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, все это еще впереди; а во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных; что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Mémoires du Diable»[1]. Что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно: везти князя в деревню значило везти его к Афанасию Матвеичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сановитого отца семейства, в белом галстухе и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадно-

[1] «Записок дьявола» *(франц.)*

го приглашения трудно и отказаться, думала Марья Александровна. Наконец карета пролетела три версты, и кучер Софрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни.

— Где болван?— закричала Марья Александровна, как ураган врываясь в комнаты.— Зачем тут это полотенце? А! он утирался! Опять был в бане? И вечно-то хлещет свой чай! Ну, что на меня глаза выпучил, отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?

Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеичем гораздо мягче, но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле: столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квиетизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеича; такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и, в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену.

— Да не даются, оттого и не стриг,— проговорил он ворчливым и осиплым голосом.— Десять раз с ножницами подходил,— вот, говорю, барыня ужо-тка приедет,— нам обоим достанется, тогда чего станем делать? Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь; мне надо, чтоб волосы длинные были.

— Как? так он завивается! так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет?— кричала супруга, накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасья Матвеича.

— Ма-матушка!— пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу,— ма-ма-матушка!..

— Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!

— Да... да ведь ты, Марья Александровна, все же законная жена моя, так вот я и говорю... по-супружески...— возразил было Афанасий Матвеич и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтоб защитить свои волосы.

— Ах ты, харя! ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно-низкое слово *«законная»?* и как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души? Что руками-то голову закрываешь! Посмотрите, какие у него волосы? совсем, совсем мокрые! В три часа не обсохнут! Как теперь везти его? Как теперь людям показать? Что теперь делать?

И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая; но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасья Матвеича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот контраст.

Афанасий Матвеич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел, на нее глядя.

— Гришка!— вскричала наконец она,— тотчас же барину одеваться! фрак, брюки, белый галстух, жилет,— живее! Да где его головная щетка, где щетка?

— Матушка! да ведь я из бани: простудиться могу, если в город ехать...

— Не простудишься!

— Да вот и волосы мокрые...

— А вот мы их сейчас высушим! Гришка, бери головную щетку, три его досуха; крепче! крепче! вот так! вот так!

Под эту команду усердный и преданный Гришка что есть силы начал оттирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеич морщился и чуть не плакал.

— Теперь пошел сюда! подыми его, Гришка! где помада? Нагнись, нагнись, негодяй,— нагнись, дармоед!

И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он, на беду свою, не остриг. Афанасий Матвеич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностию выдержал всю операцию.

— Соки ты мои высосал, пачкун ты такой!— проговорила Марья Александровна.— Да нагнись еще больше, нагнись!

— Чем же я, матушка, высосал твои соки?— промямлил супруг, нагибая как только мог более голову.

— Болван! аллегории не понимает! Теперь причешись; а ты одевай его, да живее!

Героиня наша уселась в кресла и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстуха, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.

— Куда ж это ты везешь меня, Марья Александровна?— проговорил он, охорашиваясь.

Марья Александровна не поверила было ушам своим.

— Слышите! ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя!

— Матушка, да ведь надо же знать...

— Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц просидишь без чаю.

Испуганный супруг умолк.

— Ишь! ни одного креста ведь не выслужил, чумичка ты этакая,— продолжала она, с презрением смотря на черный фрак Афанасия Матвеича.

Афанасий Матвеич наконец обиделся.

— Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка,— проговорил он в благородном негодовании.

— Что, что, что? Да ты здесь рассуждать научился! ах ты, мужик ты этакой! ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да потом припомню! Давай ему шляпу, Гришка! Давай ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты прибрать; да зеленую, угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы, с часов тоже, да чтоб через час все было готово. Да сам надень фрак, людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слышишь?

Сели в карету. Афанасий Матвеич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя,— как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее.

— А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел,— возвестил он совсем неожиданно, посреди обоюдного молчания.

— Тьфу ты, проклятое чучело! Я думала и бог знает что! Какой-то сон! да как ты смеешь лезть ко мне с своими мужицкими снами! Оригинальный! понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, говорю в последний раз, если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я,— я уж и не знаю, что с тобой сделаю! Слушай хорошенько: ко мне приехал князь К. Помнишь князя К.?

— Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?

— Молчи, не твое дело! Ты должен с особенною любезностию, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. За тем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти! Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?

— Ну, а если что-нибудь спросят?

— Все равно молчи.

— Но ведь нельзя же все молчать, Марья Александровна.

— В таком случае отвечай односложно, что-нибудь этакое, например *«гм!»* или что-нибудь такое же, чтоб показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.

— Гм.

— Пойми ты меня! Я тебя везу для того, что ты услышал о князе и тотчас же, в восторге от его посещения, прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню; понимаешь?

— Гм.

— Да ты не теперь гумкай, дурак! ты мне-то отвечай.

— Хорошо, матушка, все будет по-твоему; только зачем я приглашать-то буду князя?

— Что, что? опять рассуждать! А тебе какое дело: зачем? да как ты смеешь об этом спрашивать?

— Да я все к тому, Марья Александровна: как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?

— Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи. Понимаешь?

— Понимаю, мат... Марья Александровна.

— Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой, слышишь?

— Гм.

— Опять загумкал! Со мной не гумкать! Прямо и просто отвечай: слышишь или нет?

— Слышу, Марья Александровна, слышу, как не услышать, а гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я все

про то же, матушка; как же это: если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Ну, а все-таки если что меня спросит?

— Экой непонятливый балбес! Я уже сказала тебе: молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся.

— Да ведь он подумает, что я немой,— проворчал Афанасий Матвеич.

— Велика важность! пусть думает; зато скроешь, что ты дурак.

— Гм... Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут?

— Никто не спросит, никого не будет. А если, на случай,— чего боже сохрани!— кто и приедет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?

— Это остроумная, что ли, матушка?

— Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая улыбка, понимаешь,— насмешливая и презрительная.

— Гм.

«Ох, боюсь я за этого болвана!— шептала про себя Марья Александровна.— Решительно он поклялся высосать все мои соки! Право бы, лучше было его совсем не брать!»

Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей все казалось тихо. Афанасий Матвеич молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая — Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания:

— Марья Александровна! и вместе с Афанасием Матвеичем! приехали! откуда? Как кстати, а мы к вам, на весь вечер! Какой сюрприз!

Гостьи выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим.

«Провалились бы вы!— подумала она про себя.— Это пахнет заговором! Надо исследовать! Но... не вам, сорокам, перехитрить меня!.. Подождите!..»

Глава XI

Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому, вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бородуеву он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам; мимоходом, под шумок,— внимание какой-нибудь графини из «высшего общества», в которое он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К., вице-губернаторское место, денежки,— одним словом, все, так красноречиво расписанное Марьей Александровной, еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но вот — и не знаю, право, как это объяснить,— когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль: что ведь, во всяком случае, все это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве, именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Все это, неизвестно почему, начало сердить Павла Александровича,— признак очень дурной, потому что, при хорошем обороте дел, все, напротив, кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове; очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми — в отставке! Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире! Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел наконец на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце: «Да правда ли это все? Да сбудется ли это все так, как Марья Александровна расписывала?» Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна — чрезвычайно хитрая дама, что она, как ни достойна

всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера. Что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины и что, наконец, расписывать — всякий мастер. Думал он и о Зине; припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви; да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки, час тому, съел от нее дурака. При этом воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно, в следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие: он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Покамест он барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович, с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе, добрел наконец до угла улицы и тут только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице; его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи!— говорил он про себя, плюя от злости.— А чтобы сам дьявол вас всех побрал, с вашими высокими чувствами да с Гвадалквивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав два часа, дошел он до подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много экипажей — он удивился. «Неужели же гости, неужели званый вечер?— подумал он.— С какою же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья Александровна была в деревне и привезла с собою Афанасия Матвеича, в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, из мщения, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться.

Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах, перед дорожным своим туалетом и с совершенно голою головою, но уже в эспаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого, старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел, как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый и раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его.

— Как ваше здоровье, дядюшка?— спросил Мозгляков.

— Как... это ты?— проговорил наконец дядюшка.— А я, брат, немножко заснул. Ах, боже мой!— вскрикнул он, весь оживившись,— ведь я... без па-рика!

— Не беспокойтесь, дядюшка! я... я вам помогу, если вам угодно.

— А вот ты и узнал теперь мой секрет! Я ведь говорил, что надо дверь за-пи-рать. Ну, мой друг, ты должен не-мед-ленно дать мне свое честное сло-во, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы нак-лад-ные.

— О, помилуйте, дядюшка! неужели вы меня считаете способным на такую низость!— вскричал Мозгляков, желая угодить старику для... дальнейших целей.

— Ну да, ну да! И так как я вижу, что ты благородный человек, то, уж так и быть, я тебя у-див-лю... и открою тебе все мои тай-ны. Как тебе нравятся, мой милый, мои у-сы?

— Превосходные, дядюшка! удивительные! как могли вы их сохранить так долго?

— Разуверься, мой друг, они нак-лад-ные!— проговорил князь, с торжеством смотря на Павла Александровича.

— Неужели? Поверить трудно. Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы, верно, черните их?

— Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные.

— Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю. Вы надо мною смеетесь!

— Parole d'honneur, mon ami![1]— вскричал торжествующий князь,— и предс-тавь себе, все, реши-тельно все, так же как и ты, обма-ны-ваются! Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их нак-ла-ды-вает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово...

— Честное слово, дядюшка, сохраню. Повторяю вам: неужели вы меня считаете способным на такую низость?

— Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вы-валил.

— Вывалил опять! когда же?

— А вот мы уже к мо-нас-тырю подъезжали...

— Знаю, дядюшка, давеча.

— Нет, нет, два часа тому назад, не бо-лее. Я в монастырь

[1] Честное слово, мой друг! *(франц.)*

поехал, а он меня взял да и вывалил; так на-пу-гал,— даже теперь сердце не на месте.

— Но, дядюшка, ведь вы почивали!— с изумлением проговорил Мозгляков.

— Ну да, почивал... а потом и по-е-хал, впрочем, я... впрочем, я это, может быть... ах, как это странно!

— Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне! Вы преспокойно себе почивали, с самого послеобеда.

— Неужели?— И князь задумался.

— Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я все помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то престрашный бык с рогами; а потом приснился какой-то про-ку-рор, тоже как будто с ро-гами...

— Это, верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.

— Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бонапарте видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бона-парте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?

— Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

— Ну да, это en face. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел, и, знаешь, какой разговорчивый, разбитной, ве-сель-чак такой, так что он чрез-вы-чайно меня позабавил.

— Это вы про Наполеона, дядюшка?— проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове,— мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета.

— Ну да, про На-по-леона. Мы с ним все про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили... анг-ли-чане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек! Но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на не-о-би-таемый остров...

— Почему же на необитаемый?— спросил Мозгляков рассеянно.

— Ну, хоть и на о-би-таемый, только не иначе, как благоразумными жителями. Ну и разные разв-ле-чения для него устроить: театр, музыку, балет — и все на казенный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется, под присмотром, а то бы он сейчас у-лизнул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, о-те-чески содержал. Он бы у меня и рас-ка-ялся...

Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу,— он еще сам не знал зачем; но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.

— Ах, mon ami! Я ведь тебе и забыл ска-зать. Представь себе, я ведь сделал сегодня пред-ло-жение.

— Предложение, дядюшка?— вскричал Мозгляков оживляясь.

— Ну да, пред-ло-жение. Пахомыч, ты уж идешь? Ну, хорошо. C'est une charmante personne... Но... признаюсь тебе, милый мой, я поступил необ-ду-манно. Я только теперь это ви-жу. Ах, боже мой!

— Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение?

— Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю наверно когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, од-на-ко же, стран-но!

Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове.

— Но кому, когда вы сделали предложение, дядюшка?— повторил он в нетерпении.

— Хозяйской дочери, mon ami... cette belle personne...[1] впрочем, я забыл, как ее зо-вут. Только, видишь ли, mon ami, я ведь никак не могу же-нить-ся. Что же мне теперь делать?

— Да, вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?

— Ну да... я уверен.

— А если все это вы видели во сне, так же как и то, что вы другой раз вывалились из кареты?

— Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне! Так что я теперь и не знаю, как туда по-ка-заться. Как бы это, друг мой, узнать на-вер-но, каким-нибудь по-сторон-ним образом: делал я предложение иль нет? А то, представь, каково теперь мое положение?

— Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего.

— А что?

— Я наверно думаю, что вы видели это во сне.

— Я сам то же думаю, мой ми-лый, тем более, что мне часто снятся по-доб-ные сны.

— Вот видите, дядюшка. Представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец...

— Ну да, мой друг; именно, может быть, от э-то-го.

— Тем более, дядюшка, что, как бы вы ни были разгоря-

[1] этой прелестной особе *(франц.)*

чены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и...

— Ну да, ну да.

— Представьте только одно: если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам,— что бы тогда было?

— Ах, боже мой!— вскрикнул испуганный князь,— а что бы тогда было?

— Помилуйте! да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули, и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор.

Мозгляков знал, чем можно было напугать старика.

— Ах, боже мой!— вскричал князь, дрожа как лист.— Неужели бы посадили?

— И потому рассудите, дядюшка: могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне.

— Непременно во сне, неп-ре-менно во сне!— повторял напуганный князь.— Ах, как ты умно рассудил все это, мой ми-лый! Я душевно тебе благодарен, что ты меня вра-зу-мил.

— А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе: без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно!

— Ну да... да, опасно!

— Вспомните только, что этой девице двадцать три года; ее никто не хочет брать замуж, и вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом! да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете.

— Неужели?

— И, наконец, вспомните, дядюшка: человек с вашими достоинствами...

— Ну да, с моими достоинствами...

— С вашим умом, с вашею любезностию...

— Ну да, с моим умом, да!..

— И наконец, вы — князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники?

— Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят! Я уж испытал от них столько коварства и злобы... Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в су-мас-шедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что б я там стал делать... в су-мас-шедшем-то доме?

— Разумеется, дядюшка, и потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости.

— Гости? Ах, боже мой!

— Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.

— Но как я тебе благо-да-рен, мой милый, ты просто спаситель мой! Но знаешь ли что? Я лучше уеду.

— Завтра, дядюшка, завтра, утром, в семь часов. А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что уезжаете.

— Непременно уеду... к отцу Мисаилу... Но, мой друг, ну, как они меня там сос-ва-тают?

— Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне... так, как оно и действительно было.

— Ну да, неп-ре-менно во сне! только, знаешь, мой друг, все-таки это был пре-оча-ро-ва-тельный сон! Она удивительно хороша собой и, знаешь, такие формы...

— Ну прощайте, дядюшка, я пойду вниз, а вы...

— Как! так ты меня одного оставляешь!— вскричал князь в испуге.

— Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь: сначала я, а потом вы. Это будет лучше.

— Ну, хо-ро-шо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль.

— Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром...

— А завтра утром к иеромонаху, непременно к ие-ро-монаху! Charmant, charmant! А знаешь, мой друг, она у-ди-вительно хороша собой... такие формы... и если б уж так мне надо было непременно жениться, то я...

— Боже вас сохрани, дядюшка!

— Ну да, боже сохрани!.. Ну, прощай, мой милый, я сейчас... только вот за-пи-шу. A propos, я давно хотел тебя спросить: читал ты мемуары Казановы?

— Читал, дядюшка, а что?

— Ну да... Я вот теперь и за-был, что хотел сказать...

— После вспомните, дядюшка,— до свиданья!

— До свиданья, мой друг, до свиданья! Только все-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тельный сон!..

Глава XII

— А мы к вам все, все! И Прасковья Ильинишна тоже приедет, и Луиза Карловна хотела быть,— щебетала Анна Николаевна, входя в салон и жадно осматриваясь. Это была довольно хорошенькая маленькая дамочка, пестро, но богато одетая и, сверх того, очень хорошо знавшая, что она хорошенькая. Ей так и казалось, что где-нибудь в углу спрятан князь, вместе с Зиной.

— И Катерина Петровна приедут-с, и Фелисата Михайловна тоже хотели быть-с,— прибавила Наталья Дмитриевна, колоссального размера дама, которой формы так понравились князю и которая чрезвычайно походила на гренадера. Она была в необыкновенно маленькой розовой шляпке, торчавшей у нее на затылке. Уже три недели, как она была самым искренним другом Анны Николаевны, за которою давно уже увивалась и ухаживала и которую, судя по виду, могла проглотить одним глотком, вместе с косточками.

— Я уже не говорю о том, можно сказать, восторге, который я чувствую, видя вас обеих у меня, и еще вечером,— запела Марья Александровна, оправившись от первого изумления,— но скажите, пожалуйста, какое же чудо зазвало вас сегодня ко мне, когда я уже совсем отчаялась иметь эту честь?

— О боже мой, Марья Александровна, какие вы право-с!— сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь, стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный контраст с ее наружностью.

— Mais, ma charmante,— защебетала Анна Николаевна,— ведь надобно же, непременно надобно когда-нибудь кончить все наши сборы с этим театром. Еще сегодня Петр Михайлович сказал Каллисту Станиславичу, что его чрезвычайно огорчает, что у нас это нейдет на лад и что мы только ссоримся. Вот мы и собрались сегодня вчетвером да и думаем: поедем-ка к Марье Александровне, да и решим всё разом! Наталья Дмитриевна и другим дала знать. Все приедут. Вот мы и сговоримся, и хорошо будет. Пускай же не говорят, что мы только ссоримся, так ли, mon ange?— прибавила она игриво, целуя Марью Александровну.— Ах, боже мой! Зинаида Афанасьевна! но вы каждый день все более хорошеете!— Анна Николаевна бросилась с поцелуями к Зине.

— Да им и нечего делать больше-с, как хорошеть-с,— сладко прибавила Наталья Дмитриевна, потирая свои ручищи.

«Ах, черт бы их взял! я и не подумала об этом театре! изловчились, сороки!»— прошептала Марья Александровна вне себя от бешенства.

— Тем более, мой ангел,— прибавила Анна Николаевна,—

что у вас теперь этот милый князь. Ведь вы знаете, в Духанове, у прежних помещиков, был театр. Мы уж справлялись и знаем, что там где-то складены все эти старинные декорации, занавесь и даже костюмы. Князь был сегодня у меня, и я так была удивлена его приездом, что совершенно забыла ему сказать. Теперь мы нарочно заговорим о театре, вы нам поможете, и князь велит отослать к нам весь этот старый хлам. А то — кому здесь прикажете сделать что-нибудь похожее на декорацию? А главное, мы и князя-то хотим завлечь в наш театр. Он непременно должен подписаться: ведь это для бедных. Может быть, даже и роль возьмет,— он же такой милый, согласный. Тогда пойдет чудо как хорошо.

— Конечно, возьмут ролю-с. Ведь их можно заставить всякую ролю разыгрывать-с,—многозначительно прибавила Наталья Дмитриевна.

Анна Николаевна не обманула Марью Александровну: дамы поминутно съезжались. Марья Александровна едва успевала встречать их и издавать восклицания, требуемые в таких случаях приличием и комильфотностию.

Я не берусь описывать всех посетительниц. Скажу только, что каждая смотрела с необыкновенным коварством. У всех на лицах было написано ожидание и какое-то дикое нетерпение. Некоторые из дам приехали с решительным намерением быть свидетельницами какого-нибудь необыкновенного скандала и очень бы рассердились, если б пришлось разъехаться, не видав его. Наружно все вели себя необыкновенно любезно, но Марья Александровна с твердостию приготовилась к нападению. Посыпались вопросы о князе, казалось, самые естественные; но в каждом заключался какой-нибудь намек, обиняк. Появился чай; все разместились. Одна группа завладела роялем. Зина на приглашение сыграть и спеть сухо отвечала, что она не так здорова. Бледность лица ее это доказывала. Тотчас же посыпались вопросы участия, и даже тут нашли случай кой о чем спросить и намекнуть. Спрашивали и о Мозглякове и относились с этими вопросами к Зине. Марья Александровна удесятерилась в эту минуту, видела все, что происходило в каждом углу комнаты, слышала, что говорилось каждою из посетительниц, хотя их было до десяти, и немедленно отвечала на все вопросы, разумеется не ходя за словом в карман. Она трепетала за Зину и дивилась тому, что она не уходит, как всегда до сих пор поступала при подобных собраниях. Заметили и Афанасия Матвеича. Над ним всегда все трунили, чтоб кольнуть Марью Александровну ее супругом. Теперь же от недалекого и откровенного Афанасия Матвеича можно было кой-что и выведать. Марья Александровна с беспокойством приглядывалась к осадному положению, в

котором видела своего супруга. К тому же он отвечал на все вопросы: «гм» с таким несчастным и неестественным видом, что было отчего ей прийти в бешенство.

— Марья Александровна! Афанасий Матвеич с нами совсем говорить не хочет,— вскричала одна смелая, востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфузилась.— Прикажите ему быть поучтивее с дамами.

— Я, право, сама не знаю, что с ним сегодня сделалось,— отвечала Марья Александровна, прерывая разговор свой с Анной Николаевной и с Натальей Дмитриевной и весело улыбаясь,— такой, право, неразговорчивый! Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь Фелисате Михайловне, Athanase? Что вы его спрашивали?

— Но... но... матушка, ведь ты же сама...— пробормотал было удивленный и потерянный Афанасий Матвеич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилет, в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлебывал чай. Вопросы дам так его конфузили, что он краснел, как девчонка. Когда же он начал свое оправдание, то встретил такой ужасный взгляд своей взбешенной супруги, что чуть не обеспамятел от испуга. Не зная, что делать, желая как-нибудь поправиться и вновь заслужить уважение, он хлебнул было чаю; но чай был слишком горячий. Не соразмерив глотка, он ужасно обжегся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принужден был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствовавших. Одним словом, все было ясно. Марья Александровна поняла, что ее гости знали уж все и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное. Могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в ее же присутствии. Могли даже увезти от нее князя, поссорив его с нею в этот же вечер и сманив его за собою. Ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей еще одно испытание: дверь отворилась, и появился Мозгляков, которого она считала у Бородуева и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее.

Мозгляков остановился в дверях и оглядывал всех, немного потерявшись. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице.

— Ах, боже мой! Павел Александрович!— вскрикнуло несколько голосов.

— Ах, боже мой! да ведь это Павел Александрович! как же вы сказали, Марья Александровна, что они пошли к Бородуевым-с? Нам сказали, что вы скрылись у Бородуева-с, Павел Александрович,— пропищала Наталья Дмитриевна.

— Скрылся?— повторил Мозгляков с какой-то искривившейся улыбкой.— Странное выражение! Извините, Наталья Дмитриевна! Я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать,— прибавил он, многознаменательно взглянув на Марью Александровну.

Марья Александровна затрепетала.

«Как, неужели и этот болван бунтуется!— подумала она, пытливо всматриваясь в Мозглякова.— Нет, это уж будет хуже всего...»

— Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка... по службе, разумеется?— выскочила дерзкая Фелисата Михайловна, насмешливо смотря ему прямо в глаза.

— Отставка? какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге,— сухо отвечал Мозгляков.

— Ну, так поздравляю вас,— продолжала Фелисата Михайловна,— а мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасове. Здесь места ненадежные, Павел Александрович, тотчас слетишь.

— Разве одни учительские в уездном училище; тут еще можно найти вакансию,— заметила Наталья Дмитриевна. Намек был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой.

— Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь учителишки?— включила Фелисата Михайловна.

Но Павел Александрович не нашел, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Афанасием Матвеичем, который протягивал ему руку. Мозгляков преглупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздраженный до крайности, он прямо подошел к Зине и, злобно смотря ей в глаза, прошептал:

— Это все по вашей милости. Подождите, я еще сегодня вечером покажу вам — дурак я иль нет?

— Зачем откладывать? Это и теперь видно,— громко ответила Зина, с отвращением обмеривая глазами своего бывшего жениха.

Мозгляков поспешно отворотился, испугавшись ее громкого голоса.

— Вы от Бородуева?— решилась наконец спросить Марья Александровна.

— Нет-с, я от дядюшки.

— От дядюшки? Так вы, значит, были теперь у князя?

— Ах, боже мой! так, значит, князь уж проснулись; а нам сказали, что они все еще почивают-с,— прибавила Наталья Дмитриевна, ядовито посматривая на Марью Александровну.

— Не беспокойтесь о князе, Наталья Дмитриевна,— отвечал Мозгляков,— он проснулся и, слава богу, теперь уже в своем

уме. Давеча его подпоили, сначала у вас, а потом, уж окончательно, здесь, так что он совсем было потерял голову, которая у него и без того некрепка. Но теперь, слава богу, мы вместе поговорили, и он начал рассуждать здраво. Он сейчас сюда будет, чтоб откланяться вам, Марья Александровна, и поблагодарить за все ваше гостеприимство. Завтра же, чем свет, мы вместе отправляемся в пустынь, а потом я его непременно сам провожу до Духанова во избежание вторичных падений, как например сегодня; а там уж его примет, с рук на руки, Степанида Матвеевна, которая к тому времени непременно воротится из Москвы и уж ни за что не выпустит его в другой раз путешествовать,— за это я отвечаю.

Говоря это, Мозгляков злобно смотрел на Марью Александровну. Та сидела как будто онемевшая от изумления. С горестию признаюсь, что моя героиня, может быть, первый раз в жизни струсила.

— Так они завтра чем свет уезжают? как же это-с?— проговорила Наталья Дмитриевна, обращаясь к Марье Александровне.

— Как же это так?— наивно раздалось между гостями.— А мы слышали, что... вот, право, странно!

Но хозяйка уж и не знала, что отвечать. Вдруг всеобщее внимание было развлечено самым необыкновенным и эксцентрическим образом. В соседней комнате послышались какой-то странный шум и чьи-то резкие восклицания, и вдруг, нежданно-негаданно, в салон Марьи Александровны ворвалась Софья Петровна Фарпухина. Софья Петровна была бесспорно самая эксцентрическая дама в Мордасове, до того эксцентрическая, что даже в Мордасове решено было с недавнего времени не принимать ее в общество. Надо еще заметить, что она регулярно, каждый вечер, ровно в семь часов, закусывала,— для желудка, как она выражалась,— и после закуски обыкновенно была в самом эмансипированном состоянии духа, чтоб не сказать чего-нибудь более. Она именно была в этом состоянии духа теперь, так неожиданно ворвавшись к Марье Александровне.

— А, так вот вы как, Марья Александровна,— закричала она на всю комнату,— вот вы как со мной поступаете! Не беспокойтесь, я на минутку; я у вас и не сяду. Я нарочно заехала узнать: верно ли то, что мне говорили? А! так у вас балы, банкеты, сговоры, а Софья Петровна сиди себе дома да чулок вяжи! Весь город назвали, а меня нет! А давеча я вам и друг, и mon ange, когда приехала пересказать, что делают с князем у Натальи Дмитриевны. А теперь вот и Наталья Дмитриевна, которую вы давеча на чем свет ругали и которая вас же ругала, у вас в гостях сидит. Не беспокойтесь, Наталья Дмитриевна! Не надо мне вашего шоколаду á la santé [1], по гривеннику палка. Я почаще вашего пью у себя дома! тьфу!

— Это видно-с,— заметила Наталья Дмитриевна.

— Но, помилуйте, Софья Петровна,— вскрикнула Марья Александровна, покраснев от досады,— что с вами? образумьтесь по крайней мере.

— Не беспокойтесь обо мне, Марья Александровна, я все знаю, все, все узнала!— кричала Софья Петровна своим резким, визгливым голосом, окруженная всеми гостями, которые, казалось, наслаждались этой неожиданной сценой.— Все узнала! Ваша же Настасья прибежала ко мне и все рассказала. Вы подцепили этого князишку, напоили его допьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочеть больше брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей,— герцогиня в кружевах,— тьфу! Не беспокойтесь, я сама полковница! Коли вы меня не пригласили на сговор, так и наплевать! Я и почище вас людей видывала. Я у графини Залихватской обедала; за меня обер-комиссар Курочкин сватался! Очень надо мне ваше приглашение, тьфу!

— Видите ли, Софья Петровна,— отвечала Марья Александровна, выходя из себя,— уверяю вас, что так не врываются в благородный дом и притом в *таком виде,* и если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры.

— Знаю-с, вы прикажете меня вывести своим людишкам! Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте, выдавайте замуж кого хотите, а вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной; мне наплевать на ваш шоколад! Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал; сейчас домой принесли, тьфу! А если вы, Фелисата Михайловна, не велите вашей босоногой Матрешке вовремя вашу корову загонять, чтоб она не мычала у меня каждый день под окошками, так я вашей Матрешке ноги переломаю. Прощайте, Марья Александровна, счастливо оставаться, тьфу!— Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Марья Александровна была в крайнем замешательстве.

— Я думаю, они выпили-с,— сладко произнесла Наталья Дмитриевна.

— Но только какая дерзость!

— Quelle abominable femme![2]

— Вот так уж насмешила!

---

[1] Буквально: для здоровья *(франц.)*

[2] Какая отвратительная женщина! *(франц.)*

— Ах, какие они неприличности говорили-с!

— Только что ж это она про сговор говорила? Какой же сговор?— насмешливо спрашивала Фелисата Михайловна.

— Но это ужасно!— разразилась наконец Марья Александровна.— Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи! Удивительно не то, Фелисата Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества,— нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят, их...

— Князь! князь!— закричали вдруг все гости.

— Ах, боже мой! ce cher prince!

— Ну, слава богу! мы теперь узнаем всю подноготную,— прошептала своей соседке Фелисата Михайловна.

Глава XIII

Князь вошел и сладостно улыбнулся. Вся тревога, которую четверть часа назад Мозгляков заронил в его куриное сердце, исчезла при виде дам. Он тотчас же растаял, как конфетка. Дамы встретили его с визгливым криком радости. Вообще говоря, дамы всегда ласкали нашего старичка и были с ним чрезвычайно фамильярны. Он имел способность забавлять их своею особою до невероятности. Фелисата Михайловна даже утверждала утром (конечно, несерьезно), что она готова сесть к нему на колени, если это ему будет приятно,—«потому что он милый-милый старичок, милый до бесконечности!» Марья Александровна впилась в него своими глазами, желая хоть что-нибудь прочесть на его лице и предугадать выход из своего критического положения. Ясно было, что Мозгляков нагадил ужасно и что все дело ее сильно колеблется. Но ничего нельзя было прочесть на лице князя. Он был такой же, как и давеча, как и всегда.

— Ах, боже мой! вот и князь! а мы вас ждали, ждали,— закричали некоторые из дам.

— С нетерпеньем, князь, с нетерпеньем! — пропищали другие.

— Мне это чрезвычайно лест-но,— шепелявил князь, подсаживаясь к столу, на котором кипел самовар. Дамы тотчас же окружили его. Возле Марьи Александровны остались только Анна Николаевна да Наталья Дмитриевна. Афанасий Матвеич почтительно улыбался. Мозгляков тоже улыбался и с вызывающим видом глядел на Зину, которая, не обращая на него ни малейшего внимания, подошла к отцу и села возле него на кресла, близ камина.

— Ах, князь, правду ли говорят, что вы от нас уезжаете?— пропищала Фелисата Михайловна.

— Ну да, mesdames, уезжаю. Я не-мед-ленно хочу ехать за гра-ни-цу.

— За границу, князь, за границу!— вскричали все хором.— Да что это вам вздумалось?

— За гра-ни-цу,— подтвердил князь, охорашиваясь,— и, знаете, я особенно хочу туда ехать для но-вых идей.

— Как это для новых идей? Это об чем же?— говорили дамы, переглядываясь одна с другой.

— Ну да, для новых идей,— повторил князь, с видом глубочайшего убеждения.— Все теперь едут для новых и-дей. Вот и я хочу получить но-вы-е и-деи.

— Да уж не в масонскую ли ложу вы хотите поступить, любезнейший дядюшка? — включил Мозгляков, очевидно желая порисоваться перед дамами своим остроумием и развязностью.

— Ну да, мой друг, ты не ошибся,— неожиданно отвечал дядюшка.— Я, дейст-ви-тельно, в старину к одной масонской ложе за границей при-над-лежал и даже имел, в свою очередь, очень много великодушных идей. Я даже собирался тогда много сделать для сов-ре-мен-ного прос-вещения и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю от-пус-тить. Но он, к удивлению моему, сам бежал от меня. Чрезвычайно странный был че-ло-век. Потом вдруг встречаю его в Па-ри-же, франтом таким, в бакенах, идет по буль-вару с мамзелью. Поглядел на меня, кивнул го-ло-вой. И мамзель с ним такая бойкая, востроглазая, такая за-манчивая...

— Ну, дядюшка! Да вы, после этого, всех крестьян отпустите на волю, коли этот раз за границу поедете,— вскричал Мозгляков, хохоча во все горло.

— Ты совершенно уга-дал мои желания, мой милый,— отвечал князь без запинки.— Я именно хочу их отпустить всех на во-лю.

— Да помилуйте, князь, ведь они тотчас же убегут от вас, и тогда кто вам будет оброк платить?— вскричала Фелисата Михайловна.

— Конечно, все разбегутся,— тревожно отозвалась Анна Николаевна.

— Ах, боже мой! Не-уже-ли они и в самом деле убегут?— вскричал князь с удивлением.

— Убегут-с, тотчас же все убегут-с и вас одного и оставят-с,— подтвердила Наталья Дмитриевна.

— Ах, боже мой! Ну так я их не от-пу-щу на волю. Впрочем, ведь это я только так.

— Эдак-то лучше, дядюшка,— скрепил Мозгляков.

До сих пор Марья Александровна слушала молча и наблюдала. Ей показалось, что князь совершенно о ней позабыл и что это вовсе не натурально.

— Позвольте, князь,— начала она громко и с достоинством,— вам отрекомендовать моего мужа, Афанасия Матвеича. Он нарочно приехал из деревни, как только услышал, что вы остановились в моем доме.

Афанасий Матвеич улыбнулся и приосанился. Ему показалось, что его похвалили.

— Ах, я очень рад,— сказал князь,— А-фа-насий Матвеич! Позвольте, я что-то при-по-минаю. А-фа-насий Мат-ве-ич. Ну да, это тот, который в деревне. Charmant, charmant, очень рад. Друг мой!— вскричал князь, обращаясь к Мозглякову,— да ведь это тот самый, помнишь, давеча еще в рифму выхо-дило. Как бишь это? Муж в дверь, а жена... ну да, в какой-то город и жена тоже по-е-хала...

— Ах, князь, да это, верно, «Муж в дверь, а жена в Тверь», тот самый водевиль, который у нас прошлого года актеры играли,— подхватила Фелисата Михайловна.

— Ну да, именно в Тверь; я все за-бы-ваю. Charmant, charmant! Так это вы тот самый и есть? Чрезвычайно рад с вами позна-ко-миться,— говорил князь, не вставая с кресел и протягивая руку улыбающемуся Афанасию Матвеичу.— Ну, как ваше здоровье?

— Гм...

— Он здоров, князь, здоров,— торопливо ответила Марья Александровна.

— Ну да, это и видно, что он здо-ров. И вы все в де-ревне? Ну, я очень рад. Да какой он крас-но-щекий, и все смеется...

Афанасий Матвеич улыбался, кланялся и даже расшаркивался. Но при последнем замечании князя не утерпел и вдруг, ни с того ни с сего, самым глупейшим образом прыснул от смеха. Все захохотали. Дамы визжали от удовольствия. Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на Марью Александровну, которая, в свою очередь, разрывалась от злости. Пора было переменить разговор.

— Как вы почивали, князь?— спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным взглядом давая знать Афанасию Матвеичу, чтоб он немедленно убирался на свое место.

— Ах, я очень хорошо спал,— отозвался князь,— и, знаете, видел один очарова-тельный сон, о-ча-ро-ва-тель-ный сон!

— Сон! Я ужасно люблю, когда рассказывают про сны,— вскричала Фелисата Михайловна.

— И я тоже-с, люблю-с очень-с!— прибавила Наталья Дмитриевна.

— О-ча-ро-вательный сон,— повторял князь с сладкой улыбкой,— но зато этот сон вели-чайший секрет!

— Как, князь, неужели и рассказывать нельзя? Да это, должно быть, удивительный какой-нибудь сон?— заметила Анна Николаевна.

— Ве-ли-чайший секрет,— повторял князь, с наслаждением подзадоривая любопытство дам.

— Так это, должно быть, ужасно интересно! — кричали дамы.

— Бьюсь об заклад, что князь стоял во сне перед какой-нибудь красавицей на коленях и объяснялся в любви!— вскричала Фелисата Михайловна.— Ну, признайтесь, князь, что это правда! Миленький князь, признайтесь!

— Признайтесь, князь, признайтесь!— подхватили со всех сторон.

Князь торжественно и с упоением внимал всем этим крикам. Предложения дам чрезвычайно льстили его самолюбию, так что он чуть-чуть не облизывался.

— Хотя я и сказал, что мой сон — величайший секрет,— отвечал он наконец,— но я принужден сознаться, что вы, сударыня, к удивлению моему, почти совершенно его от-га-дали.

— Отгадала!— с восторгом вскричала Фелисата Михайловна.— Ну, князь! Теперь, как хотите, а вы должны нам открыть, кто такая ваша красавица?

— Непременно откройте!

— Здешняя иль нет?

— Миленький князь, откройте!

— Душенька князь, откройте! хоть умрите, да откройте!— кричали со всех сторон.

— Mesdames, mesdames!.. если вы уж хотите так на-сто-я-тельно знать, то я только одно могу вам открыть, что это — самая о-ча-ро-вательная и, можно сказать, самая не-по-рочная девица из всех, которых я знаю,— промямлил совершенно растаявший князь.

— Самая очаровательная! и... здешняя! кто ж бы это?— спрашивали дамы, значительно переглядываясь и перемигиваясь одна с другой.

— Разумеется, те-с, которые здесь первые красавицы считаются-с,— проговорила Наталья Дмитриевна, потирая свои красные ручищи и посматривая своими кошачьими глазами на Зину. Вместе с нею и все посмотрели на Зину.

— Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему ж бы вам наяву не жениться?— спросила Фелисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом.

— А как бы мы славно женили вас!— подхватила другая дама.

— Миленький князь, женитесь!— пропищала третья.

— Женитесь, женитесь!— закричали со всех сторон.— Почему ж не жениться?

— Ну да... почему ж не жениться?— поддакивал князь, сбитый с толку всеми этими криками.

— Дядюшка!— вскричал Мозгляков.

— Ну да, мой друг, я тебя по-ни-маю! Я именно хотел вам сказать, mesdames, что я уже не в состоянии более жениться, и, проведя очарова-тельный вечер у нашей прелестной хозяйки, я завтра же отправляюсь к иеромонаху Мисаилу в пустынь, а потом уже прямо за границу, чтобы удобнее следить за евро-пейским про-све-щением.

Зина побледнела и с невыразимою тоскою посмотрела на мать свою. Но Марья Александровна уже решилась. До сих пор она только выжидала, испытывала, хотя и понимала, что дело слишком испорчено и что враги ее слишком обогнали ее на дороге. Наконец она поняла все и одним разом, одним ударом решилась сокрушить стоглавую гидру. С величием встала она с кресел и твердыми шагами приблизилась к столу, гордым взглядом измеряя пигмеев врагов своих. Огонь вдохновения блистал в этом взгляде. Она решилась поразить, сбить с толку всех этих ядовитых сплетниц, раздавить негодяя Мозглякова как таракана и одним решительным, смелым ударом завоевать вновь все свое потерянное влияние над идиотом князем. Разумеется, требовалась дерзость необыкновенная; но за дерзостью не в карман было ходить Марье Александровне!

— Mesdames,— начала она торжественно и с достоинством (Марья Александровна вообще чрезвычайно любила торжественность),— mesdames, я долго прислушивалась к вашему разговору, к вашим веселым и остроумным шуткам и нахожу, что пора мне сказать свое слово. Вы знаете, мы собрались здесь все вместе — совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)... Никогда бы я, первая, не решилась высказать важную семейную тайну и разгласить ее прежде, чем требует самое обыкновенное чувство приличия. В особенности прошу извинения у моего милого гостя; но мне показалось, что он сам, отдаленными намеками на то же самое обстоятельство, подает мне мысль, что ему не только не будет неприятно формальное и торжественное объявление нашей семейной тайны, но что даже он желает этого разглашения. Не правда ли, князь, я не ошиблась?

— Ну да, вы не ошиблись... и я очень, очень рад...— проговорил князь, совершенно не понимая, о чем идет дело.

Марья Александровна, для большего эффекта, остановилась перевести дух и оглядела все общество. Все гостьи с алчным и беспокойным любопытством вслушивались в слова ее. Мозгляков вздрогнул; Зина покраснела и привстала с кресел; Афанасий Матвеич в ожидании чего-то необыкновенного на всякий случай высморкался.

— Да, mesdames, я с радостию готова поверить вам мою семейную тайну. Сегодня после обеда князь, увлеченный красотою и... достоинствами моей дочери, сделал ей честь своим предложением. Князь!— заключила она дрожащим от слез и от волнения голосом,— милый князь, вы не должны, вы не можете сердиться на меня за мою нескромность! Только чрезвычайная семейная радость могла преждевременно вырвать из моего сердца эту милую тайну, и... какая мать может обвинить меня в этом случае?

Не нахожу слов, чтоб изобразить эффект, произведенный неожиданною выходкой Марьи Александровны. Все как будто оцепенели от изумления. Вероломные гостьи, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думавшие убить её преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними намеками, были ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бесстрашная откровенность обозначала в себе силу. «Стало быть, князь действительно, своею собственною волею, женится на Зине? Стало быть, не завлекали его, не опаивали, не обманывали? Стало быть, не потаенным, не воровским образом его заставляют жениться? Стало быть, Марья Александровна никого не боится? Стало быть, нельзя уже разбить эту свадьбу, коли князь не по принуждению женится?» Послышался мгновенный шепот, превратившийся вдруг в визгливые крики радости. Первая бросилась обнимать Марью Александровну Наталья Дмитриевна; за ней Анна Николаевна, за этой Фелисата Михайловна. Все вскочили с своих мест, все перемешались. Многие из дам были бледны от злости. Стали поздравлять сконфуженную Зину; уцепились даже за Афанасия Матвеича. Марья Александровна живописно простерла руки и, почти насильно, заключила свою дочь в объятия. Один князь смотрел на всю эту сцену с каким-то странным удивлением, хотя и улыбался по-прежнему. Впрочем, сцена ему отчасти понравилась. При объятиях матери с дочерью он вынул платок и утер свой глаз, на котором показалась слезинка. Разумеется, бросились и к нему с поздравлениями.

— Поздравляем, князь! поздравляем!— кричали со всех сторон.

— Так вы женитесь?

— Так вы действительно женитесь?

— Миленький князь, так вы женитесь?

— Ну да, ну да,— отвечал князь, чрезвычайно довольный поздравлениями и восторгами,— и, признаюсь вам, что мне всего

более нравится ваше милое учас-тие ко мне, которое я никог-да не забуду, ни-когда не забуду. Charmant! charmant! вы даже прос-ле-зили меня...

— Поцелуйте меня, князь!— громче всех кричала Фелисата Михайловна.

— И, признаюсь вам,— продолжал князь, прерываемый со всех сторон,— я наиболее удивляюсь тому, что Марья Ивано-вна, наша почтен-ная хозяйка, с такою не-обык-но-вен-ною проницательностью угадала мой сон. Точно как будто она вместо меня его ви-дела. Необыкновенная проницательность! Не-о-бык-новенная проницательность!

— Ах, князь, вы опять за сон?

— Да уж признайтесь, князь, признайтесь!— кричали все, обступив его.

— Да, князь, скрываться нечего, пора обнаружить эту тайну,— решительно и строго сказала Марья Александровна.— Я поняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которою вы старались мне намекнуть о желании вашем огласить ваше сватовство. Да, mesdames, это правда: сегодня князь стоял на коленях перед моею дочерью и наяву, а не во сне, сделал ей торжественное предложение.

— Совершенно как будто наяву и даже с теми самыми обсто-я-тельствами,— подтвердил князь.— Мадмуазель,— продолжал он, с необыкновенною вежливостью обращаясь к Зине, которая все еще не пришла в себя от изумления,— мадмуазель! Клянусь, что никогда бы я не осмелился произнести ваше имя, если б другие раньше меня не про-из-нес-ли его. Это был очарова-тельный сон, оча-ро-вательный сон, и я вдвойне счастлив, что мне позволено вам теперь это выс-ка-зать. Charmant! charmant!..

— Но, помилуйте, как же это? Ведь он все говорит про сон,— прошептала Анна Николаевна встревоженной и слегка побледневшей Марье Александровне. Увы! У Марьи Александровны, и без этих предостережений, давно уже ныло и трепетало сердце.

— Как же это?— шептали дамы, переглядываясь одна с другой.

— Помилуйте, князь,— начала Марья Александровна с болезненно искривившеюся улыбкою,— уверяю вас, что вы меня удивляете. Что за странная у вас идея про сон? Признаюсь вам, я думала до сих пор, что вы шутите, но... Если это шутка, то это довольно неуместная шутка... Я хочу, я желаю приписать это вашей рассеянности, но...

— В самом деле, это, может быть, у них от рассеянности-с,— прошипела Наталья Дмитриевна.

— Ну да... может быть, это и от рассеян-ности,— подтвердил князь, все еще не совсем понимая, чего от него добиваются.— И вообразите, я вам расскажу сейчас один а-нек-дот. Зовут меня, в Петербурге, на по-хо-роны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais honnête [1], а я и смешал, что на именины. Именины-то еще на прошлой неде-ле прош-ли. Букет из камелий име-ниннице приготовил. Вхожу, и что ж вижу? Человек почтенный, солидный — лежит на столе, так, что я уди-вился. Я просто не знал, куда деваться с бу-кетом.

— Но, князь, дело не в анекдотах! — с досадою перебила Марья Александровна.— Конечно, моей дочери нечего гнаться за женихами, но давеча вы сами здесь, у этого рояля, сделали ей предложение. Я не вызывала вас на это... Это меня, можно сказать, фраппировало... Разумеется, у меня мелькнула только одна мысль, и я отложила это все до вашего пробуждения. Но я — мать; она — дочь моя... Вы сами говорили сейчас о каком-то сне, и я думала, вы, под видом аллегории, хотите рассказать о вашей помолвке. Я очень хорошо знаю, что вас, может быть, сбивают... я даже подозреваю, кто именно... но... объяснитесь, князь, объяснитесь скорее, удовлетворительнее. Так нельзя шутить с благородным домом...

— Ну да, так нельзя шутить с благородным домом,— поддакнул князь бессознательно, но уже начиная понемногу беспокоиться.

— Но это не ответ, князь, на мой вопрос. Я прошу вас отвечать положительно; подтвердите, сейчас же подтвердите здесь, при всех, что вы делали давеча предложение моей дочери.

— Ну да, я готов подтвердить. Впрочем, я все это уже рассказывал, и Фелисата Яковлевна совершенно угадала мой сон.

— Не сон! не сон!— закричала в ярости Марья Александровна,— не сон, а это было наяву, князь, наяву, слышите ли, наяву!

— Наяву!— вскричал князь, в удивлении подымаясь с кресел.— Ну, друг мой! как ты давеча напророчил, так и вышло!— прибавил он, обращаясь к Мозглякову.— Но уверяю вас, почтенная Марья Степановна, что вы заблуждаетесь! Я совершенно уверен, что я это видел только во сне!

— Господи помилуй!— вскрикнула Марья Александровна.

— Не убивайтесь, Марья Александровна,— вступилась Наталья Дмитриевна.— Князь, может быть, как-нибудь позабыли-с. Они вспомнят-с.

— Я удивляюсь вам, Наталья Дмитриевна,— с негодованием возразила Марья Александровна,— разве такие вещи забыва-

[1] мещанское, но порядочное семейство *(франц.)*

ются? разве это можно забывать? Помилуйте, князь! Вы смеетесь над нами иль нет? Или вы корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен регентства, которых изображает Дюма? какого-нибудь Ферлакура, Лозёна? Но, кроме того, что это вам не по летам, уверяю вас, что это вам не удастся! Моя дочь не французская виконтесса. Давеча здесь, вот здесь, она вам пела романс, и вы, увлеченные ее пеньем, опустились на колени и сделали ей предложение. Неужели я грежу? Неужели я сплю? Говорите, князь: сплю я иль нет?

— Ну да... а, впрочем, может быть, нет...— отвечал растерявшийся князь.— Я хочу сказать, что я теперь, кажется, не во сне. Я, видите ли, давеча был во сне, а потому видел сон, что во сне...

— Фу ты, боже мой, что это такое: не во сне — во сне, во сне — не во сне! да это черт знает что такое! Вы бредите, князь, или нет?

— Ну да, черт знает... впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился...— проговорил князь, вращая кругом беспокойные взгляды.

— Но как же вы могли видеть во сне,— убивалась Марья Александровна,— когда я, вам же, с такими подробностями, рассказываю ваш собственный сон, тогда как вы его еще никому из нас не рассказывали?

— Но, может быть, князь уж кому-нибудь и рассказывали-с,— проговорила Наталья Дмитриевна.

— Ну да, может быть, я кому-нибудь и рассказывал,— подтвердил совершенно потерявшийся князь.

— Вот комедия-то!— шепнула Фелисата Михайловна своей соседке.

— Ах ты, боже мой! да тут всякое терпенье лопнет!— кричала Марья Александровна, в исступлении ломая руки.— Она вам пела романс, романс пела! Неужели вы и это во сне видели?

— Ну да, и в самом деле как будто пела романс,— пробормотал князь в задумчивости, и вдруг какое-то воспоминание оживило лицо его.

— Друг мой!— вскричал он, обращаясь к Мозглякову.— Я и забыл тебе давеча сказать, что ведь и вправду был какой-то романс и в этом романсе были все какие-то замки, так что очень много было замков, а потом был какой-то трубадур! Ну да, я это все помню... так что я и заплакал... А теперь вот и затрудняюсь, точно это и в самом деле было, а не во сне...

— Признаюсь вам, дядюшка,— отвечал Мозгляков сколько можно спокойнее, хотя голос его и дрожал от какой-то тревоги,— признаюсь вам, мне кажется, все это очень легко уладить и согласить. Мне кажется, вы действительно слышали пение. Зи-

наида Афанасьевна поет прекрасно. После обеда вас отвели сюда, и Зинаида Афанасьевна вам спела романс. Меня тогда не было, но вы, вероятно, расчувствовались, вспомнили старину; может быть, вспомнили о той самой виконтессе, с которой вы сами когда-то пели романсы и о которой вы же сами нам утром рассказывали. Ну, а потом, когда легли спать, вам, вследствие приятных впечатлений, и приснилось, что вы влюблены и делаете предложение...

Марья Александровна была просто оглушена такою дерзостью.

— Ах, мой друг, ведь это и в самом деле так было,— закричал князь в восторге.— Именно вследствие приятных впечатлений! Я действительно помню, как мне пели романс, а я за это во сне и захотел жениться. И виконтесса тоже была... Ах, как ты умно это распутал, мой милый! Ну! я теперь совершенно уверен, что все это видел во сне! Марья Васильевна! Уверяю вас, что вы ошибаетесь! Это было во сне. Иначе я не стал бы играть вашими благородными чувствами...

— А! теперь я вижу ясно, кто тут нагадил!— закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь к Мозглякову.— Это вы, сударь, вы, бесчестный человек, вы все это наделали! вы взбаламутили этого несчастного идиота за то, что вам самим отказали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду! Заплатишь, заплатишь, заплатишь!

— Марья Александровна,— кричал Мозгляков, в свою очередь покраснев как рак,— ваши слова до такой степени... Я уж и не знаю, до какой степени ваши слова... Ни одна светская дама не позволит себе... я, по крайней мере, защищаю моего родственника. Согласитесь сами, так завлекать...

— Ну да, так завлекать...— поддакивал князь, стараясь спрятаться за Мозглякова.

— Афанасий Матвеич!— взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом.— Неужели вы не слышите, как нас срамят и бесчестят? Или вы уже совершенно избавили себя от всяких обязанностей? Или вы и в самом деле не отец семейства, а отвратительный деревянный столб? Что вы глазами-то хлопаете? Другой муж давно бы уже кровью смыл обиду своего семейства!..

— Жена!— с важностью начал Афанасий Матвеич, гордясь тем, что и в нем настала нужда,— жена! Да уж не видала ль ты и в самом деле все это во сне, а потом, как проспалась, так и перепутала все, по-свойски...

Но Афанасию Матвеичу не суждено было докончить свою остроумную догадку. До сих пор еще гостьи удерживались и коварно принимали на себя вид какой-то чинной солидности.

Но тут громкий залп самого неудержимого смеха огласил всю комнату. Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выцарапать ему глаза. Но ее удержали силою. Наталья Дмитриевна воспользовалась обстоятельствами и хоть капельку, да подлила еще яду.

— Ах, Марья Александровна, может быть, оно и в самом деле так было-с, а вы убиваетесь,— проговорила она самым медоточивым голосом.

— Как было? что такое было?— кричала Марья Александровна, не понимая еще хорошенько.

— Ах, Марья Александровна, ведь это иногда и бывает-с...

— Да что такое бывает? Жилы вы из меня, что ли, тянуть хотите?

— Может быть, вы и в самом деле видели это во сне-с.

— Во сне? я? во сне? И вы смеете мне это говорить прямо в глаза?

— Что ж, может быть, и в самом деле так было,— отозвалась Фелисата Михайловна.

— Ну да, может быть, и в самом деле так было,— пробормотал тоже князь.

— И он, и он туда же! Господи боже мой!— вскричала Марья Александровна, всплеснув руками.

— Как вы убиваетесь, Марья Александровна! Вспомните-с, что сны ниспосылаются богом-с. Уж коли бог захочет-с, так уж никто как бог-с, и на всем его святая воля-с лежит-с. Сердиться тут уж нечего-с.

— Ну да, сердиться нечего,— поддакивал князь.

— Да вы меня за сумасшедшую принимаете, что ли?— едва проговорила Марья Александровна, задыхаясь от злости. Это уже было свыше сил человеческих. Она поспешила отыскать стул и упала в обморок. Поднялась суматоха.

— Это они из приличия-с в обморок упали-с,— шепнула Наталья Дмитриевна Анне Николаевне.

Но в эту минуту, в минуту высочайшего недоумения публики и напряжения всей этой сцены, вдруг выступило одно, безмолвное доселе, лицо — и вся сцена немедленно изменилась в своем характере...

Глава XIV

Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась «этого дурака» Шекспира с «своим учителишкой», но никогда, во всю мордасовскую жизнь свою, Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романической или, лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать.

Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза.

— Маменька! — сказала Зина.— К чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что, право, не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь!

— Зина! Зина! что с тобою? опомнись!— вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив с своих кресел...

— Я вам сказала, я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора,— продолжала Зина.— Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? Но знайте, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я, я своим согласием дала ход этой гадкой... интриге! Вы — мать; вы меня любите; вы думали по-своему, по своим понятиям, устроить мое счастье. Вас еще можно простить; но меня, меня — никогда!

— Зина, неужели ты хочешь рассказывать?.. О боже! я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца!

— Да, маменька, все расскажу! Я опозорена, вы... мы все опозорены!..

— Ты преувеличиваешь, Зина! ты вне себя и не помнишь, что говоришь! и к чему же рассказывать? Тут смысла нет... Стыд не на нас... Я докажу сейчас, что стыд не на нас...

— Нет, маменька,— вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе,— я не хочу более молчать перед этими людьми, мнение которых презираю и которые приехали смеяться над нами! Я не хочу сносить от них обид; ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы сейчас же сделать в тридцать раз хуже, чем я или вы! Смеют ли, могут ли они быть нашими судьями?..

— Вот прекрасно! Вот как заговорила! Это что же! Это нас обижают!— послышалось со всех сторон.

— Да они и впрямь сами не понимают, что говорят-с,— проговорила Наталья Дмитриевна.

Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такою огласкою, с такими

признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопилась. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Все бы могло быть исправлено! Все бы могло быть улажено! Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своею поспешностию и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом старикашкой, да и выгнать его вон! Но Зина, как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю.

— Князь,— сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула,— так поразила она его в эту минуту.— Князь! простите меня, простите нас! мы обманули, мы завлекли вас...

— Да замолчишь ли ты, несчастная!— в исступлении вскричала Марья Александровна.

— Сударыня! сударыня! ma charmante enfant...[1]— бормотал пораженный князь.

Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний.

— Да, мы обманули вас обе, князь: маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас — слабого, беззащитного, *облапошили*, как выразился Павел Александрович, облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества. Все это было ужасно низко, и я каюсь в этом. Но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не из низкого побуждения. Я хотела... Но что я! двойная низость оправдывать себя в таком деле! Но объявляю вам, князь, что я, если б и взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плясуньей, рабой... я поклялась и свято бы сдержала клятву мою!..

Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гостьи как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина.

— Но я женюсь на вас, ma belle enfant[2], если уж вы так хо-ти-те,— бормотал он,— и это для меня будет боль-шая честь! Только уверяю вас, что это был действи-тельно как будто бы сон... Ну, мало ли что я увижу во сне? К чему же так бес-по-коиться? Я даже как будто ничего и не понял, mon ami,— продолжал

[1] милое дитя *(франц.)*
[2] прелестное дитя *(франц.)*

он, обращаясь к Мозглякову,— объясни мне хоть ты, пожа-луй-ста...

— А вы, Павел Александрович,— подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову,— вы, на которого я одно время решилась было смотреть, как на моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили,— неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня! Но не мне читать вам нравоучения! Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетения! Я вас никогда не любила, и если решалась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада... Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой... Вы жестоко отомстили мне, и, если это льстит вашей гордости...

— Зинаида Афанасьевна!— вскричал Мозгляков.

— Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть...

— Зинаида Афанасьевна!!

— Если когда-нибудь,— продолжала Зина, давя в себе слезы,— если когда-нибудь вы любили меня...

— Зинаида Афанасьевна!!!

— Зина, Зина! дочь моя!— вопила Марья Александровна.

— Я подлец, Зинаида Афанасьевна, я подлец и больше ничего!— скрепил Мозгляков, и все пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу...

Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающих наконец взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта,— близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до исступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но, дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себя испугается, останавливается, как ошеломленный, с ужасным вопросом: «Что это я такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее!.. Почти то же самое случилось теперь с Мозгляковым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе; насытив свое негодование и самолюбие и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью, перед неожиданной

выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты.

— Я — осел, Зинаида Афанасьевна!— вскричал он в порыве исступленного раскаяния.— Нет! что осел? Осел еще ничего! Я несравненно хуже осла! Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком!.. Дядюшка! я обманул вас! Я, я обманул вас! Вы не спали; вы действительно, наяву, делали предложение, а я, я, подлец, из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне.

— Удивительно любопытные вещи-с открываются-с,— прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне.

— Друг мой,— отвечал князь,— ус-по-койся, по-жа-луйста; ты меня, право, испугал своим кри-ком. Уверяю тебя, что ты о-ши-ба-ешься... Я, пожалуй, готов жениться, если уж так на-до; но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне...

— О, как уверить мне вас! Научите меня, как мне уверить его теперь! Дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело! Сообразите! подумайте!

— Друг мой, изволь, я по-ду-маю. Постой, дай же мне вспомнить все по поряд-ку. Сначала я видел кучера Фе-о-фи-ла...

— Э! не до Феофила теперь, дядюшка!

— Ну да, положим, что теперь не до не-го. Потом был Напо-ле-он, а потом как будто мы чай пили и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела...

— Но, дядюшка,— брякнул Мозгляков в затмении ума своего,— ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь я тут же был, я сам это слышал! Я спрятался и смотрел на вас в дырочку...

— Как, Марья Александровна,— подхватила Наталья Дмитриевна,— так вы уж и князю рассказывали-с, что я у вас сахар украла из сахарницы! Так я к вам сахар воровать езжу-с!

— Прочь от меня!— закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния.

— Нет, не прочь, Марья Александровна, вы этак не смеете говорить-с, а стало быть, я у вас сахар краду-с? Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаете-с. Мне Софья Петровна подробно рассказывала-с... Так я у вас сахар краду-с?

— Но, mesdames,— закричал князь,— ведь это было только во сне! Ну, мало ли что я вижу во сне?..

— Кадушка проклятая,— пробормотала вполголоса Марья Александровна.

— Как, я и кадушка-с!— взвизгнула Наталья Дмитриевна.— А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зовете-с! У меня, по крайней мере, муж у меня-с, а у вас-то дурак-с...

— Ну да, я помню, была и ка-ду-шка,— пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной.

— Как, и вы туда же дворянку бранить-с? Как вы смеете, князь, дворянку бранить-с? Коли я кадушка, так вы безногие-с...

— Кто, я безногий?

— Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!

— Да еще и одноглазый!— закричала Марья Александровна.

— У вас корсет вместо ребер-с!— прибавила Наталья Дмитриевна.

— Лицо на пружинах!

— Волос своих нет-с!..

— И усишки-то, у дурака, накладные,— скрепила Марья Александровна.

— Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий!— вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями.— Друг мой! Это ты меня продал! Это ты рассказал, что волосы у меня нак-лад-ные...

— Дядюшка!

— Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оставаться! Уведи ты меня куда-нибудь... quelle société! [1] Куда это ты завел меня, бо-же мой?

— Идиот! подлец!— кричала Марья Александровна.

— Боже ты мой!— говорил бедный князь.— Я вот только не-много за-был, зачем я сюда приехал, но я сейчас вспом-ню. Уведи ты меня, братец, куда-ни-будь, а то меня растерзают! Притом же... мне не-мед-ленно надо записать одну новую мысль...

— Пойдемте, дядюшка, еще не поздно; я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами...

— Ну да, в гос-ти-ницу. Adieu, ma charmante enfant... вы одна... вы только одна... доб-родетельны. Вы бла-го-род-ная девушка! Пойдем же, мой милый. О боже мой!

Но не стану описывать окончания неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась наконец одна, среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы! сила, слава, значение — все исчезло в один этот вечер! Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь?— философствовать? Но она

---

[1] какое общество! *(франц.)*

не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена, сплетни пойдут бесконечные! Ужас!

Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеичу, который забился наконец куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило наконец и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда никогда одна не приходит...

Глава XV

Если судьба обрушится раз на кого бедою, то ударам ее и конца не бывает. Это давно замечено. Мало было одного вчерашнего позора и срама для Марьи Александровны! Нет! судьба ей готовила побольше и получше.

Еще до десяти часов утра по всему городу вдруг распространился один странный и почти невероятный слух, встреченный всеми с самою злобною и ожесточенною радостью,— как и обыкновенно встречаем мы все всякий необыкновенный скандал, случившийся с кем-нибудь из наших ближних. «До такой степени потерять стыд и совесть!— кричали со всех сторон,— до такой степени унизиться, пренебречь все приличия, до такой степени распустить все узы!» и проч. и проч. Вот что, однако же, случилось. Рано утром, чуть ли еще не в седьмом часу, одна бедная, жалкая старуха, в отчаянии и в слезах, прибежала в дом Марьи Александровны и умоляла горничную как можно скорее разбудить барышню, одну только барышню, потихоньку, чтоб как-нибудь не узнала Марья Александровна. Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживет. Старуха говорила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. Зина тотчас же решилась идти, несмотря на то что исполнение такой просьбы явно бы подтвердило все прежние озлобленные слухи о перехваченной записке, о скандалезном ее поведении и проч. Не сказавшись матери, она накинула на себя салоп и тотчас же побежала со старухой через весь город, в одну из самых бедных слободок Мордасова, в самую глухую улицу, где стоял один ветхий, покривившийся и вросший в землю домишка, с какими-то щелочками вместо окон и обнесенный сугробами снегу со всех сторон.

В этом домишке, в маленькой, низкой и затхлой комнатке,

в которой огромная печь занимала ровно половину всего пространства, на дощатой, некрашеной кровати, на тонком, как блин, тюфяке, лежал молодой человек, покрытый старой шинелью. Лицо его было бледное и изможденное, глаза блистали болезненным огнем, руки были тонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно было, что когда-то он был хорош собою; но болезнь исказила тонкие черты его красивого лица, на которое страшно и жалко было взглянуть, как на лицо всякого чахоточного или, вернее сказать, умирающего. Его старуха мать, которая целый год, чуть ли не до последнего часу, ждала воскресения своего Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. Она стояла теперь над ним, убитая горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагляделась и все-таки не могла понять, хоть и знала это, что чрез несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там, под сугробами снегу, на бедном кладбище. Но Вася не на нее смотрел в эту минуту. Все лицо его, исхудалое и страдальческое, дышало теперь блаженством. Он видел наконец перед собою ту, которая снилась ему целые полтора года, и наяву и во сне, в продолжение долгих тяжелых ночей его болезни. Он понял, что она простила его, явясь к нему как ангел божий в предсмертный час. Она сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами, и — и все прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. Жизнь загорелась снова в его сердце и, казалось, оставляя его, хотела дать почувствовать страдальцу, как тяжело расставаться с нею.

— Зина,— говорил он,— Зиночка! Не плачь надо мной, не тужи, не тоскуй, не напоминай мне, что я скоро умру. Я буду смотреть на тебя,— вот так, как теперь смотрю,— буду чувствовать, что наши души опять вместе, что ты простила меня, буду опять целовать твои руки, как прежде, и умру, может быть не приметив смерти! Похудела ты, Зиночка! Ангел ты мой, с какой добротой ты на меня смотришь! А помнишь, как ты прежде смеялась? помнишь... Ах, Зина, я не прошу у тебя прощения, я и поминать не хочу о том, что было,— потому, Зиночка, потому, что хоть ты, может быть, и простила меня, но я сам никогда себе не прощу. Были долгие ночи, Зина, бессонные, ужасные ночи, и в эти ночи, вот на этой самой кровати, я лежал и думал, долго, много передумал, и давно уже решил, что мне лучше умереть, ей-богу, лучше!.. Я не годился жить, Зиночка!

Зина плакала и безмолвно сжимала его руки, как будто хотела этим остановить его.

— Что ты плачешь, мой ангел?— продолжал больной.— О том, что я умираю, об этом только? Но ведь все прочее давно уже умерло, давно схоронено! Ты умнее меня, ты чище сердцем

и потому давно знаешь, что я дурной человек. Разве ты можешь еще любить меня? И чего мне стоило перенесть эту мысль, что ты знаешь, что я дурной и пустой человек! А самолюбия-то сколько тут было, может быть и благородного... не знаю! Ах, друг мой, вся моя жизнь была мечта. Я все мечтал, всегда мечтал, а не жил, гордился, толпу презирал, а чем я гордился перед людьми? и сам не знаю. Чистотой сердца, благородством чувств? Но ведь все это было в мечтах, Зина, когда мы читали Шекспира, а как дошло до дела, я и выказал мою чистоту и благородство чувств...

— Полно,— говорила Зина,— полно!.. все это не так, напрасно... ты убиваешь себя!

— Что ты останавливаешь меня, Зина! Знаю, ты простила меня, и давно, может быть, простила; но ты судила меня и поняла — кто я таков; вот это-то меня мучит. Недостоин я твоей любви, Зина! Ты и на деле была честная и великодушная: ты пошла к матери и сказала, что выйдешь за меня и ни за кого другого, и сдержала бы слово, потому что у тебя слово не рознилось с делом. А я, я! Когда дошло до дела... Знаешь ли, Зиночка, что ведь я даже не понимал тогда, чем ты жертвуешь, выходя за меня! Я не мог даже того понять, что, выйдя за меня, ты, может быть, умерла бы с голоду. Куда, и мысли не было! Я ведь думал только, что ты выходишь за меня, за великого поэта (за будущего то есть), не хотел понимать тех причин, которые ты выставляла, прося повременить свадьбой, мучил тебя, тиранил, упрекал, презирал, и дошло наконец до угрозы моей тебе этой запиской. Я даже и не подлец был в ту минуту. Я просто был дрянь человек! О, как ты должна была презирать меня! Нет, хорошо, что я умираю! Хорошо, что ты за меня не вышла! Ничего бы я не понял из твоего пожертвования, мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года,— куда!— может быть, и возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. А теперь лучше! Теперь, по крайней мере, горькие слезы мои очистили во мне сердце. Ах! Зиночка! Люби меня хоть немножко, так, как прежде любила! Хоть в этот последний час... Я ведь знаю, что я недостоин любви твоей, но... но... о ангел ты мой!

Во всю эту речь Зина, рыдая сама, несколько раз его останавливала. Но он не слушал ее; его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым, удушливым голосом.

— Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить!— сказала Зина.— Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе!

— Нет, друг мой, нет, не укоряй себя в том, что я умираю,— продолжал больной.— Во всем я один виноват! Самолюбия-то

сколько тут было! романтизма! Рассказывали ль тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видишь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец; но когда пришлось к наказанию, он оказался малодушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нем табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему легкие. Его перенесли в больницу, и через несколько месяцев он умер в злой чахотке. Ну вот, ангел мой, я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день... ну, знаешь, после записки-то... и решился так же погубить себя. Но как бы ты думала, почему я выбрал чахотку? почему я не удавился, не утопился? побоялся скорой смерти? Может быть, и так, но все мне как-то мерещится, Зиночка, что и тут не обошлось без сладких романтических глупостей! Все-таки у меня была тогда мысль: как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки; сама придешь ко мне с повинною, упадешь предо мной на колени... Я прощаю тебя, умирая на руках твоих... Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

— Не поминай об этом!— сказала Зина,— не говори этого! ты не такой... будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом!

— Горько мне, друг мой, оттого и говорю. Полтора года я тебя не видал! Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложил! Ведь все то время, с тех пор, я был один-одинешенек, и, кажется, минуты не было, чтоб не думал я о тебе, ангел мой ненаглядный! И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заставить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру: ведь меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. И сколько смешных у меня было предположений! Мечтал я, например, сделаться вдруг каким-нибудь величайшим поэтом, напечатать в «Отечественных записках» такую поэму, какой и не бывало еще на свете. Думал в ней излить все мои чувства, всю мою душу, так, что где бы ты ни была, я все бы был с тобой, беспрерывно бы напоминал о себе моими стихами, и самая лучшая мечта моя была та, что ты задумаешься наконец и скажешь: «Нет! он не такой дурной человек, как я думала!» Глупо, Зиночка, глупо, не правда ли?

— Нет, нет, Вася, нет!— говорила Зина.

Она припала к нему на грудь и целовала его руки.

— А как я ревновал тебя все это время! Мне кажется, я бы умер, если б услышал о твоей свадьбе! Я подсылал к тебе, караулил, шпионил... вот она все ходила (и он кивнул на мать).— Ведь ты не любила Мозглякова, не правда ли, Зиночка? О ангел

мой? Вспомнишь ли ты обо мне, когда я умру? Знаю, что вспомнишь; но пройдут годы, сердце остынет, настанет холод, зима на душе, и забудешь ты меня, Зиночка!..

— Нет, нет, никогда! Я не выйду и замуж!.. ты мой первый... всегдашний...

— Все умирает, Зиночка, все, даже и воспоминания!.. И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает благоразумие. Что ж и роптать! Пользуйся жизнию, Зина, живи долго, живи счастливо. Полюби и другого, коль полюбится,— не мертвеца же любить! Только вспомни обо мне, хоть изредка; худого не вспоминай, прости худое; но ведь было же и в нашей любви хорошее, Зиночка! О, золотые, невозвратные дни... Послушай, мой ангел, я всегда любил вечерний закатный час. Вспомни обо мне когда-нибудь в этот час! О нет, нет! Зачем умирать? О, как бы я хотел теперь вновь ожить! Вспомни, друг мой, вспомни то время! Тогда была весна, солнце так ярко светило, цвели цветы, праздник был какой-то кругом нас... А теперь! Посмотри, посмотри!

И бедный указал иссохшею рукою на замерзлое, тусклое окно. Потом схватил руки Зины, прижал их к глазам своим и горько-горько зарыдал. Рыдания почти разрывали истерзанную грудь его.

И весь день страдал он, тосковал и плакал. Зина утешала его как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда никого не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошел целый день. Между тем испуганная Марья Александровна раз десять посылала к Зине, молила ее воротиться домой и не губить себя окончательно в общем мнении. Наконец, когда уже стемнело, почти потеряв голову от ужаса, она решилась сама идти к Зине. Вызвав дочь в другую комнату, она, почти на коленях, умоляла ее «отстранить этот последний и главный кинжал от ее сердца». Зина вышла к ней больная: голова ее горела. Она слушала и не понимала свою маменьку. Марья Александровна ушла наконец в отчаянии, потому что Зина решилась ночевать в доме умирающего. Целую ночь не отходила она от его постели. Но больному становилось все хуже и хуже. Настал и еще день, но уже не было и надежды, что страдалец переживет его. Старуха мать была как безумная, ходила, как будто ничего не понимая, подавала сыну лекарства, которых он не хотел принимать. Агония его длилась долго. Он уже не мог говорить, и только бессвязные, хриплые звуки вырывались из его груди. До самой последней минуты он все смотрел на Зину, все искал ее глазами, и когда свет начал меркнуть в его глазах, он все еще блуждающею,

неверною рукою искал руку ее, чтоб сжать ее в своей. Между тем короткий зимний день проходил. И когда наконец последний, прощальный луч солнца позолотил замороженное единственное оконце маленькой комнаты, душа страдальца улетела вслед за этим лучом из изможденного тела. Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу.

— Это ты, змея подколодная, извела его!— закричала она в отчаянии Зине.— Ты, разлучница проклятая, ты, злодейка, его погубила!

Но Зина уже ничего не слыхала. Она стояла над мертвым как обезумевшая. Наконец наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и машинально вышла из комнаты. Глаза ее горели, голова кружилась. Мучительные ощущения, две почти бессонные ночи чуть-чуть не лишили ее рассудка. Она смутно чувствовала, что все ее прошедшее как бы оторвалось от ее сердца и началась новая жизнь, мрачная и угрожающая. Но не прошла она десяти шагов, как Мозгляков как будто вырос перед нею из-под земли; казалось, он нарочно поджидал на этом месте.

— Зинаида Афанасьевна,— начал он каким-то боязливым шепотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что еще было довольно светло,— Зинаида Афанасьевна, я, конечно, осел! То есть, если хотите, я уж теперь и не осел, потому что, видите ли, все-таки поступил благородно. Но все-таки я раскаиваюсь в том, что я был осел... Я, кажется, сбиваюсь, Зинаида Афанасьевна, но... вы извините, это от разных причин...

Зина почти бессознательно посмотрела на него и молча продолжала свою дорогу. Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторонилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее внизу, беспрерывно заглядывая ей в лицо.

— Зинаида Афанасьевна,— продолжал он,— я рассудил, и если вы сами захотите, то я согласен возобновить мое предложение. Я даже готов забыть все, Зинаида Афанасьевна, весь позор, и готов простить, но только с одним условием: покамест мы здесь, все останется в тайне. Вы уедете отсюда как можно скорее; я, потихоньку, вслед за вами; обвенчаемся где-нибудь в глуши, так что никто не увидит, а потом сейчас в Петербург, хотя бы и на перекладных, так, чтоб с вами был только маленький чемоданчик... а? Согласны, Зинаида Афанасьевна? Скажите поскорее! Мне нельзя дожидаться; нас могут увидеть вместе.

Зина не отвечала и только посмотрела на Мозглякова, но так посмотрела, что он тотчас же все понял, снял шляпу, раскланялся и исчез при первом повороте в переулок.

«Как же это?— подумал он.— Третьего дня еще вечером она так расчувствовалась и во всем себя обвиняла? Видно, день на день не приходит!»

А между тем в Мордасове происшествия шли за происшествиями. Случилось одно трагическое обстоятельство. Князь, перевезенный Мозгляковым в гостиницу, заболел в ту же ночь, и заболел опасно. Мордасовцы узнали об этом наутро. Каллист Станиславич почти не отходил от больного. К вечеру составился консилиум всех мордасовских медиков. Приглашения им посланы были по-латыни. Но, несмотря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, просил Каллиста Станиславича спеть ему какой-то романс, говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасовского гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге) в голову. Не отвергали и некоторого нравственного потрясения. Заключили же тем, что князь давно уже был предрасположен умереть, а потому непременно умрет. В последнем они не ошиблись, потому что бедный старичок на третий же день к вечеру помер в гостинице. Это поразило мордасовцев. Никто не ожидал такого серьезного оборота дела. Бросились толпами в гостиницу, где лежало мертвое тело, еще не убранное, судили, рядили, кивали головами и кончили тем, что резко осудили «убийц несчастного князя», подразумевая под этим, конечно, Марью Александровну с дочерью. Все почувствовали, что эта история, уже по одной своей скандалезности, может получить неприятную огласку, пойдет, пожалуй, еще в дальние страны, и — чего-чего не было переговорено и пересказано. Все это время Мозгляков суетился, кидался во все стороны, и наконец голова у него закружилась. В таком-то состоянии духа он и виделся с Зиной. Действительно, положение его было затруднительное. Сам он завез князя в город, сам перевез в гостиницу, а теперь не знал, что и делать с покойником, как и где хоронить, кому дать знать? везти ли тело в Духаново? К тому же он считался племянником. Он трепетал, чтоб не обвинили его в смерти почтенного старца. «Пожалуй, еще дело отзовется в Петербурге, в высшем обществе!»— думал он с содроганием. От мордасовцев нельзя было добиться никакого совета; все вдруг чего-то испугались, отхлынули от мертвого тела и оставили Мозглякова в каком-то мрачном уединении. Но вдруг вся сцена быстро переменилась. На другой день, рано утром, в город въехал один посетитель. Об этом посетителе мигом заговорил весь Мордасов, но заговорил как-то таинственно, шепотом, выглядывая на него из всех щелей и окон, когда он проехал по Большой улице к губернатору. Даже сам Петр Михайлович немного как будто бы струсил и не знал, как

быть с приезжим гостем. Гость был довольно известный князь Щепетилов, родственник покойнику, человек еще почти молодой, лет тридцати пяти, в полковничьих эполетах и в аксельбантах. Всех чиновников пробрал какой-то необыкновенный страх от этих аксельбантов. Полицеймейстер, например, совсем потерялся; разумеется, только нравственно; физически же он явился налицо, хотя и с довольно вытянутым лицом. Тотчас же узнали, что князь Щепетилов едет из Петербурга, заезжал по дороге в Духаново. Не застав же в Духанове никого, полетел вслед за дядей в Мордасов, где как громом поразила его смерть старика и все подробнейшие слухи об обстоятельствах его смерти. Петр Михайлович даже немного потерялся, давая нужные объяснения; да и все в Мордасове смотрели какими-то виноватыми. К тому же у приезжего гостя было такое строгое, такое недовольное лицо, хотя, казалось бы, нельзя быть недовольну наследством. Он тотчас же взялся за дело сам, лично. Мозгляков же немедленно и постыдно стушевался перед настоящим, не самозванным племянником и исчез — неизвестно куда. Решено было немедленно перенесть тело покойника в монастырь, где и назначено было отпевание. Все распоряжения приезжего отдавались кратко, сухо, строго, но с тактом и приличием. Назавтра весь город собрался в монастырь присутствовать при отпевании. Между дамами распространился нелепый слух, что Марья Александровна лично явится в церковь и, на коленях перед гробом, будет громко испрашивать себе прощения и что все это должно быть так по закону. Разумеется, все это оказалось вздором и Марья Александровна не явилась в церковь. Мы и забыли сказать, что тотчас по возвращении Зины домой ее маменька в тот же вечер решилась переехать в деревню, считая более невозможным оставаться в городе. Там тревожно прислушивалась она из своего угла к городским слухам, посылала на разведки узнавать о приезжем лице и все время была в лихорадке. Дорога из монастыря в Духаново проходила менее чем в версте от окошек ее деревенского дома — и потому Марья Александровна могла удобно рассмотреть длинную процессию, потянувшуюся из монастыря в Духаново после отпевания. Гроб везли на высоких дрогах; за ним тянулась длинная вереница экипажей, провожавших покойника до поворота в город. И долго еще чернели на белоснежном поле эти мрачные дроги, везомые тихо, с подобающим величием. Но Марья Александровна не могла смотреть долго и отошла от окна.

Через неделю она переехала в Москву, с дочерью и Афанасием Матвеичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марьи Александровны и городской дом продаются. Итак, Мордасов навеки терял такую комильфотную даму! Не обошлось и тут без злоязычия. Стали, например, уве-

рять, что деревня продается вместе с Афанасием Матвеичем... Прошел год, другой, и об Марье Александровне почти совершенно забыли. Увы! так всегда ведется на свете! Рассказывали, впрочем, что она купила себе другую деревню и переехала в другой губернский город, в котором, разумеется, уже забрала всех в руки, что Зина еще до сих пор не замужем, что Афанасий Матвеич... Но, впрочем, нечего повторять эти слухи; все это очень неверно.

Прошло три года, как я дописал последнюю строчку первого отдела мордасовской летописи, и кто бы мог подумать, что мне еще раз придется развернуть мою рукопись и прибавить еще одно известие к моему рассказу. Но к делу! Начну с Павла Александровича Мозглякова. Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург, где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали. Вскоре он забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, по ветрености своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции, назначавшейся в один из отдаленнейших краев нашего безбрежного отечества для ревизии или для какой-то другой цели, наверно не знаю. Экспедиция благополучно проехала все леса и пустыни и наконец, после долгого странствия, явилась в главном городе «отдаленнейшего края» к генерал-губернатору. Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с двумя звездами и с белым крестом на шее. Он принял экспедицию важно и чинно и пригласил всех составлявших ее чиновников к себе на бал, дававшийся в тот же самый вечер по случаю именин генерал-губернаторши. Павел Александрович был этим очень доволен. Нарядившись в свой петербургский костюм, в котором намерен был произвести эффект, он развязно вошел в большую залу, хотя тотчас же немного осел при виде множества витых и густых эполет и статских мундиров со звездами. Нужно было откланяться генерал-губернаторше, о которой он уже слышал, что она молода и очень хороша собою. Подошел он даже с форсом и вдруг оцепенел от изумления. Перед ним стояла Зина, в великолепном бальном платье и бриллиантах, гордая и надменная. Она совершенно не узнала Павла Александровича. Ее взгляд небрежно скользнул по его лицу и тотчас же обратился на кого-то другого. Пораженный Мозгляков отошел к сторонке и в толпе столкнулся с одним робким молодым чиновником, который как будто пугался самого

себя, очутившись на генерал-губернаторском бале. Павел Александрович немедленно принялся его расспрашивать и узнал чрезвычайно интересные вещи. Он узнал, что генерал-губернатор уже два года как женился, когда ездил в Москву из «отдаленного края», и что взял он чрезвычайно богатую девицу из знатного дома. Что генеральша «ужасно хороши *из себя-с*, даже, можно сказать, первые красавицы-с, но держат себя чрезвычайно гордо, а танцуют только с одними генералами-с»; что на настоящем бале всех генералов, своих и приезжих, девять, включая в то число и действительных статских советников; что, наконец, «у генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и что эта маменька-с приехала из самого высшего общества-с и очень умны-с», но что и сама маменька беспрекословно подчиняется воле своей дочери, а сам генерал-губернатор не наглядится и не надышится на свою супругу. Мозгляков заикнулся было об Афанасье Матвеиче, но в «отдаленном краю» об нем не имели никакого понятия. Ободрившись немного, Мозгляков прошелся по комнатам и вскоре увидел и Марью Александровну, великолепно разряженную, размахивающую дорогим веером и с одушевлением говорящую с одною из особ 4-го класса. Кругом нее теснилось несколько припадавших к покровительству дам, и Марья Александровна, по-видимому, была необыкновенно любезна со всеми. Мозгляков рискнул представиться. Марья Александровна немного как будто вздрогнула, но тотчас же, почти мгновенно, оправилась. Она с любезностью благоволила узнать Павла Александровича; спросила о его петербургских знакомствах, спросила, отчего он не за границей? Об Мордасове не сказала ни слова, как будто его и не было на свете. Наконец, произнеся имя какого-то петербургского важного князя и осведомясь о его здоровье, хотя Мозгляков и понятия не имел об этом князе, она незаметно обратилась к одному подошедшему сановнику в душистых сединах и через минуту совершенно забыла стоявшего перед нею Павла Александровича. С саркастической улыбкой и со шляпой в руках, Мозгляков воротился в большую залу. Неизвестно почему считая себя уязвленным и даже оскорбленным, он решился не танцевать. Угрюмо-рассеянный вид, едкая мефистофелевская улыбка не сходили с лица его во весь вечер. Живописно прислонился он к колонне (зала, как нарочно, была с колоннами) и в продолжение всего бала, несколько часов сряду, простоял на одном месте, следя своими взглядами Зину. Но увы! все фокусы его, все необыкновенные позы, разочарованный вид и проч. и проч.— все пропало даром. Зина совершенно не замечала его. Наконец, взбешенный, с заболевшими от долгой стоянки ногами, голодный,— потому что не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего,— воротился он на квартиру,

совершенно измученный и как будто кем-то прибитый. Долго не ложился он спать, припоминая давно забытое. На другое же утро представилась какая-то командировка, и Мозгляков с наслаждением выпросил ее себе. Он даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса.

Рьяные кони мчались, взрывая снежный прах копытами. Колокольчик звенел. Павел Александрович задумался, потом замечтался, а потом и заснул себе преспокойно. Он проснулся уже на третьей станции, свежий и здоровый, совершенно с другими мыслями.



СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

РАССКАЗ



Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское. Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет шестидесяти пяти, праздновал свое новоселье в только что купленном доме, а кстати уж и день своего рождения, который тут же пришелся и который он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое; как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы г-на Никифорова и прежние его подчиненные, а именно: действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник Иван Ильич Пра-

линский. Они пришли часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу свое собственное личное мнение. Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был холост, потому что был эгоист; был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум; особенно не любил неряшества и восторженности, считая его неряшеством нравственным, и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но еще смолоду терпеть не мог гостей у себя, а в последнее время, если не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине. Наружности был он чрезвычайно приличной и выбритой, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком. Была у него одна только страсть или, лучше сказать, одно горячее желанье: это — иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желанье его наконец осуществилось: он приглядел и купил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом, и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше: у себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность — на то была у него прекрасная двуместная карета шоколадного цвету, кучер Михей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Все это было благоприобретенное сорокалетней, кропотливой экономией, так что сердце на все это радовалось. Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рожденье, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильца. Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленко и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет

отмалчивался. Это был человек тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономии. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностию, тоже прекрасно знал, до чего он дойдет, и еще лучше — до чего никогда не дойдет, сидел на хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился: он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольствования Ивана Ильича Пралинского на новые темы. Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорович снизошел до господина Пралинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пралинском, тем более что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа.

Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе. Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим уменьем носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы. Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких. Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни не последним людям и, сверх того, обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслие. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив. Странное дело: подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянья. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особен-

но когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь une existence manquée[1], переставал верить, разумеется про себя, даже в свои парламентские способности, называл себя парлером[2], фразером, и хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия. Даже мерещились ему подчас монументы. Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарованья стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову. Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что, неизвестно почему, начало вдруг обижать Ивана Ильича, тем более что Семен Иваныч Шипуленко, которого он особенно презирал и, сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку прековарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку»,— мелькнуло в голове Ивана Ильича.

— Нет-с, пора, давно уж пора было,— продолжал он с азартом.— Слишком опоздали-с, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет...

---

[1] неудавшейся жизнью *(франц.)*
[2] парлер *(франц.— parleur)*— болтун.

— Хи-хи-хи! — послышалось со стороны Семена Ивановича.

— Да что же, однако ж, вы нас так распекаете,— возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь.— Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять. Вы выставляете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли?

— Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я...

— Позвольте-с. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и... и... и без конца их, этих вопросов, и всё вместе, всё разом может породить большие, так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности...

— Да-с, дело поглубже-с,— заметил Семен Иванович.

— Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей,— язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич,— но, однако ж, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли...

— Не понял.

— А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно гуманность с подчиненными, от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика,— гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм: я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало быть, любят... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат всё дело дружески, основательно. Чего вы смеетесь, Семен Иванович? Непонятно?

Степан Никифорович молча поднял брови; он удивлялся.

— Мне кажется, я немного лишнее выпил,— заметил ядовито Семен Иваныч,— а потому и туг на соображение. Некоторое затмение в уме-с.

Ивана Ильича передернуло.

— Не выдержим,— произнес вдруг Степан Никифорыч после легкого раздумья.

— То есть как это не выдержим?— спросил Иван Ильич, удивляясь внезапному и отрывочному замечанию Степана Никифоровича.

— Так, не выдержим.— Степан Никифорович, очевидно, не хотел распространяться далее.

— Это вы уж не насчет ли нового вина и новых мехов?— не без иронии возразил Иван Ильич.— Ну, нет-с; за себя-то уж я отвечаю.

В эту минуту часы пробили половину двенадцатого.

— Сидят-сидят да и едут,— сказал Семен Иваныч, приготовляясь встать с места. Но Иван Ильич предупредил его, тотчас встал из-за стола и взял с камина свою соболью шапку. Он смотрел как обиженный.

— Так как же, Семен Иваныч, подумаете?— сказал Степан Никифорович, провожая гостей.

— Насчет квартирки-то-с? Подумаю, подумаю-с.

— А что надумаете, так уведомьте поскорее.

— Все о делах?— любезно заметил господин Пралинский с некоторым заискиванием и поигрывая своей шапкой. Ему показалось, что его как будто забывают.

Степан Никифорович поднял брови и молчал в знак того, что не задерживает гостей.

Семен Иваныч торопливо откланялся.

«А... ну... после этого как хотите... коли не понимаете простой любезности»,— решил про себя господин Пралинский и как-то особенно независимо протянул руку Степану Никифоровичу.

В передней Иван Ильич закутался в свою легкую дорогую шубу, стараясь для чего-то не замечать истасканного енота Семена Иваныча, и оба стали сходить с лестницы.

— Наш старик как будто обиделся,— сказал Иван Ильич молчавшему Семену Иванычу.

— Нет, отчего же?— отвечал тот спокойно и холодно.

«Холоп!»— подумал про себя Иван Ильич.

Сошли на крыльцо. Семену Ивановичу подали его сани с серым неказистым жеребчиком.

— Кой черт! Куда же Трифон девал мою карету!— вскричал Иван Ильич, не видя своего экипажа.

Туда-сюда — кареты не было. Человек Степана Никифоровича не имел об ней понятия. Обратились к Варламу, кучеру Семена Иваныча, и получили в ответ, что всё стоял тут, и карета тут же была, а теперь вот и нет.

— Скверный анекдот!— произнес господин Шипуленко,— хотите, довезу?

— Подлец народ!— с бешенством закричал господин Пралинский.— Просился у меня, каналья, на свадьбу, тут же на Петербургской, какая-то кума замуж идет, черт ее дери. Я настрого запретил ему отлучаться. И вот бьюсь об заклад, что он туда уехал!

— Он действительно,— заметил Варлам,— поехал туда-с; да обещал в одну минуту обернуться, к самому то есть времени быть.

— Ну так! Я как будто предчувствовал! Уж я ж его!

— А вы лучше посеките его хорошенько раза два в части, вот он и будет исполнять приказанья,— сказал Семен Иваныч, уже закрываясь полостью.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, Семен Иваныч!

— Так не хотите, довезу.

— Счастливый путь, merci[1].

Семен Иваныч уехал, а Иван Ильич пошел пешком по деревянным мосткам, чувствуя себя в довольно сильном раздражении.

«Нет уж, я ж тебя теперь, мошенник! Нарочно пешком пойду, чтоб ты чувствовал, чтоб ты испугался! Воротится и узнает, что барин пешком пошел... мерзавец!»

Иван Ильич никогда еще так не ругался, но уж очень он был разбешен, и вдобавок в голове шумело. Он был человек непьющий, и потому какие-нибудь пять-шесть бокалов скоро подействовали. Но ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов пятьдесят, почти забыл о беде своей. Ему становилось как-то особенно приятно. К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатления. Ему даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынной улицы.

«А ведь и славно, что я пешком пошел,— думал он про себя,— и Трифону урок, да и мне удовольствие. Право, надо чаще ходить пешком. Что ж? На Большом проспекте я тотчас найду извозчика. Славная ночь! Какие тут всё домишки. Должно быть, мелкота живет, чиновники... купцы, может быть... этот Степан Никифорович! и какие все они ретрограды, старые колпаки! Именно колпаки, c'est le mot[2]. Впрочем, он умный человек; есть этот bon sens[3], трезвое, практическое понимание вещей. Но зато старики, старики! Нет этого... как бишь его! Ну да чего-то нет... Не выдержим! Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять? Труднее не понять, чем понять. Главное то, что я убежден, душою убежден. Гуманность... человеколюбие. Возвратить чело-

[1] спасибо *(франц.)*
[2] хорошо сказано *(франц.)*
[3] здравый смысл *(франц.)*

века самому себе... возродить его собственное достоинство и тогда... с готовым матерьялом приступайте к делу. Кажется, ясно! Да-с! Уж это позвольте, ваше превосходительство, возьмите силлогизм: мы встречаем, например, чиновника, чиновника бедного, забитого. «Ну... кто ты?» Ответ: «Чиновник». Хорошо, чиновник; далее: «Какой ты чиновник?» Ответ: такой-то, дескать, и такой-то чиновник. «Служишь?»—«Служу!»—«Хочешь быть счастлив?»—«Хочу».— «Что надобно для счастья?» То-то и то-то. «Почему?» Потому... И вот человек меня понимает с двух слов: человек мой, человек уловлен, так сказать, сетями, и я делаю с ним всё, что хочу, то есть для его же блага. Скверный человек этот Семен Иваныч! И какая у него скверная рожа... Высеки в части,— это он нарочно сказал.— Нет, врешь, сам секи, а я сечь не буду; я Трифона словом дойму, попреком дойму, вот и будет чувствовать. Насчет розог, гм... вопрос нерешенный, гм... А не заехать ли к Эмеранс? Фу ты, черт, проклятые мостки!— вскрикнул он, вдруг оступившись.— И это столица! Просвещение! Можно ногу сломать. Гм. Ненавижу я этого Семена Иваныча; препротивная рожа. Это он надо мной давеча хихикал, когда я сказал: обнимутся нравственно. Ну и обнимутся, а тебе что за дело? Уж тебя-то не обниму; скорей мужика... Мужик встретится, и с мужиком поговорю. Впрочем, я был пьян и, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь... Гм. Никогда не буду пить. С вечеру наболтаешь, а назавтра раскаиваешься. Что ж, я ведь, не шатаясь, иду... А впрочем, все они мошенники!»

Так рассуждал Иван Ильич, отрывисто и бессвязно, продолжая шагать по тротуару. На него подействовал свежий воздух и, так сказать, раскачал его. Минут через пять он бы успокоился и захотел спать. Но вдруг, почти в двух шагах от Большого проспекта, ему послышалась музыка. Он огляделся. На другой стороне улицы в очень ветхом одноэтажном, но длинном деревянном доме задавался пир горой, гудели скрипки, скрипел контрбас и визгливо заливалась флейта на очень веселый кадрильный мотив. Под окнами стояла публика, больше женщины в ватных салопах и в платках на голове; они напрягали все усилия, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь щели ставен. Видно, весело было. Гул от топота танцующих достигал другой стороны улицы. Иван Ильич невдалеке от себя заметил городового и подошел к нему.

— Чей это, братец, дом?— спросил он, немного распахивая свою дорогую шубу, ровно настолько, чтобы городовой мог заметить значительный орден на шее.

— Чиновника Пселдонимова, легистратора,— отвечал, выпрямившись, городовой, мигом успевший разглядеть отличие.

— Пселдонимова? Ба! Пселдонимова!.. Что ж он? женится?

— Женится, ваше высокородие, на титулярного советника дочери. Млекопитаев, титулярный советник... в управе служил. Этот дом за невестой ихней идет-с.

— Так что теперь уж это Пселдонимова, а не Млекопитаева дом?

— Пселдонимова, ваше высокородие. Млекопитаева был, а теперь Пселдонимова.

— Гм. Я потому тебя, братец, спрашиваю, что я начальник его. Я генерал над тем самым местом, где Пселдонимов служит.

— Точно так, ваше превосходительство.— Городовой вытянулся окончательно, а Иван Ильич как будто задумался. Он стоял и соображал...

Да, действительно Пселдонимов был из его ведомства, из самой его канцелярии; он припомнил это. Это был маленький чиновник, рублях на десяти в месяц жалованья. Так как господин Пралинский принял свою канцелярию еще очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчиненных, но Пселдонимова он помнил, именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого разу, так что он тогда же полюбопытствовал взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь еще очень молодого человека, с длинным горбатым носом, с белобрысыми и клочковатыми волосами, худосочного и худо выкормленного, в невозможном вицмундире и в невозможных даже до неприличия невыразимых. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль: не определить ли бедняку рублей десяток к празднику для поправки? Но так как лицо этого бедняка было слишком постное, а взгляд крайне несимпатичный, даже возбуждающий отвращение, то добрая мысль сама собой как-то испарилась, так что Пселдонимов и остался без награды. Тем сильнее изумил его этот же самый Пселдонимов не более как неделю назад своей просьбой жениться. Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее, так что дело о свадьбе решено было слегка, наскоро. Но все-таки он с точностью припоминал, что за невестой своей Пселдонимов берет деревянный дом и четыреста рублей чистыми деньгами; это обстоятельство тогда же его удивило; он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселдонимова и Млекопитаевой. Он ясно припоминал всё это.

Припоминал он и всё более и более раздумывался. Известно, что целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно, в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературный. Но мы постараемся перевесть все эти ощущения героя нашего и представить читателю хотя бы только сущность этих ощущений, так сказать то, что было в них

самое необходимое и правдоподобное. Потому что ведь многие из ощущений наших, в переводе на обыкновенный язык, покажутся совершенно неправдоподобными. Вот почему они никогда и на свет не являются, а у всякого есть. Разумеется, ощущения и мысли Ивана Ильича были немного бессвязны. Но ведь вы знаете причину.

«Что же!— мелькало в его голове,— вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шиш выходит. Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов; он приехал давеча от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить... Это один из блаженнейших дней его жизни... Теперь он возится с гостями, задает пир — скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний... Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку! А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? гм... Разумеется, сначала он испугался бы, онемел бы от замешательства. Я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, всё... Да, так и было бы, если б вошел всякий другой генерал, но не я... В том-то и дело, что всякий, да только не я...

Да, Степан Никифорович! Вот вы не понимали меня давеча, а вот вам и готовый пример.

Да-с. Мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии.

Какого героизма? Такого. Рассудите-ка: при теперешних отношениях всех членов общества мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора, на десяти рублях, да ведь это замешательство, это — коловращенье идей, последний день Помпеи, сумбур! Этого никто не поймет. Степан Никифорович умрет — не поймет. Ведь сказал же он: не выдержим. Да, но это вы, люди старые, люди паралича и косности, а я вы-дер-жу! Я обращу последний день Помпеи в сладчайший день для моего подчиненного, и поступок дикий — в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте прислушать...

Ну... вот я, положим, вхожу: — они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся. Так-с, но тут-то я и выказываюсь: я прямо иду к испуганному Пселдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю: «Так и так, дескать, был у его превосходительства Степана Никифоровича. Полагаю, знаешь, здесь, по соседству...» Ну, тут слегка, в смешном этак виде, рассказываю приключение с Трифоном. От Трифона перехожу к тому, как пошел пешком... «Ну — слышу музыку, любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к подчиненному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и... женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю!» Прогонишь! Каково словечко для подчиненного. Какой уж тут черт прогонишь! Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищенья, не сообразится даже на первый раз!..

Ну, что может быть проще, изящнее такого поступка! Зачем я вошел? Это другой вопрос! Это уже, так сказать, нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок!

Гм... Об чем, бишь, я думал? Да!

Ну уж, конечно, они меня посадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный али родственник, отставной штабс-капитан с красным носом... Славно этих оригиналов Гоголь описывал. Ну знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю ее, ободряю гостей. Прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь, одним словом — я любезен и мил. Я всегда любезен и мил, когда доволен собой... Гм... то-то и есть, что я всё еще, кажется, немного того... то есть не пьян, а так...

...Разумеется, я, как джентльмен, на равной с ними ноге и отнюдь не требую каких-нибудь особенных знаков... Но нравственно, нравственно дело другое: они поймут и оценят... Мой поступок воскресит в них всё благородство... Ну и сижу полчаса... Даже час. Уйду, разумеется, перед самым ужином, а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут, но я только выпью бокал, поздравлю, а от ужина откажусь. Скажу: дела. И уж только что я произнесу «дела», у всех тотчас же станут почтительно строгие лица. Этим я деликатно напомню, что они и я — это разница-с. Земля и небо. Я не то чтобы хотел это внушать, но надо же... даже в нравственном смысле необходимо, что уж там ни говори. Впрочем, я тотчас же улыбнусь, даже посмеюсь, пожалуй, и мигом все ободрятся... Пошучу еще раз с молодой; гм... даже вот что: намекну, что приду опять ровнешенько через девять месяцев в качестве кума, хе-хе! А она, верно, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну и все захохочут, молодая покраснеет; я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее и... и назавтра в канцелярии мой подвиг уже известен. Назавтра я опять строг, назавтра я опять взыскателен, даже неумолим, но все они уже знают, кто я такой. Душу мою знают, суть мою знают: «Он строг как начальник, но как человек — он ангел!» И вот я победил; я уловил какимнибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придет; они уж мои; я отец, они дети... Ну-тка, ваше превосходительство, Степан Никифорович, подите-ка сделайте этак...

...Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим

внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их... и т. д. и т. д. Да ведь я униженного нравственно подыму, я самому себе его возвращу... Ведь он десять рублей в месяц жалованья получает!.. Да ведь повтори я это раз пять, али десять, али что-нибудь в этом же роде, так повсеместную популярность приобрету... У всех в сердцах буду напечатлен, и ведь черт один знает, что из этого потом может выйти, из популярности-то!..»

Так или почти так рассуждал Иван Ильич (господа, мало ли что человек говорит иногда про себя, да еще несколько в эксцентрическом состоянии). Все эти рассуждения промелькнули в его голове в какие-нибудь полминуты, и, конечно, он, может, и ограничился бы этими мечтаньицами и, мысленно пристыдив Степана Никифоровича, преспокойно отправился бы домой и лег спать. И славно бы сделал! Но вся беда в том, что минута была эксцентрическая.

Как нарочно, вдруг, в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича.

— Не выдержим!— повторил Степан Никифорович, свысока улыбаясь.

— Хи-хи-хи!— вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой.

— А вот и посмотрим, как не выдержим!— решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова.

Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую, лохматую и осипшую шавку, которая, более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка, будочкой выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный огарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу, так, как есть, в калошах, попасть левой ногой в галантир, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бламанже. Раздавленный галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль: не улизнуть ли сейчас же? Но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал и на него уж

никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, растворил ее и очутился в премаленькой передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бекешами, салопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты: две скрипки, флейта и контрбас, всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашеным деревянным столиком, при одной сальной свечке, и во всю ивановскую допиливали последнюю фигуру кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих, в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем содомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязного и даже расстегнувшегося человека: «Кавалеры вперед, шен де дам, балансе!» и проч., и проч. Иван Ильич в некотором волнении сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уже и не рассуждал.

В первую минуту его никто не заметил: все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный и ничего подробно не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалеры с папиросами в зубах... Мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевший его по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним, длинный как верста, офицер какой-то команды. Кто-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притопывая вместе с другими: «Э-э-эх, Пселдонимушка!» Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое: очевидно, пол навощили воском. В комнате, впрочем, не очень малой, было человек до тридцати гостей.

Но через минуту кадриль кончилась, и почти тотчас же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках. По гостям и танцующим, еще не успевшим отдышаться и обтереть с лица пот, прошел какой-то гул, какой-то необыкновенный шепот. Все глаза, все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю. Затем все тотчас же стали понемногу отступать и пятиться. Незамечавших дергали за платье и образумливали. Они оглядывались и тотчас же пятились вместе с прочими. Иван Ильич всё еще стоял в дверях, не двигаясь ни шагу вперед, а между ним и гостями всё более и более очищалось открытое пространство, усеянное на полу бесчисленными конфетными бумажками, билетиками и окурками папирос. Вдруг в это пространство робко выступил молодой человек, в вицмундире, с вихроватыми, белокурыми волосами и с горбатым носом. Он продвигался вперед, согнувшись и смот-

ря на неожиданного гостя совершенно с таким же точно видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтоб дать ей пинка.

— Здравствуй, Пселдонимов, узнаешь?..— сказал Иван Ильич и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал; он почувствовал тоже, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость.

— В-в-ваше прево-сходительство!..— пробормотал Пселдонимов.

— Ну, то-то. Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел, как, вероятно, ты и сам можешь это себе представить...

Но Пселдонимов, очевидно, ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза, в ужасающем недоумении.

— Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю... Рад не рад, а гостя принимай!..— продолжал Иван Ильич, чувствуя, что конфузится до неприличной слабости, желает улыбнуться, но уже не может; что юмористический рассказ о Степане Никифоровиче и Трифоне становится всё более и более невозможным. Но Пселдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть с совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернуло, он чувствовал, что еще одна такая минута, и произойдет невероятный сумбур.

— Я уж не помешал ли чему... я уйду!— едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ...

Но Пселдонимов уже опомнился...

— Ваше превосходительство, помилуйте-с... Честь...— бормотал он, уторопленно кланяясь,— удостойте присесть-с...— И еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол...

Иван Ильич отдохнул душою и опустился на диван; тотчас же кто-то кинулся придвигать стол. Он бегло осмотрелся и заметил, что он один сидит, а все другие стоят, даже дамы. Признак дурной. Но напоминать и ободрять было еще не время. Гости всё еще пятились, а перед ним, скрючившись, стоял всё еще один только Пселдонимов, всё еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно, короче: в эту минуту наш герой вынес столько тоски, что действительно его гарун-аль-рашидское нашествие, ради принципа, к подчиненному могло бы почесться подвигом. Но вдруг какая-то фигурка очутилась подле Пселдонимова и начала кланяться. К невыразимому своему удовольствию и даже счастью, Иван Ильич тотчас же распознал столоначальника из своей канцелярии, Акима Петровича Зубикова, с которым он хоть, конечно, и не был знаком, но знал его за дельного и бессловесного чиновника. Он немедленно встал и протянул Акиму Петровичу руку, всю руку, а не два

пальца. Тот принял ее обеими ладонями в глубочайшем почтении. Генерал торжествовал; все было спасено.

И действительно, теперь уже Пселдонимов был, так сказать, не второе, а уже третье лицо. С рассказом можно было обратиться прямо к столоначальнику, за нужду приняв его за знакомого и даже короткого, а Пселдонимов тем временем мог только молчать и трепетать от благоговения. Следственно, приличия были соблюдены. А рассказ был необходим; Иван Ильич это чувствовал; он видел, что все гости ожидают чего-то, что в обеих дверях столпились даже все домочадцы и чуть не взлезают друг на друга, чтоб его поглядеть и послушать. Скверно было то, что столоначальник, по глупости своей, всё еще не садился.

— Что же вы!— проговорил Иван Ильич, неловко указывая ему подле себя на диване.

— Помилуйте-с... я и здесь-с...— и Аким Петрович быстро сел на стул, подставленный ему почти на лету упорно остававшимся на ногах Пселдонимовым.

— Можете себе представить случай,— начал Иван Ильич, обращаясь исключительно к Акиму Петровичу несколько дрожащим, но уже развязным голосом. Он даже растягивал и разделял слова, ударял на слоги, букву *а* стал выговаривать как-то на *э*, одним словом, сам чувствовал и сознавал, что кривляется, но уже совладать с собою не мог; действовала какая-то внешняя сила. Он ужасно много и мучительно сознавал в эту минуту.

— Можете себе представить, я только что от Степана Никифоровича Никифорова, слышали, может быть, тайный советник. Ну... в этой комиссии...

Аким Петрович почтительно нагнулся всем корпусом вперед: «Дескать, как не слыхать-с».

— Он теперь твой сосед,— продолжал Иван Ильич, на один миг, для приличия и для непринужденности, обращаясь к Пселдонимову, но быстро отворотился, увидав тотчас же по глазам Пселдонимова, что тому это решительно всё равно.

— Старик, как вы знаете, бредил всю жизнь купить себе дом... Ну и купил. И прехорошенький дом. Да... А тут и его рождение сегодня подошло, и ведь никогда прежде не праздновал, даже таил от нас и отнекивался по скупости, хе-хе! а теперь так обрадовался новому дому, что пригласил меня и Семена Ивановича. Знаете: Шипуленко.

Аким Петрович опять нагнулся. С усердием нагнулся! Иван Ильич несколько утешился. А то уж ему приходило в голову, что столоначальник, пожалуй, догадывается, что он в эту минуту необходимая точка опоры для его превосходительства. Это было бы всего сквернее.

— Ну, посидели втроем, шампанского нам поставил, пого-

ворили о делах... Ну о том о сем... о во-про-сах... Даже пос-порили... Хе-хе!

Аким Петрович почтительно поднял брови.

— Только дело не в этом. Прощаюсь с ним наконец, старик аккуратный, ложится рано, знаете, к старости. Выхожу... нет моего Трифона! Тревожусь, расспрашиваю: «Куда девал Трифон карету?» Открывается, что он, понадеясь, что я засижусь, отправился на свадьбу к какой-то своей куме или к сестре... уж бог его знает. Здесь же где-то на Петербургской. Да и карету уж кстати с собою захватил.— Генерал опять для приличия взглянул на Пселдонимова. Того немедленно скрючило, но вовсе не так, как надобно было генералу. «Сочувствия, сердца нет»,— промелькнуло в его голове.

— Скажите!— проговорил глубоко пораженный Аким Петрович. Маленький гул удивления прошел по всей толпе.

— Можете себе представить мое положение... (Иван Ильич взглянул на всех.) Нечего делать, иду пешком. Думаю, добреду до Большого проспекта, да и найду какого-нибудь ваньку... хе-хе!

— Хи-хи-хи!— почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад, прошел по толпе. В это время с треском лопнуло стекло на стенной лампе. Кто-то с жаром бросился поправлять ее. Пселдонимов встрепенулся и строго посмотрел на лампу, но генерал даже не обратил внимания, и всё успокоилось.

— Иду... а ночь такая прекрасная, тихая. Вдруг слышу музыку, топот, танцуют. Любопытствую у городового: Пселдонимов женится. Да ты, брат, на всю Петербургскую сторону балы задаешь? ха-ха,— вдруг обратился он опять к Пселдонимову.

— Хи-хи-хи! да-с...— отозвался Аким Петрович; гости опять пошевелились, но всего глупее было то, что Пселдонимов хоть и поклонился опять, но даже и теперь не улыбнулся, точно он был деревянный. «Да он дурак, что ли!— подумал Иван Ильич,— тут-то бы и улыбаться ослу, и все бы пошло как по маслу». Нетерпение бушевало в его сердце.— Думаю, дай войду к подчиненному. Ведь не прогонит же он меня... рад не рад, а принимай гостя. Ты, брат, пожалуйста, извини. Если я чем помешал, я уйду... Я ведь только зашел посмотреть.

Но мало-помалу уже начиналось всеобщее движение. Аким Петрович смотрел с услащенным видом: «Дескать, можете ли, ваше превосходительство, помешать?» Все гости пошевелились и стали обнаруживать первые признаки развязности. Дамы почти все уже сидели. Знак добрый и положительный. Посмелее из них обмахивались платочками. Одна из них, в истертом бархатном платье, что-то нарочно громко проговорила. Офицер,

к которому она обратилась, хотел было ей ответить тоже погромче, но так как они были только двое из громких, то спасовал. Мужчины, всё более канцеляристы и два-три студента, переглядывались, как бы подталкивая друг друга развернуться, откашливались и даже начали ступать по два шага в разные стороны. Впрочем, никто особенно не робел, а только все были дики и почти все про себя враждебно смотрели на персону, ввалившуюся к ним, чтоб нарушить их веселье. Офицер, устыдясь своего малодушия, начал понемногу приближаться к столу.

— Да послушай, брат, позволь спросить, как твое имя и отчество?— спросил Иван Ильич Пселдонимова.

— Порфирий Петров, ваше превосходительство,— отвечал тот, выпуча глаза, точно на смотру.

— Познакомь же меня, Порфирий Петрович, с твоей молодой женой... Поведи меня... я...

И он обнаружил было желание привстать. Но Пселдонимов кинулся со всех ног в гостиную. Впрочем, молодая стояла тут же в дверях, но, только что услыхала, что о ней идет речь, тотчас спряталась. Через минуту Пселдонимов вывел ее за руку. Все расступались, давая им ход. Иван Ильич торжественно привстал и обратился к ней с самой любезной улыбкой.

— Очень, очень рад познакомиться,— произнес он с самым великосветским полупоклоном,— и тем более в такой день...

Он preковарно улыбнулся. Дамы приятно заволновались.

— Шарме [1],— произнесла дама в бархатном платье почти вслух.

Молодая стоила Пселдонимова. Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная, с очень маленьким лицом и с востреньким носиком. Маленькие глазки ее, быстрые и беглые, вовсе не конфузились, напротив, смотрели пристально и даже с оттенком какой-то злости. Очевидно, Пселдонимов брал ее не за красоту. Одета она была в белое кисейное платье на розовом чехле. Шея у нее была худенькая, тело цыплячье, выставлялись кости. На привет генерала она ровно ничего не сумела сказать.

— Да она у тебя прехорошенькая,— продолжал он вполголоса, как будто обращаясь к одному Пселдонимову, но нарочно так, чтоб и молодая слышала. Но Пселдонимов ровно ничего и тут не ответил, даже и не покачнулся на этот раз. Ивану Ильичу показалось даже, что в глазах его есть что-то холодное, затаенное, даже что-то себе на уме, особенное, злокачественное. И, однако ж, во что бы ни стало надо было добиться чувствительности. Ведь для нее-то он и пришел.

---

[1] Шарме́ (*франц.*— charmé)— очарована.

«Однако парочка!— подумал он.— Впрочем...»

И он снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване, но на два или на три вопроса свои получил опять только «да» и «нет», да и тех, правда, вполне не получил.

«Хоть бы она поконфузилась,— продолжал он про себя.— Я бы тогда шутить начал. А то ведь мое-то положение безвыходное». И Аким Петрович, как нарочно, тоже молчал, хоть и по глупости, но все же было неизвинительно.

— Господа! уж я не помешал ли вашим удовольствиям? — обратился было он ко всем вообще. Он чувствовал, что у него даже ладони потеют.

— Нет-с... Не беспокойтесь, ваше превосходительство, сейчас начнем, а теперь... прохлаждаемся-с,— отвечал офицер. Молодая с удовольствием на него поглядела: офицер был еще не стар и носил мундир какой-то команды. Пселдонимов стоял тут же, подавшись вперед, и, казалось, еще более, чем прежде, выставлял свой горбатый нос. Он слушал и смотрел, как лакей, стоящий с шубой в руках и ожидающий окончания прощального разговора своих господ. Это сравнение сделал сам Иван Ильич; он терялся, он чувствовал, что ему неловко, ужасно неловко, что почва ускользает из-под ног, что он куда-то зашел и не может выйти, точно в потемках.

Вдруг все расступились, и появилась невысокая и плотная женщина, уже пожилая, одетая просто, хотя и принарядившаяся, в большом платке на плечах, зашпиленном у горла, и в чепчике, к которому она, видимо, не привыкла. В руках ее был небольшой круглый поднос, на котором стояла непочатая, но уже раскупоренная бутылка шампанского и два бокала, ни больше, ни меньше. Бутылка, очевидно, назначалась только для двух гостей.

Пожилая женщина прямо приблизилась к генералу.

— Уж не взыщите, ваше превосходительство,— сказала она, кланяясь,— а уж коль не погнушались нами, оказали честь к сыночку на свадьбу пожаловать, так уж просим милости, поздравьте вином молодых. Не погнушайтесь, окажите честь.

Иван Ильич схватился за нее, как за спасение. Она была еще вовсе нестарая женщина, лет сорока пяти или шести, не больше. Но у ней было такое доброе, румяное, такое открытое, круглое русское лицо, она так добродушно улыбалась, так просто кланялась, что Иван Ильич почти утешился и начал было надеяться.

— Так вы-ы-ы ро-ди-тель-ница вашего сы-на?— сказал он, привстав с дивана.

— Родительница, ваше превосходительство,— промямлил Пселдонимов, вытягивая свою длинную шею и снова выставляя свой нос.

— А! Очень рад, о-чень рад познакомиться.

— Так не побрезгайте, ваше превосходительство.

— С превеликим даже удовольствием.

Поднос поставили, вино налил подскочивший Пселдонимов. Иван Ильич, всё еще стоя, взял бокал.

— Я особенно, особенно рад этому случаю, что могу...— начал он,— что могу... при сем засвидетельствовать... Одним словом, как начальник... желаю вам, сударыня (он обратился к новобрачной), и тебе, мой друг Порфирий,— желаю полного, благополучного и долгого счастья.

И он даже с чувством выпил бокал, счетом седьмой в этот вечер. Пселдонимов смотрел серьезно и даже угрюмо. Генерал начинал мучительно его ненавидеть.

«Да и этот верзила (он взглянул на офицера) тут же торчит. Ну что бы хоть ему прокричать: ура! И пошло бы, и пошло бы...»

— Да и вы, Аким Петрович, выпейте и поздравьте,— прибавила старуха, обращаясь к столоначальнику.— Вы начальник, он вам подчиненный. Наблюдайте сыночка-то, как мать прошу. Да и впредь нас не забывайте, голубчик наш, Аким Петрович, добрый вы человек.

«А ведь какие славные эти русские старухи!— подумал Иван Ильич.— Всех оживила. Я всегда любил народность...»

В эту минуту к столу поднесли еще поднос. Несла девка, в шумящем, еще не мытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нем стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастилой, с мармеладом, с грецкими орехами и проч. и проч. Поднос стоял до сих пор в гостиной, для угощения всех гостей, и преимущественно дам. Но теперь его перенесли к одному генералу.

— Не побрезгайте, ваше превосходительство, нашим яством. Чем богаты, тем и рады,— повторяла, кланяясь, старуха.

— Помилуйте...— сказал Иван Ильич и даже с удовольствием взял и раздавил между пальцами один грецкий орех. Он уж решился быть до конца популярным.

Между тем молодая вдруг захихикала.

— Что-с?— спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признакам жизни.

— Да вот-с, Иван Костенькиныч смешит,— отвечала она потупившись.

Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой сторо-

ны дивана и что-то нашептывавшего madame Пселдонимовой. Юноша привстал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молод.

— Я про «сонник» им говорил, ваше превосходительство,— пробормотал он, как будто извиняясь.

— Про какой же это сонник?— спросил Иван Ильич снисходительно.

— Новый сонник-с есть-с, литературный-с. Я им говорил-с, если господина Панаева во сне увидеть-с, то это значит кофеем манишку залить-с.

«Экая невинность»,— подумал даже со злобою Иван Ильич. Молодой человек хоть и очень разрумянился, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева.

— Ну да, да, я слышал...— отозвался его превосходительство.

— Нет, вот еще лучше есть,— проговорил другой голос подле самого Ивана Ильича,— новый лексикон издается, так, говорят, господин Краевский будет писать статьи, Алфераки... и *а*бличительная литература...

Проговорил это молодой человек, но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках, белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала «Головешка», задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашенный как почетный гость Пселдонимовым, с которым был на *ты* и с которым, еще прошлого года, вместе бедствовал у одной немки «в углах». Водку он, однако ж, пил и уже неоднократно для этого отлучался в одну укромную заднюю комнатку, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился.

— И это потому смешно-с,— с радостью перебил вдруг белокурый юноша, рассказавший про манишку и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью,— потому смешно, ваше превосходительство, что сочинителем полагается, будто бы господин Краевский правописания не знает и думает, что «обличительную литературу» надобно писать *а*бличительная литература...

Но бедный юноша едва докончил. Он по глазам увидал, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и, очевидно, оттого, что знал это. Молодому человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то поскорее стушеваться и потом всё остальное время был очень грустен. Взамен того развязный сотрудник «Головешки» подошел еще ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязность показалась Ивану Ильичу несколько щекотливой.

— Да! скажи, пожалуйста, Порфирий,— начал он, чтобы что-нибудь говорить,— почему — я всё тебя хотел спросить об этом лично — почему тебя зовут Пселдонимов, а не Псевдонимов? Ведь ты, наверное, Псевдонимов?

— Не могу в точности доложить, ваше превосходительство,— отвечал Пселдонимов.

— Это, верно, еще его отцу-с при поступлении на службу в бумагах перемешали-с, так что он и остался теперь Пселдонимовым,— отозвался Аким Петрович.— Это бывает-с.

— Неп-ре-менно,— с жаром подхватил генерал,— неп-ременно, потому, сами посудите: Псевдонимов — ведь это происходит от литературного слова «псевдоним». Ну, а Пселдонимов ничего не означает.

— По глупости-с,— прибавил Аким Петрович.

— То есть собственно что по глупости?

— Русский народ-с; по глупости изменяет иногда литеры-с и выговаривает иногда по-своему-с. Например, говорят невалид, а надо бы сказать инвалид-с.

— Ну, да... невалид, хе-хе-хе...

— Мумер тоже говорят, ваше превосходительство,— брякнул высокий офицер, у которого давно уже зудело, чтоб как-нибудь отличиться.

— То есть как это мумер?

— Мумер вместо нумер, ваше превосходительство.

— Ах да, мумер... вместо нумер... Ну да, да... хе, хе, хе!..— Иван Ильич принужден был похихикать и для офицера.

Офицер поправил галстук.

— А вот еще говорят: нимо,— ввязался было сотрудник «Головешки». Но его превосходительство постарался этого уж не расслышать. Не для всех же было хихикать.

— *Нимо* вместо *мимо*,— приставал «сотрудник» с видимым раздражением.

Иван Ильич строго посмотрел на него.

— Ну, что пристал?— шепнул Пселдонимов сотруднику.

— Да что ж это, я разговариваю. Нельзя, что ль, и говорить,— заспорил было тот шепотом, но, однако ж, замолчал и с тайною яростью вышел из комнаты.

Он прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров, еще с начала вечера, поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскою скатертью, водка двух сортов, селедка, икра ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка. Со злостью в сердце он налил было себе водки, как вдруг вбежал медицинский студент, с растрепанными волосами, первый танцор и канканер на бале Пселдонимова. Он с торопливою жадностью бросился к графину.

— Сейчас начнут!— проговорил он, наскоро распоряжаясь.— Приходи смотреть: соло сделаю вверх ногами, а после ужина рискну *рыбку*. Это будет даже идти к свадьбе-то. Так сказать, дружеский намек Пселдонимову... Славная эта Клеопатра Семеновна, с ней всё что угодно можно рискнуть.

— Это ретроград,— мрачно отвечал сотрудник, выпивая рюмку.

— Кто ретроград?

— Да вот, особа-то, перед которой пастилу поставили. Ретроград! я тебе говорю.

— Ну уж ты!— пробормотал студент и бросился вон из комнаты, услышав ритурнель кадрили.

Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закусил, и никогда еще действительный статский советник Иван Ильич не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя, как пренебреженный им сотрудник «Головешки», особенно после двух рюмок водки. Увы! Иван Ильич ничего не подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал с своей стороны приличное и даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе у своего подчиненного, но это объяснение в сущности никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться. Но вдруг всё переменилось, как волшебством; все успокоились и готовы были веселиться, хохотать, визжать и плясать точно так же, как если бы неожиданного гостя совсем не было в комнате. Причиной тому был неизвестно каким образом вдруг разошедшийся слух, шепот, известие, что гость-то, кажется, того... под шефе. И хоть дело носило с первого взгляда вид ужаснейшей клеветы, но мало-помалу стало как будто оправдываться, так что вдруг всё стало ясно. Мало того, стало вдруг необыкновенно свободно. И вот в это-то самое мгновение и началась кадриль, последняя перед ужином, на которую так торопился медицинский студент.

И только что было Иван Ильич хотел снова обратиться к новобрачной, пытаясь в этот раз донять ее каким-то каламбуром, как вдруг к ней подскочил высокий офицер и с размаху стал на одно колено. Она тотчас же вскочила с дивана и упорхнула с ним, чтоб встать в ряды кадрили. Офицер даже не извинился, а она даже не взглянула, уходя, на генерала, даже как будто рада была, что избавилась.

«Впрочем, в сущности, она в своем праве,— подумал Иван Ильич,— да и приличий они не знают».

— Гм... ты бы, брат Порфирий, не церемонился,— обратился он к Пселдонимову.— Может, у тебя там есть что-нибудь... насчет распоряжений... или там что-нибудь... пожалуйста, не стесняйся. «Что он сторожит, что ли, меня?»— прибавил он про себя.

Ему становился невыносим Пселдонимов с своей длинной шеей и глазами, пристально на него устремленными. Одним словом, всё это было не то, совсем не то, но Иван Ильич далеко еще не хотел в этом сознаться.

Кадриль началась.

— Прикажете, ваше превосходительство?— спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительства.

— Я... я, право, не знаю, если...

Но уж Аким Петрович с благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал, он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежась и корчась, налил и себе с тою разницею, что себе на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника. Об чем в самом деле заговорить? А развлечь его превосходительство следовало даже по обязанности, так как уж он имел честь составить ему компанию. Шампанское послужило выходом, да и его превосходительству даже приятно было, что тот налил,— не для шампанского, потому что оно было теплое и гадость естественнейшая, а так, нравственно приятно.

«Старику самому хочется выпить,— подумал Иван Ильич, а без меня не смеет. Не задерживать же... Да и смешно, если бутылка так простоит между нами». Он прихлебнул, и все-таки оно показалось лучше, чем так-то сидеть.

— Я ведь здесь,— начал он с расстановками и ударениями,— я ведь здесь, так сказать, случайно и, конечно, может быть, иные найдут... что мне... так сказать, не-прилично быть на таком... собрании.

Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством.

— Но я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь... Ведь не вино же в самом деле я пить пришел. Хе-хе!

Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его превосходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровно ничего утешительного.

— Я здесь... чтобы, так сказать, ободрить... показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель,— продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича, но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза

опустил, точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала, а Аким Петрович, как будто всё спасение его было в этом, схватил бутылку и подлил снова.

«А немного ж у тебя ресурсов»,— подумал Иван Ильич, строго смотря на бедного Акима Петровича. Тот же, предчувствуя на себе этот строгий генеральский взгляд, решился уж молчать окончательно и глаз не подымать. Так они просидели друг перед другом минуты две, две болезненные минуты для Акима Петровича.

Два слова об Акиме Петровиче. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлелеянный на подобострастии и между тем человек добрый и даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге и ни разу не выезжали из Петербурга. Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы. Все заботы их сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалованья. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме «Лучинушки», да и то потому только, что ее играют шарманки. Впрочем, есть два существенные и незыблемые признака, по которым вы тотчас же отличите настоящего русского от петербургского русского. Первый признак состоит в том, что все петербургские русские, все без исключения, никогда не говорят: «Петербургские ведомости», а всегда говорят: «Академические ведомости». Второй, одинаково существенный, признак состоит в том, что петербургский русский никогда не употребляет слово: «завтрак», а всегда говорит: «фрыштик», особенно напирая на звук *фры*. По этим двум коренным и отличительным признакам вы их всегда различите; одним словом, это тип смиренный и окончательно выработавшийся в последние тридцать пять лет. Впрочем, Аким Петрович был вовсе не дурак. Спроси его генерал о чем-нибудь подходящем к нему, он бы и ответил и поддержал разговор, а то ведь неприлично подчиненному и отвечать-то на такие вопросы, хотя Аким Петрович умирал от любопытства узнать что-нибудь подробнее о настоящих намерениях его превосходительства...

А между тем Иван Ильич всё более и более впадал в раздумье и в какое-то коловращение идей; в рассеянности он неприметно, но поминутно прихлебывал из бокала. Аким Петрович тотчас же усерднейше ему подливал. Оба молчали. Иван Ильич начал было смотреть на танцы, и вскоре они несколько привлекли его внимание. Вдруг одно обстоятельство даже удивило его...

Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтоб веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного; но неловкие так сильно притопывали, что их можно было принять и за ловких. Отличался, во-первых, офицер: он особенно любил фигуры, где оставался один, вроде соло. Тут он удивительно изгибался, а именно: весь, прямой как верста, он вдруг склонялся набок, так что вот, думаешь, упадет; но с следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону, под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьезнейшее и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно еще до кадриля, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор, отплясывающий с дамой в голубом шарфе, во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал всё одну и ту же штуку, а именно: он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик ее шарфа и на лету, при переходе визави, успевал влеплять в этот кончик десятка два поцелуев. Дама же, впереди его, плыла, как будто ничего не замечая. Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться, но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу: конечно, он очень любил развязность и непринужденность; он желал, он даже душевно звал ее, эту развязность, когда они все пятились, и вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ. Одна дама, например, в истертом синем бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходило, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было всё рискнуть, по выражению ее кавалера, медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего: просто Фокин. Как же это? То пятились, а тут вдруг так скоро эманципировались? Кажись бы, и ничего, но как-то странен был этот переход: он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в сердце своем нового червяка.

— Славно, молодой человек, танцуете,— принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо: только что кончилась кадриль.

Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во всё горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Пселдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его.

— Батюшка, ваше превосходительство,— говорила она, кланяясь,— окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью...

— Я... я, право, не знаю...— начал было Иван Ильич,— я ведь не для того... я... хотел было уже идти...

Действительно, он держал в руках шапку. Мало того: тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться и... и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Пселдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска: селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.

Действительно, положение его становилось всё более и более эксцентричным. Мало того: это была какая-то насмешка судьбы. С ним бог знает что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: «А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!..» Всё это он уже давно прочел в его взгляде.

Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы искренно, не только вслух, но даже себе самому, что всё это действительно точно так было. Минута еще вполне не пришла, а теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце... оно ныло! оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич.

Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спасаться. Что всё это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось давеча на мостках.

«Я ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтоб здесь есть и пить?»— спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновениями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем, в самом деле, он вошел?

Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. «Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажет, например, завтра же (потому что ведь везде разнесется) Степан Никифорыч, Семен Иваныч, в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных? Нет, надо так уйти, чтоб они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить...— А между тем патетический момент никак не давался.— Они даже не уважают меня,— продолжал он.— Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственные... Да, я давно подозревал всё молодое поколение в бесчувственности! Надо остаться во что бы то ни стало!.. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе... Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России... я их еще увлеку! Да! Может быть, еще совершенно ничего не потеряно... Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтоб их привлечь? Какой бы это такой прием изобресть? Теряюсь, просто теряюсь... И чего им надо, чего они требуют?.. Я вижу, они там пересмеиваются... Уж не надо мной ли, господи боже! Да чего мне-то надо... я-то чего здесь, чего я-то не ухожу, чего добиваюсь?..» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд всё более и более надрывал его сердце.

Но всё уж так и шло, одно к другому.

Ровно две минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян, то есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиною тому была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленное действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему: «Нехорошо, очень нехорошо, и даже совсем неприлично!» Конечно, неустойчивые пьяные думы не могли остановиться на одной точке: в нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, ниспровержение препятствий и отчаянная уве-

ренность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. «Что скажут? чем это кончится? что завтра-то будет, завтра, завтра!..»

Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него уже есть враги. «Это оттого, что я, верно, и давеча был пьян»,— подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его и что в этом уже нельзя сомневаться.

«И за что! за что!»— думал он.

За этим столом поместились все человек тридцать гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какою-то небрежною, злокачественною независимостью, кричали, говорили все вслух, провозглашали преждевременно тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один, какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке, упал со стула, как только сел за стол, и так и оставался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно влезть на стол и провозгласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был совершенно разночинный, хотя и нанимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала: был галантир, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь, и под конец всего бламанже. Из вин было: пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых пошел даже ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели вперемежку с дамами. Родительница Пселдонимова сидеть за столом не захотела; она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье, с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся выйти наконец из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Пселдонимова; но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительною. Но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольное опасение

и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собою, и именно против Ивана Ильича. По крайней мере ему самому так казалось, и в продолжение всего ужина он всё более и более в том убеждался. А именно: злокачествен был один господин с бородкой, какой-то вольный художник; он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему нашептывал. Другой, из учащихся, был, правда, совершенно уж пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен. Но особенною и видимою ненавистью сиял сотрудник «Головешки»: он так развалился на стуле, он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал! И хоть прочие гости и не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стишка и сделавшегося оттого либералом, даже, видимо, не любили его, но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был не кто другой, как сотрудник «Головешки».

Все это, конечно, действовало на него плачевным образом.

Особенно неприятно было и еще одно наблюдение: Иван Ильич совершенно убедился, что он начинает как-то неясно и затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться и, главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность; он снова начинал любить, любить всех, даже Пселдонимова, даже сотрудника «Головешки». Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть всё и помириться. Мало того: рассказать им всё откровенно, всё, всё, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями. Как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол и, главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших, и, наконец, в заключение, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к Пселдонимову, выпить у него две бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием.

«Правда, святая правда прежде всего и откровенность! Я откровенностью их дойму. Они мне поверят, я вижу ясно; они даже смотрят враждебно, но когда я открою им всё, я их покорю неот-

разимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы прокричать «ура!». Даже если б покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился, даже и весьма бы хорошо было. Новобрачную я поцелую в лоб; она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему недостает, так сказать, этого светского лоску... И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но... но я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и... и все они будут любить меня, и я выйду со славою!..»

Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность: именно плеваться. По крайней мере слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, не смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, но что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Пселдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив набок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить.

— Я сказал уже!— начал он как можно громче,— я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия... да, именно Россия... одним словом, вы понимаете, что я хочу ска-ка-зать... Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу-гуманность...

— Гу-гуманность!— раздалось на другом конце стола.

— Гу-гу!

— Тю-тю!

Иван Ильич было остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать: кто крикнул? Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.

— Гуманность! — упорно продолжал он,— и давеча... и именно давеча я говорил Степану Ники-ки-форовичу... да... что... что обновление, так сказать, вещей...

— Ваше превосходительство! — громко раздалось на другом конце стола.

— Что прикажете?— отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.

— Ровно ничего, ваше превосходительство, я увлекся, продолжайте! пра-дал-жайте!— послышался опять голос.

Ивана Ильича передернуло.

— Обновление, так сказать, этих самых вещей...

— Ваше превосходительство!— крикнул опять голос.

— Что вам угодно?

— Здравствуйте!

На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и оборотился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе как будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич оборотился к нему, офицер строго начал распекать крикуна.

— Что ты, чего орешь? Вывести тебя, вот что!

— Не про вас, ваше превосходительство, не про вас! продолжайте!— кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле,— продолжайте, я слушаю и очень, о-чень, о-чень вами доволен! Па-хвально, па-хвально!

— Пьяный мальчишка!— шепотом подсказал Пселдонимов.

— Вижу, что пьяный, но...

— Это я рассказал сейчас один забавный анекдот-с, ваше превосходительство!— начал офицер,— про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством; так вот он теперь и подражает ему. К каждому слову начальника он всё говорил; па-хвально, па-хвально! Его еще десять лет назад за это из службы выключили.

— Ка-кой же это поручик?

— Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест... Начальник родительским образом усовещивал; а тот ему: па-хвально, па-хвально! И странно: мужественный был офицер, девяти вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный.

— Значит... школьник. За школьничество можно бы и не так строго... Я, с своей стороны, готов простить...

— Медициной свидетельствовали, ваше превосходительство.

— Как! ана-то-мировали?

— Помилуйте, да ведь он был совершенно живой-с.

Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел.

— Господа, господа!— закричал он, на первое время даже почти не заикаясь,— я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже не живой... то есть умер... то есть я хочу сказать... что вы меня не любите... А между тем я люблю вас всех... да, и люблю Пор... Порфирия... Я унижаю себя, что так говорю...

В эту минуту преогромная салива[1] вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Пселдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его.

— Господа, это уж слишком!— прокричал он в отчаянии.

— Пьяный человек, ваше превосходительство,— снова было подсказал Пселдонимов.

— Порфирий! Я вижу, что вы... все... да! Я говорю, что я надеюсь... да, я вызываю всех сказать: чем я унизил себя?

Иван Ильич чуть не плакал.

— Ваше превосходительство, помилуйте-с!

— Порфирий, обращаюсь к тебе... Скажи, если я пришел... да... да, на свадьбу, я имел цель. Я хотел нравственно поднять... я хотел, чтоб чувствовали. Я обращаюсь ко всем: очень я унижен в ваших глазах или нет?

Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчанье, да еще на такой категорический вопрос. «Ну, что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать!»— мелькнуло в голове его превосходительства. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив ни мертв, а Пселдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся:

«А что-то мне за всё это завтра будет?»

Вдруг сотрудник «Головешки», уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества.

— Да-с!— закричал он громовым голосом,— да-с, вы унизили себя, да-с, вы ретроград... Рет-ро-град!

— Молодой человек, опомнитесь! с кем вы, так сказать, говорите,— яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места.

---

[1] с а л и в а *(франц.— salive)*— слюна.

— С вами, и, во-вторых, я не молодой человек... Вы пришли ломаться и искать популярности.

— Пселдонимов, что это!— вскричал Иван Ильич.

Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «браво, браво!».

Сотрудник продолжал кричать с неудержимою яростью:

— Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья, и я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа... Да, да, да!

— Пселдонимов, Пселдонимов!— кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца.

— Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться!— энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от тщедушного Пселдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери.

— Все вы подлецы!— кричал сотрудник,— я вас всех завтра же в «Головешке» окарикатурю!..

Все повскакали с мест.

— Ваше превосходительство, ваше превосходительство!— кричали Пселдонимов, его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала,— ваше превосходительство, успокойтесь!

— Нет, нет!— кричал генерал,— я уничтожен... я пришел... я хотел, так сказать, крестить. И вот за всё, за всё!

Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову, прямо в тарелку с бламанже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел...

Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновенья сохраняют они сознание и потом вдруг падают как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было уже около трех часов утра.

Главное дело в том, что обстоятельства Пселдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И покамест Иван Ильич лежит на полу, а Пселдонимов стоит над ним, в отчаянии теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов собственно о Порфирии Петровиче Пселдонимове.

Еще не далее как за месяц до своего брака он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда, месяцев пять до женитьбы, Пселдонимов, целый уже год погибавший в Петербурге, получил свое десятирублевое место, он было воскрес и телом и духом, но вскоре опять принизился обстоятельствами. На всем свете Пселдонимовых осталось только двое, он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали вдвоем на морозе и питались сомнительными матерьялами. Бывали дни, что Пселдонимов с кружкой сам ходил на Фонтанку за водой, чтоб там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей белье, а он месяца четыре сколачивал экономию, чтоб как-нибудь завести себе сапоги и шинелишку. И сколько бедствий он вынес в своей канцелярии: к нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане? Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но Пселдонимов был характера твердого. С виду он был и смирен и тих; образование имел самое маленькое, разговору от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно: мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли об чем-нибудь? Но взамен того в нем выработывалась какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нем было упорство муравьиное: у муравьев разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут созидать его, разорите другой раз — и другой раз начнут, и так далее без устали. Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьется дороги, устроит гнездо и, может быть, даже скопит и про запас. Одна только мать и любила его в целом свете и любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работящая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, может быть, еще лет пять или шесть, до перемены обстоятельств, если б не столкнулись они с отставным титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем и служившим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге с своим семейством. Пселдонимова он знал и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно небольшие, но они были; сколько их действительно было,— про это никто не знал, ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него две дочери, а так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран и, сверх того, больной человек, то и вздумалось ему вдруг выдать одну дочь за Пселдонимова: «Я, дескать, знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек». Млекопитаев что хотел, то и делал; сказано — сделано. Это был очень странный самодур. Большею частию он проводил время, сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни, что не мешало ему, однако ж, пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой; ему надобно было непременно кого-нибудь и беспрерывно мучить. Для этого он держал при себе несколько дальних родственниц: свою сестру, больную и сварливую; двух сестер жены своей, тоже злых и многоязычных; потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано одно ребро. Держал еще одну приживалку, обрусевшую немку, за талант ее рассказывать ему сказки из «Тысячи одной ночи». Всё удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их поминутно и на чем свет стоит, хотя те, не исключая и жены его, родившейся с зубной болью, не смели перед ним пикнуть слова. Он ссорил их между собою, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собою. Он очень обрадовался, когда старшая дочь его, бедствовавшая лет десять с каким-то офицером, своим мужем, и наконец овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми. Детей ее он терпеть не мог, но так как с появлением их увеличился матерьял, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен. Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в деревянном доме на Петербургской, недоедала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя и не жалел себе на водку; недосыпала, потому что старик страдал бессонницею и требовал развлечений. Одним словом, всё это бедствовало и проклинало судьбу свою. В это-то время Млекопитаев и наглядел Пселдонимова. Он был поражен его длинным носом и смиренным видом. Тщедушной и невзрачной младшей дочке его минуло тогда семнадцать лет. Она хотя и ходила когда-то в какую-то немецкую шýле[1], но из нее почти ничего, кроме азов, не вынесла. Затем росла, золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в содоме домашних

[1] шýле (*нем.*— Schule)— школа.

сплетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже хотелось. При людях была она бессловесна, а дома, возле маиньки и приживалок, зла и сверлива, как буравчик. Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. Старик сам предложил ее Пселдонимову. Как ни бедствовал тот, но, однако, попросил несколько времени на размышленье. Долго они вместе с матерью раздумывали. Но на невестино имя записывали дом, хоть и деревянный, хоть и одноэтажный и гаденький, но все-таки чего-нибудь стоивший. Сверх того, давали четыреста рублей,— когда-то их сам-то накопишь! «Я ведь к чему беру в дом человека?— кричал пьяный самодур.— Во-первых, для того, что все вы бабье, а мне надоело одно бабье. Я хочу, чтоб и Пселдонимов по моей дудке плясал, потому я ему благодетель. Во-вторых, потому беру, что вы все того не хотите и злитесь. Ну так вот назло вам и сделаю. Что сказал, то и сделаю! А ты, Порфирка, ее бей, когда женой тебе будет; в ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони, и клюку изготовлю...»

Пселдонимов молчал, но он уж решился. Их с матерью приняли в дом еще до свадьбы, обмыли, одели, обули, дали денег на свадьбу. Старик их покровительствовал, может быть, именно потому, что всё семейство на них злобствовало. Старуха Пселдонимова ему даже понравилась, так что он удерживался и над ней не шпынял. Впрочем, самого Пселдонимова заставил еще за неделю до свадьбы проплясать перед собой казачка. «Ну довольно, я хотел только видеть, не забываешься ли ты передо мной»,— сказал он по окончании танца. Денег он дал на свадьбу в обрез и созвал всех родственников и знакомых своих. Со стороны Пселдонимова был только сотрудник «Головешки» и Аким Петрович, почетный гость. Пселдонимов очень хорошо знал, что невеста к нему питает отвращение и что ей очень бы хотелось за офицера, а не за него. Но он всё переносил, уж такой у них уговор был с матерью. Весь свадебный день и весь вечер старик ругался скверными словами и пьянствовал. Вся семья по случаю свадьбы приютилась в задних комнатах и стеснилась там до смрада. Передние же комнаты предназначались для бала и ужина. Наконец, когда старик заснул, совершенно пьяный, часов в одиннадцать вечера, мать невесты, особенно злившаяся в этот день на мать Пселдонимова, решилась переменить гнев на милость и выйти к балу и к ужину. Появление Ивана Ильича всё перевернуло. Млекопитаева сконфузилась, обиделась и начала ругаться, зачем ее не предуведомили, что звали самого генерала. Ее уверяли, что он пришел сам, незваный,— она была

так глупа, что не хотела верить. Потребовалось шампанское. У матери Пселдонимова нашелся один только целковый, у самого Пселдонимова ни копейки. Надо было кланяться злой старухе Млекопитаевой, просить денег на одну бутылку, потом на другую. Ей представляли будущность служебных отношений, карьеру, усовещивали. Она дала наконец собственные деньги, но заставила Пселдонимова выпить такую чашу желчи и оцта, что он, уже неоднократно вбегая в комнатку, где приготовлено было брачное ложе, схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель, предназначенную для райских наслаждений, весь дрожа от бессильной злости. Да! Иван Ильич не знал, чего стоили две бутылки джаксона, выпитые им в этот вечер. Каковы же были ужас Пселдонимова, тоска и даже отчаяние, когда дело с Иваном Ильичом окончилось таким неожиданным образом. Опять представлялись хлопоты и, может быть, на целую ночь взвизги и слезы капризной новобрачной, укоры бестолковой невестиной родни. У него и без того уже голова болела, и без того уже чад и мрак застилали ему глаза. А тут Ивану Ильичу потребовалась помощь, надо было искать в три часа утра доктора или карету, чтобы свезти его домой, и непременно карету, потому что на ваньке в таком виде и такую особу нельзя было отправить домой. А где взять денег хотя бы для кареты? Млекопитаева, взбешенная тем, что генерал не сказал с ней двух слов и даже не посмотрел на нее за ужином, объявила, что у ней нет ни копейки. Может быть, и в самом деле не было ни копейки. Где взять? Что делать? Да, было отчего теребить себе волосы.

Между тем Ивана Ильича покамест перенесли на маленький кожаный диван, стоявший тут же в столовой. Покамест убирали со столов и разбирали их, Пселдонимов бросался во все углы занять денег, пробовал даже занять у прислуги, но ни у кого ничего не оказалось. Он даже рискнул было побеспокоить Акима Петровича, остававшегося дольше других. Но тот, хоть и добрый человек, услышав о деньгах, пришел в такое недоуменье и в такой даже испуг, что наговорил самой неожиданной дряни.

— В другое время я с удовольствием,— бормотал он,— а теперь... право, меня извините...

И, взяв шапку, поскорей бежал из дому. Один только добросердечный юноша, рассказывавший про сонник, еще пригодился на что-нибудь, да и то некстати. Он тоже оставался дольше всех, принимая сердечное участие в бедствиях Пселдонимова. Наконец, Пселдонимов, мать его и юноша решили на общем совете не посылать за доктором, а лучше послать за каретой и свезти больного домой, а покамест, до кареты, испробовать над ним

некоторые домашние средства, как-то: смачивать виски и голову холодной водой, прикладывать к темени льду и проч. За это уж взялась мать Пселдонимова. Юноша полетел отыскивать карету. Так как на Петербургской даже и ванек в этот час уже не было, то он отправился к извозчикам куда-то далеко на подворье, разбудил кучеров. Стали торговаться, говорили, что в такой час за карету и пяти рублей взять мало. Согласились, однако ж, на трех. Но когда, уже в исходе четвертого часа, юноша прибыл в нанятой карете к Пселдонимовым, у них уже давно переменилось решенье. Оказалось, что Иван Ильич, который был всё еще не в памяти, до того разболелся, до того стонал и метался, что переносить его и везти в таком состоянии домой стало совершенно невозможным и даже рискованным. «Еще что из этого выйдет?» — говорил совершенно обескураженный Пселдонимов. Что было делать? Возник новый вопрос. Если уж оставить больного дома, то куда же перенести его и где положить? Во всем доме было только две кровати: одна огромная, двуспальная, на которой спали старик Млекопитаев с супругою, и другая новокупленная, под орех, тоже двуспальная и назначенная для новобрачных. Все прочие обитатели, или, лучше сказать, обитательницы дома, спали на полу, вповалку, более на перинах, отчасти уже попортившихся и продушенных, то есть вовсе неприличных, да и тех было ровно в обрез; даже и того не было. Куда же положить больного? Перина-то бы еще, пожалуй, и нашлась, — можно было вытащить из-под кого-нибудь в крайнем случае, но где и на чем постлать? Оказалось, что постлать надо в зале, так как комната эта была отдаленнейшею от недр семейства и имела свой особый выход. Но на чем постлать? неужели на стульях? Известно, что на стульях стелют только одним гимназистам, когда они приходят с субботы на воскресенье домой, а для особы, как Иван Ильич, это было бы очень неуважительно. Что сказал бы он назавтра, увидя себя на стульях? Пселдонимов и слышать не хотел об этом. Оставалось одно: перенести его на брачное ложе. Это брачное ложе, как мы уже сказали, было устроено в маленькой комнатке, тотчас же подле столовой. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, новокупленный матрас, чистое белье, четыре подушки в розовом коленкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Одеяло было атласное, розовое, выстеганное узорами. Из золотого кольца сверху опускались кисейные занавески. Одним словом, всё было как следует, и гости, почти все перебывавшие в спальне, похвалили убранство. Новобрачная, хоть и терпеть не могла Пселдонимова, но в продолжение вечера несколько раз, и особенно украдкой, забегала сюда посмотреть. Каково же было ее негодование, ее злость, когда она узнала, что на ее брачное ложе хотят

перенести больного, заболевшего чем-то вроде холерины! Маменька новобрачной вступилась было за нее, бранилась, обещалась назавтра же жаловаться мужу; но Пселдонимов показал себя и настоял: Ивана Ильича перенесли, а новобрачным постлали в зале на стульях. Молодая хныкала, готова была щипаться, но ослушаться не посмела: у папаши был костыль, ей очень знакомый, и она знала, что папаша непременно завтра потребует кой в чем подробного отчета. В утешение ее перенесли в залу розовое одеяло и подушки в кисейных чехлах. В эту-то минуту и прибыл юноша с каретой; узнав, что карета уже не нужна, он ужасно испугался. Приходилось платить ему самому, а у него и гривенника еще никогда не было. Пселдонимов объявил свое полное банкротство. Пробовали уговорить извозчика. Но он начал шуметь и даже стучать в ставни. Чем это кончилось, подробно не знаю. Кажется, юноша отправился в этой карете пленником на Пески, в четвертую Рождественскую улицу, где он надеялся разбудить одного студента, заночевавшего у своих знакомых, и попытаться: нет ли у него денег? Был уже пятый час утра, когда молодых оставили и заперли в зале. У постели страждущего осталась на всю ночь мать Пселдонимова. Она приютилась на полу, на коврике, и накрылась шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно: с Иваном Ильичом сделалось ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сняла с него всё платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять. И, однако ж, несчастия этой ночи еще далеко не кончились.

Не прошло десяти минут, после того как молодых заперли одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и вмиг в комнату, еще темную, неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин во всевозможных дезабилье. Эти женщины были: мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, три ее тетки, приплелась даже и та, у которой было сломанное ребро. Даже кухарка была тут же, даже приживалка-немка, рассказывавшая сказки, из-под которой вытащили силой для новобрачных ее собственную перину, лучшую в доме и составлявшую всё ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже с четверть часа как пробрались из кухни через коридор

на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемые самым необъяснимым любопытством. Между тем кто-то наскоро зажег свечку, и всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержавшие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину только с краев, разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости; в этот раз она была до сердца обижена. Нравственно убитый Пселдонимов стоял как преступник, уличенный в злодействе. Он даже не пробовал оправдываться. Со всех сторон раздавались ахи и взвизги. На шум прибежала и мать Пселдонимова, но маинька новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала Пселдонимова странными и по большей части несправедливыми упреками на тему: «Какой ты, батюшка, муж после этого? Куда ты, батюшка, годен, после такого сраму?»— и прочее и, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность назавтра перед грозным отцом, потребующим отчета. За нею убрались и все, ахая и покивая головами своими. С Пселдонимовым осталась только мать его и попробовала его утешить. Но он немедленно прогнал ее от себя.

Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так как был босой и в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове. Порой, как бы машинально, он оглядывал кругом эту комнату, где еще недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. Окурки папирос и конфетные бумажки всё еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развалина брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом он просидел почти час. Ему приходили в голову всё тяжелые мысли, как например: что-то теперь ожидает его на службе? он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось в сей вечер. Приходил ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка, чтоб испытать его кротость. Сообразил он тоже, что Млекопитаев хоть и дал пятьдесят рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но четыреста рублей приданых и не думал еще отдавать, даже помину о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи. Задумывался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Он это уже успел заметить; думал он о семи бесах, сидевших в жене его, по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их... Конечно, он чувствовал себя в силах много перенести, но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих.

Так горевал Пселдонимов. Между тем огарок погасал. Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль Пселдонимова, отражал его в колоссальном виде на стене, с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал, издрогший и онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и, не поправляя ничего, не потушив огарка, даже не подложив под голову подушки, вполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым, мертвенным сном, каким, должно быть, спят приговоренные назавтра к торговой казни.

С другой стороны, что могло сравниться и с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Пралинский на брачном ложе несчастного Пселдонимова! Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. Сознание, хотя и едва мелькавшее в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если бы он и не приходил в сознание. Впрочем, всё еще мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать Пселдонимова — слышал ее незлобивые увещания вроде: «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится — слюбится», узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему: чаще всех представлялся ему Семен Иваныч, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иваныч, а нос Пселдонимова. Мелькали перед ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которое продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка, освещавшего комнату, и всё добивался мысленно: к чему служит это кольцо, зачем оно здесь, что означает? Он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить, да и та, видимо, его не понимала, как он ни добивался объяснить. Наконец, уже под утро, припадки прекратились, и он заснул, заснул крепко, без снов. Он проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щели ставен узкою полоскою, дрожал на

стене. Было около семи часов утра. Но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил всё, что с ним случилось с вечера; когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный [1] подвиг, свою речь за столом; когда представилось ему разом, с ужасающей ясностью всё, что может теперь из этого выйти, всё, что скажут теперь про него и подумают; когда он огляделся и увидал, наконец, до какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного,— о, тогда такой смертельный стыд, такие мучения сошли вдруг в его сердце, что он вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, увидал тут же на стуле свое платье, в порядке сложенное и уже вычищенное, схватил его и поскорее, торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, и шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько. Но вдруг отворилась дверь, и вошла старуха Пселдонимова, с глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце. Она поставила рукомойник и без дальних разговоров объявила, что умыться надобно непременно.

— Как же, батюшка, умойся, нельзя же не умывшись-то...

И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха. Он умылся. И долго потом в тяжелые минуты его жизни припоминалась ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка этого пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненный холодной водой, в которой еще плавали льдинки, и мыло, в розовой бумажке, овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буквами, копеек в пятнадцать ценою, очевидно, купленное для новобрачных, но которое пришлось почать Ивану Ильичу; и старуха с камчатным полотенцем на левом плече. Холодная вода освежила его, он утерся и, не сказав ни слова, не поблагодарив даже свою сестру милосердия, схватил шапку, подхватил на плеча шубу, поданную ему Пселдонимовой, и через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка и где кухарка, приподнявшись на своей подстилке, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник. Он думал, что на него все смотрят, что его все знают, все узнают...

[1] манкированный (*франц.*— manqué) — неудавшийся.

Восемь дней он не выходил из дому и не являлся в должность. Он был болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете. Были минуты, когда он было думал постричься в монахи. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое подземное пенье, отверзтый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры; но, очнувшись, он почти тотчас же сознавался, что всё это ужаснейший вздор и преувеличения, и стыдился этого вздора. Потом начинались нравственные припадки, имевшие в виду его existence manquée. Потом стыд снова вспыхивал в душе его, разом овладевал ею и всё выжигал и растравливал. Он содрогался, представляя себе разные картины. Что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию, какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь. Анекдот его пройдет в потомство. Он впадал даже иногда в такое малодушие, что готов был сейчас же ехать к Семену Ивановичу и просить у него прощения и дружбы. Сам себя он даже и не оправдывал, он порицал себя окончательно: он не находил себе оправданий и стыдился их.

Думал он тоже подать немедленно в отставку и так, просто, в уединении посвятить себя счастью человечества. Во всяком случае, надо было непременно переменить всех знакомых и даже так, чтоб искоренить всякое о себе воспоминание. Потом ему приходили мысли, что и это вздор и что при усиленной строгости с подчиненными всё дело еще можно поправить. Тогда он начинал надеяться и ободряться. Наконец, по прошествии целых восьми дней сомнений и муки, он почувствовал, что не может более выносить неизвестности, и un beau matin [1] решился отправиться в канцелярию.

Прежде, когда еще он сидел дома, в тоске, он тысячу раз представлял себе, как он войдет в свою канцелярию. С ужасом убеждался он, что непременно услышит за собою двусмысленный шепот, увидит двусмысленные лица, пожнет злокачественнейшие улыбки. Каково же было его изумление, когда на деле ничего этого не случилось. Его встретили почтительно; ему кланялись; все были серьезны; все были заняты. Радость наполнила его сердце, когда он пробрался к себе в кабинет.

Он тотчас же и пресерьезно занялся делом, выслушал некоторые доклады и объяснения, положил решения. Он чувствовал, что никогда еще он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почи-

[1] в одно прекрасное утро (*франц.*)

тают, что относятся к нему с уважением. Самая щекотливая мнительность не могла бы ничего заметить. Дело шло великолепно.

Наконец явился и Аким Петрович с какими-то бумагами. При появлении его что-то как будто кольнуло Ивана Ильича в самое сердце, но только на один миг. Он занялся с Аким Петровичем, толковал важно, указывал ему, как надо сделать, и разъяснял. Он заметил только, что он как будто избегает слишком долго глядеть на Акима Петровича или, лучше сказать, что Аким Петрович боялся глядеть на него. Но вот Аким Петрович кончил и стал собирать бумаги.

— А вот еще просьба есть,— начал он как можно суше,— чиновника Пселдонимова о переводе его в департамент... Его превосходительство Семен Иванович Шипуленко обещали ему место. Просят вашего милостивого содействия, ваше превосходительство.

— А, так он переходит,— сказал Иван Ильич и почувствовал, что огромная тяжесть отошла от его сердца. Он взглянул на Акима Петровича, и в это мгновение взгляды их встретились.

— Что ж, я с моей стороны... я употреблю,— отвечал Иван Ильич,— я готов.

Аким Петрович, видимо, хотел поскорей улизнуть. Но Иван Ильич вдруг, в порыве благородства, решился высказаться окончательно. На него, очевидно, опять нашло вдохновение.

— Передайте ему,— начал он, устремляя ясный и полный глубокого значения взгляд на Акима Петровича,— передайте Пселдонимову, что я ему не желаю зла; да, не желаю!.. Что, напротив, я готов даже забыть всё прошедшее, забыть всё, всё...

Но вдруг Иван Ильич осекся, смотря в изумлении на странное поведение Акима Петровича, который из рассудительного человека, неизвестно почему, оказался вдруг ужаснейшим дураком. Вместо того чтоб слушать и дослушать, он вдруг покраснел до последней глупости, начал как-то уторопленно и даже неприлично кланяться какими-то маленькими поклонами и вместе с тем пятиться к дверям. Весь вид его выражал желание провалиться сквозь землю или, лучше сказать, добраться поскорее до своего стола. Иван Ильич, оставшись один, встал в замешательстве со стула. Он смотрел в зеркало и не замечал лица своего.

— Нет, строгость, одна строгость и строгость!— шептал он почти бессознательно про себя, и вдруг яркая краска облила всё его лицо. Ему стало вдруг до того стыдно, до того тяжело, как не бывало в самые невыносимые минуты его восьмидневной болезни. «Не выдержал!»— сказал он про себя и в бессилии опустился на стул.



ВЕЧНЫЙ МУЖ

РАССКАЗ



I

Вельчанинов

Пришло лето — и Вельчанинов, сверх ожидания, остался в Петербурге. Поездка его на юг России расстроилась, а делу и конца не предвиделось. Это дело — тяжба по имению — принимало предурной оборот. Еще три месяца тому назад оно имело вид весьма несложный, чуть не бесспорный; но как-то вдруг всё изменилось. «Да и вообще всё стало изменяться к худшему!»— эту фразу Вельчанинов с злорадством и часто стал повторять про себя. Он употреблял адвоката ловкого, дорогого, известного и денег не жалел; но в нетерпении и от мнительности повадился заниматься делом и сам: читал и писал бумаги, которые сплошь браковал адвокат, бегал по присутственным местам, наводил справки и, вероятно, очень мешал всему; по крайней мере адвокат жаловался и гнал его на дачу. Но он даже и на дачу выехать не решился. Пыль, духота, белые петербургские ночи, раздражающие нервы,— вот чем наслаждался он в Петербурге. Квартира его была где-то у Большого театра, недавно нанятая им, и тоже не удалась; «всё не удавалось!» Ипохондрия его росла с каждым днем; но к ипохондрии он уже был склонен давно.

Это был человек много и широко поживший, уже далеко не молодой, лет тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта «старость»— как он сам выражался — пришла к нему «совсем почти неожиданно»; но он сам понимал, что состарелся скорее не количеством, а, так сказать, качеством лет и что если уж

начались его немощи, то скорее изнутри, чем снаружи. На взгляд он и до сих пор смотрел молодцом. Это был парень высокий и плотный, светло-рус, густоволос и без единой сединки в голове и в длинной, чуть не до половины груди, русой бороде; с первого взгляда как бы несколько неуклюжий и опустившийся; но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем господина, выдержанного отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смелы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брюзгливость и мешковатость. И даже до сих пор он был полон самой непоколебимой, самой великосветски нахальной самоуверенности, которой размера, может быть, и сам не подозревал в себе, несмотря на то что был человек не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и с несомненными дарованиями. Цвет лица его, открытого и румяного, отличался в старину женственною нежностью и обращал на него внимание женщин; да и теперь иной, взглянув на него, говорил: «Экой здоровенный, кровь с молоком!» И, однако ж, этот «здоровенный» был жестоко поражен ипохондрией. Глаза его, большие и голубые, лет десять назад имели тоже много в себе победительного; это были такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни сходился. Теперь, к сороковым годам, ясность и доброта почти погасли в этих глазах, уже окружившихся легкими морщинками; в них появились, напротив, цинизм не совсем нравственного и уставшего человека, хитрость, всего чаще насмешка и еще новый оттенок, которого не было прежде: оттенок грусти и боли,— какой-то рассеянной грусти, как бы беспредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда он оставался один. И странно, этот шумливый, веселый и рассеянный всего еще года два тому назад человек, так славно рассказывавший такие смешные рассказы, ничего так не любил теперь, как оставаться совершенно один. Он намеренно оставил множество знакомств, которых даже и теперь мог бы не оставлять, несмотря на окончательное расстройство своих денежных обстоятельств. Правда, тут помогло тщеславие: с его мнительностию и тщеславием нельзя было вынести прежних знакомств. Но и тщеславие его мало-помалу стало изменяться в уединении. Оно не уменьшилось, даже — напротив; но оно стало вырождаться в какое-то особого рода тщеславие, которого прежде не было: стало иногда страдать уже совсем от других причин, чем обыкновенно прежде,— от причин неожиданных и совершенно прежде немыслимых, от причин «более высших», чем до сих пор,— «если только можно так выразиться, если действительно есть причины высшие и низшие...» Это уже прибавлял он сам.

Да, он дошел и до этого; он бился теперь с какими-то причинами *высшими*, о которых прежде и не задумался бы. В сознании своем и по совести он называл высшими все «причины», над которыми (к удивлению своему) никак не мог про себя засмеяться,— чего до сих пор еще не бывало,— про себя, разумеется; о, в обществе дело другое! Он превосходно знал, что сойдись только обстоятельства — и назавтра же он, вслух, несмотря на все таинственные и благоговейные решения своей совести, преспокойно отречется от всех этих «высших причин» и сам, первый, подымет их на смех, разумеется не признаваясь ни в чем. И это было действительно так, несмотря на некоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеванную им в последнее время у обладавших им до сих пор «низших причин». Да и сколько раз сам он, вставая наутро с постели, начинал стыдиться своих мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу! (А он сплошь всё последнее время страдал бессонницей.) Давно уже он заметил, что становится чрезвычайно мнителен во всем, и в важном и в мелочах, а потому и положил было доверять себе как можно меньше. Но выдавались, однако же, факты, которых уж никак нельзя было не признать действительно существующими. В последнее время, иногда по ночам, его мысли и ощущения почти совсем переменялись в сравнении с всегдашними и большею частию отнюдь не походили на те, которые выпадали ему на первую половину дня. Это его поразило — и он даже посоветовался с известным доктором, правда, человеком ему знакомым; разумеется, заговорил с ним шутя. Он получил в ответ, что факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время бессонницы, и вообще по ночам, есть факт всеобщий между людьми, «сильно мыслящими и сильно чувствующими», что убеждения всей жизни иногда внезапно менялись под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы; вдруг ни с того ни с сего самые роковые решения предпринимались; но что, конечно, всё до известной меры — и если, наконец, субъект уже слишком ощущает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то бесспорно это признак, что уже образовалась болезнь; а стало быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего изменить радикально образ жизни, изменить диету или даже предпринять путешествие. Полезно, конечно, слабительное.

Вельчанинов дальше слушать не стал; но болезнь была ему совершенно доказана.

«Итак, всё это только болезнь, всё это «высшее» одна болезнь, и больше ничего!»— язвительно восклицал он иногда про себя. Очень уж ему не хотелось с этим согласиться.

Скоро, впрочем, и по утрам стало повторяться то же, что про-

исходило в исключительные ночные часы, но только с большею желчью, чем по ночам, со злостью вместо раскаяния, с насмешкой вместо умиления. В сущности, это были всё чаще и чаще приходившие ему на память, «внезапно и бог знает почему», иные происшествия из его прошедшей и давно прошедшей жизни, но приходившие каким-то особенным образом. Вельчанинов давно уже, например, жаловался на потерю памяти: он забывал лица знакомых людей, которые, при встречах, за это на него обижались; книга, прочитанная им полгода назад, забывалась в этот срок иногда совершенно. И что же?— несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чем он очень беспокоился) — всё, что касалось давно прошедшего, всё, что по десяти, по пятнадцати лет бывало даже совсем забыто,— всё это вдруг иногда приходило теперь на память, но с такою изумительною точностию впечатлений и подробностей, что как будто бы он вновь их переживал. Некоторые из припоминавшихся фактов были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудом, что они могли припомниться. Но это еще было не всё, да и у кого из широко поживших людей нет своего рода воспоминаний? Но дело в том, что всё это припоминавшееся возвращалось теперь как бы с заготовленной кем-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсем немыслимой точкой зрения на факт. Почему иные воспоминания казались ему теперь совсем преступлениями? И не в одних приговорах его ума было дело: своему мрачному, одиночному и больному уму он бы и не поверил; но доходило до проклятий и чуть ли не до слез, если и не наружных, так внутренних. Да он еще два года тому назад и не поверил бы, если б ему сказали, что он когда-нибудь заплачет! Сначала, впрочем, припоминалось больше не из чувствительного, а из язвительного: припоминались иные светские неудачи, унижения; вспоминалось о том, например, как его «оклеветал один интриган», вследствие чего его перестали принимать в одном доме,— как, например, и даже не так давно, он был положительно и публично обижен, а на дуэль не вызвал,— как осадили его раз одной преостроумной эпиграммой в кругу самых хорошеньких женщин, а он не нашелся, что отвечать. Припомнились даже два-три неуплаченные долга, правда, пустяшные, но долги чести и таким людям, с которыми он перестал водиться и об которых уже говорил дурно. Мучило его тоже (но только в самые злые минуты) воспоминание о двух глупейшим образом промотанных состояниях, из которых каждое было значительное. Но скоро стало припоминаться и из «высшего».

Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась ему забытая — и в высочайшей степени забытая им — фигура добренького одного старичка чиновника, седенького и смешного, оскорбленного им когда-то, давным-давно, публично и безнаказанно и единственно из одного фанфаронства: из-за того только, чтоб не пропал даром один смешной и удачный каламбур, доставивший ему славу и который потом повторяли. Факт был до того им забыт, что даже фамилии этого старичка он не мог припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключения в непостижимой ясности. Он ярко припомнил, что старик тогда заступался за дочь, жившую с ним вместе и засидевшуюся в девках и про которую в городе стали ходить какие-то слухи. Старичок стал было отвечать и сердиться, но вдруг заплакал навзрыд при всем обществе, что произвело даже некоторое впечатление. Кончили тем, что для смеха его напоили тогда шампанским и вдоволь насмеялись. И когда теперь припомнил «ни с того ни с сего» Вельчанинов о том, как старикашка рыдал и закрывался руками как ребенок, то ему вдруг показалось, что как будто он никогда и не забывал этого. И странно: ему всё это казалось тогда очень смешным; теперь же — напротив, и именно подробности, именно закрывание лица руками. Потом он припомнил, как, единственно для шутки, оклеветал одну прехорошенькую жену одного школьного учителя и клевета дошла до мужа. Вельчанинов скоро уехал из этого городка и не знал, чем тогда кончились следствия его клеветы, но теперь он стал вдруг воображать, чем кончились эти следствия,— и бог знает до чего бы дошло его воображение, если б вдруг не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминание об одной девушке, из простых мещанок, которая даже и не нравилась ему и которой, признаться, он и стыдился, но с которой, сам не зная для чего, прижил ребенка, да так и бросил ее вместе с ребенком, даже не простившись (правда, некогда было), когда уехал из Петербурга. Эту девушку он разыскивал потом целый год, но уже никак не мог отыскать. Впрочем, таких воспоминаний оказывались чуть не сотни — и так даже, что как будто каждое воспоминание тащило за собою десятки других. Мало-помалу стало страдать и его тщеславие.

Мы сказали уже, что тщеславие его выродилось в какое-то особенное. Это было справедливо. Минутами (редкими, впрочем) он доходил иногда до такого самозабвения, что не стыдился даже того, что не имеет своего экипажа, что слоняется пешком по присутственным местам, что стал несколько небрежен в костюме,— и случись, что кто-нибудь из старых знакомых обмерил бы его насмешливым взглядом на улице или просто вздумал бы не узнать, то, право, у него достало бы настолько высокомерия, чтоб даже и не поморщиться. Серьезно не поморщиться, вправду, а не то что для одного виду. Разумеется, это бывало редко, это были только минуты самозабвения и раздражения, но все-

таки тщеславие его стало мало-помалу удаляться от прежних поводов и сосредоточиваться около одного вопроса, беспрерывно приходившего ему на ум.

«Вот ведь,— начинал он думать иногда сатирически (а он всегда почти, думая о себе, начинал с сатирического),— вот ведь кто-то там заботится же об исправлении моей нравственности и посылает мне эти проклятые воспоминания и «слезы раскаяния». Пусть, да ведь попусту! ведь всё стрельба холостыми зарядами! Ну не знаю ли я наверно, вернее чем наверно, что, несмотря на все эти слезные раскаяния и самоосуждения, во мне нет ни капельки самостоятельности, несмотря на все мои глупейшие сорок лет! Ведь случись завтра же такое же искушение, ну сойдись, например, опять обстоятельства так, что мне выгодно будет слух распустить, будто бы учительша от меня подарки принимала,— и я ведь наверное распущу, не дрогну,— и еще хуже, пакостнее, чем в первый раз, дело выйдет, потому что этот раз будет уже второй раз, а не первый. Ну оскорби меня опять, сейчас, этот князек, единственный сын у матери и которому я одиннадцать лет тому назад ногу отстрелил,— и я тотчас же его вызову и посажу опять на деревяшку. Ну не холостые ли, стало быть, заряды, и что в них толку! и для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться с собой прилично не умею!»

И хоть не повторялось опять факта с учительшей, хоть не сажал он никого на деревяшку, но одна мысль о том, что это непременно должно было бы повториться, если б сошлись обстоятельства, почти убивала его... иногда. Не всегда же в самом деле страдать воспоминаниями; можно отдохнуть и погулять — в антрактах.

Так Вельчанинов и делал: он готов был погулять в антрактах; но все-таки чем дальше, тем неприятнее становилось его житье в Петербурге. Подходит уж и июль. Мелькала в нем иногда решимость бросить всё и самую тяжбу и уехать куда-нибудь, не оглядываясь, как-нибудь вдруг, нечаянно, хоть туда же в Крым например. Но через час, обыкновенно, он уже презирал свою мысль и смеялся над ней: «Эти скверные мысли ни на каком юге не прекратятся, если уж раз начались и если я хоть сколько-нибудь порядочный человек, а стало быть, нечего и бежать от них, да и незачем».

«Да и к чему бежать,— продолжал он философствовать с горя,— здесь так пыльно, так душно, в этом доме так всё запачкано; в этих присутствиях, по которым я слоняюсь, между всеми этими деловыми людьми — столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей заботы; во всем этом народе, оставшемся в городе, на всех этих лицах, мелькающих с утра до вечера,—

так наивно и откровенно рассказано всё их себялюбие, всё их простодушное нахальство, вся трусливость их душонок, вся куриность их сердчишек,— что, право, тут рай ипохондрику, самым серьезным образом говоря! Всё откровенно, всё ясно, всё не считает даже нужным и прикрываться, как где-нибудь у наших барынь на дачах или на водах за границей; а стало быть, всё гораздо достойнее полнейшего уважения за одну только откровенность и простоту... Никуда не уеду! Лопну здесь, а никуда не уеду!..»

II

Господин с крепом на шляпе

Было третье июля. Духота и жар стояли нестерпимые. День для Вельчанинова выдался самый хлопотливый: всё утро пришлось ходить и разъезжать, а в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника, на его даче, где-то на Черной речке, и захватить его неожиданно дома. Часу в шестом Вельчанинов вошел наконец в один ресторан (весьма сомнительный, но французский) на Невском проспекте, у Полицейского моста, сел в своем обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед.

Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертвой, благоразумно им приносимой расстроенным своим обстоятельствам. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однако же, всё до последней крошки — и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел трое суток. «Это что-то болезненное»,— бормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. Завозись теперь как-нибудь обедавший с ним рядом сосед или не пойми его с первого слова прислуживавший ему мальчишка — и он, так умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым, наверно бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю.

Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его: в это мгновение он — и бог знает каким процессом — вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней сряду, всё последнее время, бог знает

как привязалась и бог знает почему не хотела никак отвязаться; теперь же он сразу всё разглядел и понял, как свои пять пальцев.

— Это всё эта шляпа!— пробормотал он как бы вдохновенный,— единственно одна только эта проклятая круглая шляпа, с этим мерзким траурным крепом, *всему* причиною!

Он стал думать — и чем далее вдумывался, тем становился угрюмее и тем удивительнее становилось в его глазах «всё происшествие».

«Но... но какое же тут, однако, происшествие?— протестовал было он, не доверяя себе,— есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие?»

Всё дело состояло вот в чем: почти уже тому две недели (по-настоящему он не помнил, но, кажется, было две недели), как встретил он в первый раз, на улице, где-то на углу Подьяческой и Мещанской, одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного, прошел он скоро, но посмотрел на Вельчанинова как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере физиономия его показалась знакомою Вельчанинову. Он, очевидно, когда-то и где-то встречал ее. «А впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни — всех не упомнишь!» Пройдя шагов двадцать, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на всё первое впечатление. А впечатление, однако, осталось на целый день — и довольно оригинальное: в виде какой-то беспредметной, особенной злобы. Он теперь, через две недели, всё это припоминал ясно; припоминал тоже, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба,— и не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречей. Но господин сам поспешил о себе напомнить и на другой день опять столкнулся с Вельчаниновым на Невском проспекте и опять как-то странно посмотрел на него. Вельчанинов плюнул, но, плюнув, тотчас же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу беспредметное и бесцельное отвращение. «Да, я действительно его где-то встречал»,— пробормотал он задумчиво, уже полчаса спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа; даже дурной сон какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его — один только давешний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз вспоминал его. Даже разозлился мимоходом, что «такая дрянь» смеет так долго ему вспоминаться; приписать же ему всё свое волнение, наверно, почел бы даже унизительным, если б только мысль об

том пришла ему в голову. Два дня спустя опять встретились, в толпе, при выходе с одного невского парохода. В этот, третий, раз Вельчанинов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый и теснимый толпой; кажется, даже «осмелился» протянуть к нему руку; может быть, даже вскрикнул и окликнул его по имени. Последнего, впрочем, Вельчанинов не расслышал ясно, но... «кто же, однако, эта каналья и почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнаёт и если так ему хочется подойти?»— злобно подумал он, садясь на извозчика и отправляясь к Смольному монастырю. Через полчаса он уже спорил и шумел с своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. «Уж не разливается ли желчь?»— мнительно спрашивал он себя, глядясь в зеркало.

Это была третья встреча. Потом дней пять сряду решительно «никто» не встречался, а об «канальe» и слух замер. А между тем нет-нет да и вспомнится господин с крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчанинов: «Что мне тошно по нем, что ли? Гм!.. А тоже, должно быть, у него много дела в Петербурге,— и по ком это у него креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его не узнаю. И зачем эти люди надевают креп? К ним как-то нейдет... Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узна́ю...»

И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое из всех сил стараешься припомнить: знаешь его очень хорошо — и знаешь про то, что именно оно означает, около того ходишь; но вот никак не хочет слово припомниться, как ни бейся над ним!

«Это было... Это было давно... и это было где-то... Тут было... тут было...— ну, да черт с ним совсем, что тут было и не было!..— злобно вскричал он вдруг.— И стоит ли об эту каналью так пакоститься и унижаться!..»

Он рассердился ужасно; но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и «ужасно»,— ему стало чрезвычайно неприятно: кто-то как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился:

«Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь... ни с того ни с сего... при одном воспоминании...» Он не докончил своей мысли.

А на другой день рассердился еще пуще, но в этот раз ему показалось, что есть за что и что он совершенно прав; «дерзость была неслыханная»: дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин с крепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчанинов только что поймал на улице того самого статского

советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно, потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчанинову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая с своей стороны встретиться с Вельчаниновым; обрадовавшись, что наконец-таки с ним столкнулся, Вельчанинов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы и выронил бы как-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко; но седой хитрец был тоже себе на уме, отсмеивался и отмалчивался,— и вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчанинова вдруг отличил на противуположном тротуаре улицы господина с крепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих; он следил за ними — это было очевидно — и, кажется, даже подсмеивался.

«Черт возьми!— взбесился Вельчанинов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого «нахала»,— черт возьми, шпионит он, что ли, за мной! Он, очевидно, следит за мной! Нанят, что ли, кем-нибудь и... и... и, ей-богу же, он подсмеивался! Я, ей-богу, исколочу его... Жаль только, что я хожу без палки! Я куплю палку! Я этого так не оставлю! Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой?»

Наконец,— ровно три дня спустя после этой (четвертой) встречи,— мы застаем Вельчанинова в его ресторане, как мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и сам он, несмотря на всю гордость свою. Принужден же был он наконец догадаться, сопоставив все обстоятельства, что всей хандры его, всей этой *особенной* тоски его и всех его двухнедельных волнений — причиною был не кто иной, как этот самый траурный господин, «несмотря на всю его ничтожность».

«Пусть я ипохондрик,— думал Вельчанинов,— и, стало быть, из мухи готов слона сделать, но, однако же, легче ль мне оттого, что всё это, *может быть*, только одна фантазия? Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь это... ведь это...»

Действительно, в этой сегодняшней (пятой) встрече, которая так взволновала Вельчанинова, слон явился совсем почти мухой: господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчанинова и не показывая, как прежде, вида, что его узнаёт,— а, напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтоб его самого не заметили. Вельчанинов оборотился и закричал ему во всё горло:

— Эй, вы! креп на шляпе! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?

Вопрос (и весь крик) был очень бестолков. Но Вельчанинов догадался об этом, уже прокричав. На крик этот — господин оборотился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся, хотел было что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости и вдруг — повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчанинов с удивлением смотрел ему вслед.

«А что?— подумал он,— что, если и в самом деле не он ко мне, а я, напротив, к нему пристаю, и вся штука в этом?»

Пообедав, он поскорее отправился на дачу к чиновнику. Чиновника не застал; ответили, что «с утра не возвращались, да вряд ли и возвратятся сегодня раньше третьего или четвертого часу ночи, потому что остались в городе у именинника». Уж это было до того «обидно», что, в первой ярости, Вельчанинов положил было отправиться к имениннику и даже в самом деле поехал; но, сообразив на пути, что заходит далеко, отпустил середи дороги извозчика и потащился к себе пешком, к Большому театру. Он чувствовал потребность моциона. Чтоб успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу; а чтоб заснуть, надо было по крайней мере хоть устать. Таким образом, он добрался к себе уже в половине одиннадцатого, ибо путь был очень не малый,— и действительно очень устал.

Нанятая им в марте месяце квартира его, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь сам перед собою, что «всё это на походе» и что он «застрял» в Петербурге нечаянно, через эту «проклятую тяжбу»,— эта квартира его была вовсе не так дурна и не неприлична, как он сам отзывался о ней. Вход был действительно несколько темноват и «запачкан», из-под ворот; но самая квартира, во втором этаже, состояла из двух больших, светлых и высоких комнат, отделенных одна от другой темною переднею и выходивших, таким образом, одна на улицу, другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор, прилегал сбоку небольшой кабинет, назначавшийся служить спальней; но у Вельчанинова валялись в нем в беспорядке книги и бумаги; спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержанная, и находились, кроме того, некоторые даже дорогие вещи — осколки прежнего благосостояния: фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бухарские ковры; уцелели даже две недурные картины; но всё было в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено, с тех пор как прислуживавшая ему девушка, Пела-

гея, уехала на побывку к своим родным в Новгород и оставила его одного. Этот странный факт одиночной и девичьей прислуги у холостого и светского человека, всё еще желавшего соблюдать джентльменство, заставлял почти краснеть Вельчанинова, хотя этой Пелагеей он был очень доволен. Эта девушка определилась к нему в ту минуту, как он занял эту квартиру весной, из знакомого семейного дома, отбывшего за границу, и завела у него порядок. Но с отъездом ее он уже другой женской прислуги нанять не решился; нанимать же лакея на короткий срок не стоило, да он и не любил лакеев. Таким образом и устроилось, что комнаты его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой он и ключ оставлял, выходя со двора, и которая ровно ничего не делала, деньги брала и, кажется, воровала. Но он уже на всё махнул рукой и даже был тем доволен, что дома остается теперь совершенно один. Но всё до известной меры — и нервы его решительно не соглашались иногда, в иные желчные минуты, выносить всю эту «пакость», и, возвращаясь к себе домой, он почти каждый раз с отвращением входил в свои комнаты.

Но в этот раз он едва дал себе время раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать и во что бы то ни стало «сию же минуту» заснуть. И странно, он вдруг заснул, только что голова успела дотронуться до подушки; этого не бывало с ним почти уже с месяц.

Он проспал около трех часов, но сном тревожным; ему снились какие-то странные сны, какие снятся в лихорадке. Дело шло об каком-то преступлении, которое он будто бы совершил и утаил и в котором обвиняли его в один голос беспрерывно входившие к нему откудова-то люди. Толпа собралась ужасная, но люди всё еще не переставали входить, так что и дверь уже не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточился наконец на одном странном человеке, каком-то очень ему когда-то близком и знакомом, который уже умер, а теперь почему-то вдруг тоже вошел к нему. Всего мучительнее было то, что Вельчанинов не знал, что это за человек, позабыл его имя и никак не мог вспомнить; он знал только, что когда-то его очень любил. От этого человека как будто и все прочие вошедшие люди ждали самого главного слова: или обвинения, или оправдания Вельчанинова, и все были в нетерпении. Но он сидел неподвижно за столом, молчал и не хотел говорить. Шум не умолкал, раздражение усиливалось, и вдруг Вельчанинов, в бешенстве, ударил этого человека за то, что он не хотел говорить, и почувствовал от этого странное наслаждение. Сердце его замерло от ужаса и от страдания за свой поступок, но в этом-то замиранье и заключалось наслаждение. Совсем остервенясь, он ударил в

другой и в третий раз, и в каком-то опьянении от ярости и от страху, дошедшем до помешательства, но заключавшем тоже в себе бесконечное наслаждение, он уже не считал своих ударов, но бил не останавливаясь. Он хотел всё, всё *это* разрушить. Вдруг что-то случилось; все страшно закричали и обратились, выжидая, к дверям, и в это мгновение раздались звонкие три удара в колокольчик, но с такой силой, как будто его хотели сорвать с дверей. Вельчанинов проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям; он был совершенно убежден, что удар в колокольчик — не сон и что действительно кто-то позвонил к нему сию минуту. «Было бы слишком неестественно, если бы такой ясный, такой действительный, осязательный звон приснился мне только во сне!»

Но, к удивлению его, и звон колокольчика оказался тоже сном. Он отворил дверь и вышел в сени, заглянул даже на лестницу — никого решительно не было. Колокольчик висел неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, он воротился в комнату. Зажигая свечу, он вспомнил, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замок и на крюк. Он и прежде, возвращаясь домой, часто забывал запирать дверь на ночь, не придавая делу особенной важности. Пелагея несколько раз за это ему выговаривала. Он воротился в переднюю запереть двери, еще раз отворил их и посмотрел в сенях и наложил только изнутри крючок, а ключ в дверях повернуть все-таки поленился. Часы ударили половину третьего; стало быть, он спал три часа.

Сон до того взволновал его, что он уже не захотел лечь сию минуту опять и решил с полчаса походить по комнате — «время выкурить сигару». Наскоро одевшись, он подошел к окну, приподнял толстую штофную гардину, а за ней белую стору. На улице уже совсем рассвело. Светлые летние петербургские ночи всегда производили в нем нервное раздражение и в последнее время только помогали его бессоннице, так что он, недели две назад, нарочно завел у себя на окнах эти толстые штофные гардины, не пропускавшие свету, когда их совсем опускали. Впустив свет и забыв на столе зажженную свечку, он стал расхаживать взад и вперед всё еще с каким-то тяжелым и больным чувством. Впечатление сна еще действовало. Серьезное страдание о том, что он мог поднять руку на этого человека и бить его, продолжалось.

— А ведь этого и человека-то нет и никогда не бывало, всё сон, чего же я ною?

С ожесточением, и как будто в этом совокуплялись все заботы его, он стал думать о том, что решительно становится болен, «больным человеком».

Ему всегда было тяжело сознаваться, что он стареет или хи-

леет, и со злости он в дурные минуты преувеличивал и то и другое, нарочно, чтоб подразнить себя.

— Старчество! совсем стареюсь,— бормотал он, прохаживаясь,— память теряю, привидения вижу, сны, звенят колокольчики... Черт возьми! я по опыту знаю, что такие сны всегда лихорадку во мне означали... Я убежден, что и вся эта «история» с этим крепом — тоже, может быть, сон. Решительно я вчера правду подумал: я, я к нему пристаю, а не он ко мне! Я поэму из него сочинил, а сам под стол от страху залез. И почему я его канальей зову? Человек, может быть, очень порядочный. Лицо, правда, неприятное, хотя ничего особенно некрасивого нет; одет, как и все. Взгляд только какой-то... Опять я за свое! я опять об нем!! и какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли, я не могу без этого... висельника?

Между прочими вскакивавшими в его голову мыслями одна тоже больно уязвила его: он вдруг как бы убедился, что этот господин с крепом был когда-то с ним знаком по-приятельски и теперь, встречая его, над ним смеется, потому что знает какой-нибудь его прежний большой секрет и видит его теперь в таком унизительном положении. Машинально подошел он к окну, чтоб отворить его и дохнуть ночным воздухом, и — и вдруг весь вздрогнул: ему показалось, что перед ним внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное.

Окна он еще не успел отворить, но поскорей скользнул за угол оконного откоса и притаился: на пустынном противуположном тротуаре он вдруг увидел, прямо перед домом, господина с крепом на шляпе. Господин стоял на тротуаре лицом к его окнам, но, очевидно, не замечая его, и любопытно, как бы что-то соображая, выглядывал дом. Казалось, он что-то обдумывал и как бы на что-то решался; приподнял руку и как будто приставил палец ко лбу. Наконец решился: бегло огляделся кругом и, на цыпочках, крадучись, стал поспешно переходить через улицу. Так и есть: он прошел в их ворота, в калитку (которая летом иной раз до трех часов не запиралась засовом). «Он ко мне идет»,— быстро промелькнуло у Вельчанинова, и вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал он в переднюю к дверям и — затих перед ними, замер в ожидании, чуть-чуть наложив вздрагивавшую правую руку на заложенный им давеча дверной крюк и прислушиваясь изо всей силы к шороху ожидаемых шагов на лестнице.

Сердце его до того билось, что он боялся прослушать, когда взойдет на цыпочках незнакомец. Факта он не понимал, но ощущал всё в какой-то удесятеренной полноте. Как будто давешний сон слился с действительностию. Вельчанинов от природы был смел. Он любил иногда доводить до какого-то щегольства свое

бесстрашие в ожидании опасности — даже если на него и никто не глядел, а только любуясь сам собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешний ипохондрик и мнительный нытик преобразился совершенно; это был уже вовсе не тот человек. Нервный, неслышный смех порывался из его груди. Из-за затворенной двери он угадывал каждое движение незнакомца.

«А! вот он всходит, взошел, осматривается, прислушивается вниз на лестницу; чуть дышит, крадется... а! взялся за ручку, тянет, пробует! рассчитывал, что у меня не заперто! Значит, знал, что я иногда запереть забываю! Опять за ручку тянет; что ж он думает, что крючок соскочит? Расстаться жаль! Уйти жаль попусту?»

И действительно, всё так, наверно, и должно было происходить, как ему представлялось: кто-то действительно стоял за дверьми и тихо, неслышно пробовал замок и потягивал за ручку и,— «уж разумеется, имел свою цель». Но у Вельчанинова уже было готово решение задачи, и он с каким-то восторгом выжидал мгновения, изловчался и примеривался: ему неотразимо захотелось вдруг снять крюк, вдруг отворить настежь дверь и очутиться глаз на глаз с «страшилищем». «А что, дескать, вы здесь делаете, милостивый государь?»

Так и случилось; улучив мгновение, он вдруг снял крюк, толкнул дверь и — почти наткнулся на господина с крепом на шляпе.

III

Павел Павлович Трусоцкий

Тот как бы онемел на месте. Оба стояли друг против друга, на пороге, и оба неподвижно смотрели друг другу в глаза. Так прошло несколько мгновений, и вдруг — Вельчанинов узнал своего гостя!

В то же время и гость, видимо, догадался, что Вельчанинов совершенно узнал его: это блеснуло в его взгляде. В один миг всё лицо его как бы растаяло в сладчайшей улыбке.

— Я, наверно, имею удовольствие говорить с Алексеем Ивановичем?— почти пропел он нежнейшим и до комизма не подходящим к обстоятельствам голосом.

— Да неужели же вы Павел Павлович Трусоцкий?— выговорил наконец и Вельчанинов с озадаченным видом.

— Мы были с вами знакомы лет девять назад в Т., и — если только позволите мне припомнить — были знакомы дружески.

— Да-с... положим-с... но — теперь три часа, и вы целых десять минут пробовали, заперто у меня или нет...

— Три часа!— вскрикнул гость, вынимая часы и даже горестно удивившись,— так точно: три! Извините, Алексей Иванович, я бы должен был, входя, сообразить; даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на днях, а теперь...

— Э, нет! уж если объясняться, так не угодно ли сию же минуту!— спохватился Вельчанинов.— Милости просим сюда, через порог; в комнаты-с. Вы ведь, конечно, сами в комнаты намеревались войти, а не для того только явились ночью, чтоб замки пробовать...

Он был и взволнован и вместе с тем как бы опешен и чувствовал, что не может сообразиться. Даже стыдно стало: ни тайны, ни опасности — ничего не оказалось из всей фантасмагории; явилась только глупая фигура какого-то Павла Павловича. Но, впрочем, ему совсем не верилось, что это так просто; он что-то смутно и со страхом предчувствовал. Усадив гостя в кресла, он нетерпеливо уселся на своей постели, на шаг от кресел, принагнулся, уперся ладонями в свои колени и раздражительно ждал, когда тот заговорит. Он жадно его разглядывал и припоминал. Но странно: тот молчал, совсем, кажется, и не понимая, что немедленно «обязан» заговорить; напротив того, сам как бы выжидавшим чего-то взглядом смотрел на хозяина. Могло быть, что он просто робел, ощущая спервоначалу некоторую неловкость, как мышь в мышеловке; но Вельчанинов разозлился.

— Что ж вы!— вскричал он.— Ведь вы, я думаю, не фантазия и не сон! В мертвецы, что ли, вы играть пожаловали? Объяснитесь, батюшка!

Гость зашевелился, улыбнулся и начал осторожно: «Сколько я вижу, вас, прежде всего, даже поражает, что я пришел в такой час и — при особенных таких обстоятельствах-с... Так что, помня всё прежнее и то, как мы расстались-с,— мне даже теперь странно-с... А впрочем, я даже и не намерен был заходить-с, и если уж так вышло, то — нечаянно-с...»

— Как нечаянно! да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали!

— Ах, вы видели!— ну так вы, пожалуй, теперь больше моего про всё это знаете-с! Но я вас только раздражаю... Вот тут что-с: я приехал сюда уже недели с три, по своему делу... Я ведь Павел Павлович Трусоцкий, вы ведь меня сами признали-с. Дело мое в том, что я хлопочу о моем перемещении в другую губернию и в другую службу-с и на место с значительным повышением... Но, впрочем, всё это тоже не то-с!.. Главное, если хотите, в том, что я здесь слоняюсь вот уже третью неделю и, кажется, сам затягиваю мое дело нарочно, то есть о перемещении-то-с, и, право, если даже оно и выйдет, то я, чего доброго, и сам забуду, что оно вышло-с, и не выеду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель и как бы даже радуясь, что ее потерял — в моем настроении-с...

— В каком это настроении?— хмурился Вельчанинов.

Гость поднял на него глаза, поднял шляпу и уже с твердым достоинством указал на креп.

— Да — вот-с в каком настроении!

Вельчанинов тупо смотрел то на креп, то в лицо гостю. Вдруг румянец залил мгновенно его щеки, и он заволновался ужасно.

— Неужели Наталья Васильевна!

— Она-с! Наталья Васильевна! В нынешнем марте... Чахотка и почти вдруг-с, в какие-нибудь два-три месяца! И я остался — как вы видите!

Проговорив это, гость в сильном чувстве развел руки в обе стороны, держа в левой на отлете свою шляпу с крепом, и глубоко наклонил свою лысую голову, секунд по крайней мере на десять.

Этот вид и этот жест вдруг как бы освежили Вельчанинова; насмешливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губам,— но покамест на одно только мгновение: известие о смерти этой дамы (с которой он был так давно знаком и так давно уже успел позабыть ее) произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатление.

— Возможно ли это!— бормотал он первые попавшиеся на язык слова.— И почему же вы прямо не зашли и не объявили?

— Благодарю вас за участие, вижу и ценю его, несмотря...

— Несмотря?

— Несмотря на столько лет разлуки, вы отнеслись сейчас к моему горю, и даже ко мне, с таким совершенным участием, что я, разумеется, ощущаю благодарность. Вот это только я и хотел заявить-с. И не то чтобы я сомневался в друзьях моих, я и здесь, даже сейчас, могу отыскать самых искренних друзей-с (взять только одного Степана Михайловича Багаутова), но ведь нашему с вами, Алексей Иванович, знакомству (пожалуй, дружбе — ибо с признательностию вспоминаю) прошло девять лет-с, к нам вы не возвращались, писем обоюдно не было...

Гость пел, как по нотам, но всё время, пока изъяснялся, глядел в землю, хотя, конечно, всё видел и вверху. Но и хозяин уже успел немного сообразиться.

С некоторым весьма странным впечатлением, всё более и более усиливавшимся, прислушивался и приглядывался он к Павлу Павловичу, и вдруг, когда тот приостановился,— самые пестрые и неожиданные мысли неожиданно хлынули в его голову.

— Да отчего же я вас всё не узнавал до сих пор?— вскричал он оживляясь.— Ведь мы раз пять на улице сталкивались!

— Да; и я это помню; вы мне всё попадались-с,— раза два, даже, пожалуй, и три...

— То есть — это *вы* мне *всё* попадались, а не я вам!

Вельчанинов встал и вдруг громко и совсем неожиданно засмеялся. Павел Павлович приостановился, посмотрел внимательно, но тотчас же опять стал продолжать:

— А что вы меня не признали, то, во-первых, могли позабыть-с, и, наконец, у меня даже оспа была в этот срок и оставила некоторые следы на лице.

— Оспа? Да ведь и в самом же деле у него оспа была! да как это вас...

— Угораздило? Мало ли чего не бывает, Алексей Иванович, нет-нет да и угораздит!

— Только всё-таки это ужасно смешно. Ну, продолжайте, продолжайте,— друг дорогой!

— Я же хоть и встречал тоже вас-с...

— Стойте! Почему вы сказали сейчас «угораздило»? Я хотел гораздо вежливей выразиться. Ну, продолжайте, продолжайте!

Почему-то ему всё веселее и веселее становилось. Потрясающее впечатление совсем заменилось другим.

Он быстрыми шагами ходил по комнате взад и вперед.

— Я же хоть и встречал тоже вас-с и даже, отправляясь сюда, в Петербург, намерен был непременно вас здесь поискать, но, повторяю, я теперь в таком настроении духа... и так умственно разбит с самого с марта месяца...

— Ах да! разбит с марта месяца... Постойте, вы не курите?

— Я ведь, вы знаете, при Наталье Васильевне...

— Ну да, ну да; а с марта-то месяца?

— Папиросочку разве.

— Вот папироска; закуривайте и — продолжайте! продолжайте, вы ужасно меня...

И, закурив сигару, Вельчанинов быстро уселся опять на постель. Павел Павлович приостановился.

— Но в каком вы сами-то, однако же, волнении, здоровы ли вы-с?

— Э, к черту об моем здоровье!— обозлился вдруг Вельчанинов.— Продолжайте!

С своей стороны гость, смотря на волнение хозяина, становился довольнее и самоувереннее.

— Да что продолжать-то-с?— начал он опять.— Представьте вы себе, Алексей Иванович, во-первых, человека убитого, то есть не просто убитого, а, так сказать, радикально; человека, после двадцатилетнего супружества переменяющего жизнь и слоняющегося по пыльным улицам без соответственной цели,

как бы в степи, чуть не в самозабвении, и в этом самозабвении находящего даже некоторое упоение. Естественно после того, что я и встречу иной раз знакомого или даже истинного друга, да и обойду нарочно, чтоб не подходить к нему в такую минуту, самозабвения-то то есть. А в другую минуту — так всё припомнишь и так возжаждешь видеть хоть какого-нибудь свидетеля и соучастника того недавнего, но невозвратимого прошлого, и так забьется при этом сердце, что не только днем, но и ночью рискнешь броситься в объятия друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить в четвертом часу-с. Я вот только в часе ошибся, но не в дружбе; ибо в сию минуту слишком вознагражден-с. А насчет часу, право, думал, что лишь только двенадцатый, будучи в настроении. Пьешь собственную грусть и как бы упиваешься ею. И даже не грусть, а именно новосостояние-то это и бьет по мне...

— Как вы, однако же, выражаетесь!— как-то мрачно заметил Вельчанинов, ставший вдруг опять ужасно серьезным.

— Да-с, странно и выражаюсь-с...

— А вы... не шутите?

— Шучу! — воскликнул Павел Павлович в скорбном недоумении,— и в ту минуту, когда возвещаю...

— Ах, замолчите об этом, прошу вас!

Вельчанинов встал и опять зашагал по комнате.

Так и прошло минут пять. Гость тоже хотел было привстать, но Вельчанинов крикнул: «Сидите, сидите!»— и тот тотчас же послушно опустился в кресла.

— А как, однако же, вы переменились!— заговорил опять Вельчанинов, вдруг останавливаясь перед ним — точно как бы внезапно пораженный этою мыслию.— Ужасно переменились! Чрезвычайно! Совсем другой человек!

— Не мудрено-с: девять лет-с.

— Нет-нет-нет, не в годах дело! вы наружностию еще не бог знает как изменились; вы другим изменились!

— Тоже, может быть, девять лет-с.

— Или с марта месяца!

— Хе-хе,— лукаво усмехнулся Павел Павлович,— у вас игривая мысль какая-то... Но, если осмелюсь,— в чем же собственно изменение-то?

— Да чего тут! Прежде был такой солидный и приличный Павел Павлович, такой умник Павел Павлович, а теперь — совсем vaurien [1] Павел Павлович!

Он был в той степени раздражения, в которой самые выдержанные люди начинают иногда говорить лишнее.

[1] *Здесь:* повеса *(франц.)*

— Vaurien! вы находите? И уж больше не умник? Не умник? — с наслаждением хихикал Павел Павлович.

— Какой черт умник! Теперь, пожалуй, и совсем *умный*. «Я нагл, а эта каналья еще наглее! И... и какая у него цель?» — всё думал Вельчанинов.

— Ах, дражайший, ах, бесценнейший Алексей Иванович! — заволновался вдруг чрезвычайно гость и заворочался в креслах. — Да ведь нам что? Ведь не в свете мы теперь, не в великосветском блистательном обществе! Мы — два бывшие искреннейшие и стариннейшие приятеля и, так сказать, в полнейшей искренности сошлись и вспоминаем обоюдно ту драгоценную связь, в которой покойница составляла такое драгоценнейшее звено нашей дружбы!

И он как бы до того увлекся восторгом своих чувств, что склонил опять, по-давешнему, голову, лицо же закрыл теперь шляпой. Вельчанинов с отвращением и с беспокойством приглядывался.

«А что, если это просто шут? — мелькнуло в его голове. — Но н-нет, н-нет! кажется, он не пьян, — впрочем, может быть, и пьян; красное лицо. Да хотя бы и пьян, — всё на одно выйдет. С чем он подъезжает? Чего хочется этой каналье?»

— Помните, помните, — выкрикивал Павел Павлович, помаленьку отнимая шляпу и как бы всё сильнее и сильнее увлекаясь воспоминаниями, — помните ли вы наши загородные поездки, наши вечера и вечеринки с танцами и невинными играми у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? А наши вечерние чтения втроем? А наше первое с вами знакомство, когда вы вошли ко мне утром, для справок по вашему делу, и стали даже кричать-с, и вдруг вышла Наталья Васильевна, и через десять минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома ровно на целый год-с — точь-в-точь как в «Провинциалке», пиесе господина Тургенева...

Вельчанинов медленно прохаживался, смотрел в землю, слушал с нетерпением и отвращением, но — сильно слушал.

— Мне и в голову не приходила «Провинциалка», — перебил он, несколько теряясь, — и никогда вы прежде не говорили таким пискливым голосом и таким... не своим слогом. К чему это?

— Я действительно прежде больше молчал-с, то есть был молчаливее-с, — поспешно подхватил Павел Павлович, — вы знаете, я прежде больше любил слушать, когда заговаривала покойница. Вы помните, как она разговаривала, с каким остроумием-с... А насчет «Провинциалки» и собственно насчет Ступендьева, — то вы и тут правы, потому что мы это сами потом, с бесценной покойницей в иные тихие минуты вспоминая о вас-с, когда вы уже уехали, — приравнивали к этой театральной пиесе

нашу первую встречу... потому что ведь и в самом деле было похоже-с. А собственно уж насчет Ступендьева...

— Какого это Ступендьева, черт возьми! — закричал Вельчанинов и даже топнул ногой, совершенно уже смутившись при слове «Ступендьев», по поводу некоторого беспокойного воспоминания, замелькавшего в нем при этом слове.

— А Ступендьев — это роль-с, театральная роль, роль мужа в пиесе «Провинциалка», — пропищал сладчайшим голоском Павел Павлович, — но это уже относится к другому разряду дорогих и прекрасных наших воспоминаний, уже после вашего отъезда, когда Степан Михайлович Багаутов подарил нас своею дружбою, совершенно как вы-с, и уже на целых пять лет.

— Багаутов? Что такое? Какой Багаутов? — как вкопанный остановился вдруг Вельчанинов.

— Багаутов, Степан Михайлович, подаривший нас своею дружбою ровно через год после вас и... подобно вам-с.

— Ах, боже мой, ведь я же это знаю! — вскричал Вельчанинов, сообразив наконец. — Багаутов! да он же служил у вас...

— Служил, служил! при губернаторе! Из Петербурга, самого высшего общества изящнейший молодой человек! — в решительном восторге выкрикивал Павел Павлович!

— Да-да-да! Что ж я! ведь и он тоже...

— И он тоже, и он тоже! — в том же восторге вторил Павел Павлович, подхватив неосторожное словцо хозяина, — и он тоже! И вот тут-то мы и играли «Провинциалку», на домашнем театре, у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича, — Степан Михайлович — графа, я — мужа, а покойница — провинциалку, — но только у меня отняли роль мужа по настоянию покойницы, так что я и не играл мужа, будто бы по неспособности-с...

— Да какой черт вы Ступендьев! Вы прежде всего Павел Павлович Трусоцкий, а не Ступендьев! — грубо, не церемонясь и чуть не дрожа от раздражения, проговорил Вельчанинов. — Только позвольте: этот Багаутов здесь, в Петербурге; я сам его видел, весной видел! Что ж вы к нему-то тоже не идете?

— Каждый божий день захожу, вот уже три недели-с. Не принимают! Болен, не может принять! И представьте, из первейших источников узнал, что ведь и вправду чрезвычайно опасно болен! Этакой-то шестилетний друг! Ах, Алексей Иванович, говорю же вам и повторяю, что в таком настроении иногда провалиться сквозь землю желаешь, даже взаправду-с; а в другую минуту так бы, кажется, взял да и обнял, и именно кого-нибудь вот из прежних-то этих, так сказать, очевидцев и соучастников, и единственно для того только, чтоб заплакать, то есть совершенно больше ни для чего, как чтоб только заплакать!..

— Ну, однако же, довольно с вас на сегодня, ведь так?— резко проговорил Вельчанинов.

— Слишком, слишком довольно!— тотчас же поднялся с места Павел Павлович.— Четыре часа, и, главное, я вас так эгоистически потревожил...

— Слушайте же: я к вам сам зайду, непременно, и тогда уж надеюсь... Скажите мне прямо, откровенно скажите: вы не пьяны сегодня?

— Пьян? Ни в одном глазу...

— Не пили перед приходом или раньше?

— Знаете, Алексей Иванович, у вас совершенная лихорадка-с.

— Завтра же зайду, утром, до часу...

— И давно уже замечаю, что вы почти как в бреду-с,— с наслаждением перебивал и налегал на эту тему Павел Павлович.— Мне так, право, совестно, что я моею неловкостию... но иду, иду! А вы лягте-ка и засните-ка!

— А что ж вы не сказали, где живете?— спохватился и закричал ему вдогонку Вельчанинов.

— А разве не сказал-с? в Покровской гостинице...

— В какой еще Покровской гостинице?

— Да у самого Покрова, тут, в переулке-с,— вот забыл, в каком переулке, да и номер забыл, только близ самого Покрова...

— Отыщу!

— Милости просим дорогого гостя.

Он уже выходил на лестницу.

— Стойте!— крикнул опять Вельчанинов.— Вы не удерете?

— То есть как «удерете»?— вытаращил глаза Павел Павлович, поворачиваясь и улыбаясь с третьей ступеньки.

Вместо ответа Вельчанинов шумно захлопнул дверь, тщательно запер ее и насадил в петлю крюк. Воротясь в комнату, он плюнул, как бы чем-нибудь опоганившись.

Простояв минут пять неподвижно среди комнаты, он бросился на постель, совсем уже не раздеваясь, и в один миг заснул. Забытая свечка так и догорела до конца на столе.

IV

Жена, муж и любовник

Он спал очень крепко и проснулся ровно в половине десятого; мигом приподнялся, сел на постель и тотчас же начал думать о смерти «этой женщины».

Потрясающее вчерашнее впечатление при внезапном известии

об этой смерти оставило в нем какое-то смятение и даже боль. Это смятение и боль были только заглушены в нем на время одной странной идеей вчера, при Павле Павловиче. Но теперь, при пробуждении, всё, что было девять лет назад, предстало вдруг перед ним с чрезвычайною яркостью.

Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену «этого Трусоцкого», он любил и был ее любовником, когда по своему делу (и тоже по поводу процесса об одном наследстве) он оставался в Т. целый год,— хотя собственно дело и не требовало такого долгого срока его присутствия; настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владели им, что он был как бы в рабстве у Натальи Васильевны и, наверно, решился бы тотчас на что-нибудь даже из самого чудовищного и бессмысленного, если б этого потребовал один только малейший каприз этой женщины. Ни прежде, ни потом никогда не было с ним ничего подобного. В конце года, когда разлука была уже неминуема, Вельчанинов был в таком отчаянии при приближении рокового срока,— в отчаянии, несмотря на то что разлука предполагалась на самое короткое время,— что предложил Наталье Васильевне похитить ее, увезти от мужа, бросить всё и уехать с ним за границу навсегда. Только насмешки и твердая настойчивость этой дамы (вполне одобрявшей этот проект вначале, но, вероятно, только от скуки или чтобы посмеяться) могли остановить его и понудить уехать одного. И что же? Не прошло еще двух месяцев после разлуки, как он в Петербурге уже задавал себе тот вопрос, который так и остался для него навсегда не разрешенным: любил ли в самом деле он эту женщину, или всё это было только одним «наваждением»? И вовсе не от легкомыслия или под влиянием начавшейся в нем новой страсти зародился в нем этот вопрос: в эти первые два месяца в Петербурге он был в каком-то исступлении и вряд ли заметил хоть одну женщину, хотя тотчас же пристал к прежнему обществу и успел увидеть сотню женщин. Впрочем, он отлично хорошо знал, что очутись он тотчас опять в Т., то немедленно попадет снова под всё гнетущее обаяние этой женщины, несмотря на все зародившиеся вопросы. Даже пять лет спустя он был в том же самом убеждении. Но пять лет спустя он уже признавался в этом себе с негодованием и даже об самой «женщине этой» вспоминал с ненавистью. Он стыдился своего т-ского года; он не мог понять даже возможности такой «глупой» страсти для него, Вельчанинова! Все воспоминания об этой страсти обратились для него в позор; он краснел до слез и мучился угрызениями. Правда, еще через несколько лет он уже несколько успел себя успокоить; он постарался всё это забыть — и почти успел. И вот вдруг, девять лет спустя, всё это так внезапно и странно воскресает перед

ним опять после вчерашнего известия о смерти Натальи Васильевны.

Теперь, сидя на своей постели, с смутными мыслями, беспорядочно толпившимися в его голове, он чувствовал и сознавал ясно только одно,— что, несмотря на всё вчерашнее «потрясающее впечатление» при этом известии, он всё-таки очень спокоен насчет того, что она умерла. «Неужели я о ней даже и не пожалею?»— спрашивал он себя. Правда, он уже не ощущал к ней теперь ненависти и мог беспристрастнее, справедливее судить о ней. По его мнению, уже давно, впрочем, сформировавшемуся в этот девятилетний срок разлуки, Наталья Васильевна принадлежала к числу самых обыкновенных провинциальных дам из «хорошего» провинциального общества, и —«кто знает, может, так оно и было, и только я один составил из нее такую фантазию?» Он, впрочем, всегда подозревал, что в этом мнении могла быть и ошибка; почувствовал это и теперь. Да и факты противоречили; этот Багаутов был несколько лет тоже с нею в связи и, кажется, тоже «под обаянием». Багаутов, действительно, был молодой человек из лучшего петербургского общества и, так как он «человек пустейший» (говорил об нем Вельчанинов), то, стало быть, мог сделать свою карьеру только в одном Петербурге. Но вот, однако же, он пренебрег Петербургом, то есть главнейшею своею выгодою, и потерял же пять лет в Т. единственно для этой женщины! Да и воротился наконец в Петербург, может, потому только, что и его тоже выбросили, как «старый, изношенный башмак». Значит, было же в этой женщине что-то такое необыкновенное — дар привлечения, порабощения и владычества!

А между тем, казалось бы, она и средств не имела, чтобы привлекать и порабощать: «собой была даже не так чтобы хороша; а может быть, и просто нехороша». Вельчанинов застал ее уже двадцати восьми лет. Не совсем красивое ее лицо могло иногда приятно оживляться, но глаза были нехороши: какая-то излишняя твердость была в ее взгляде. Она была очень худа. Умственное образование ее было слабое; ум был бесспорный и проницательный, но почти всегда односторонний. Манеры светской провинциальной дамы и при этом, правда, много такту; изящный вкус, но преимущественно в одном только уменье одеться. Характер решительный и владычествующий; примирения наполовину с нею быть не могло ни в чем: «или всё, или ничего». В делах затруднительных твердость и стойкость удивительные. Дар великодушия и почти всегда с ним же рядом — безмерная несправедливость. Спорить с этой барыней было невозможно: дважды два для нее никогда ничего не значили. Никогда ни в чем не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянные и бесчисленные измены ее мужу нисколько не тяготили

ее совести. По сравнению самого Вельчанинова, она была как «хлыстовская богородица», которая в высшей степени сама верует в то, что она и в самом деле богородица,— в высшей степени веровала и Наталья Васильевна в каждый из своих поступков. Любовнику она была верна — впрочем, только до тех пор, пока он не наскучил. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Тип был страстный, жестокий и чувственный. Она ненавидела разврат, осуждала его с неимоверным ожесточением и — сама была развратна. Никакие факты не могли бы никогда привести ее к сознанию в своем собственном разврате. «Она, наверно, *искренно* не знает об этом»,— думал Вельчанинов об ней еще в Т. (Заметим мимоходом, сам участвуя в ее разврате.) «Это одна из тех женщин,— думал он,— которые как будто для того и родятся, чтобы быть неверными женами. Эти женщины никогда не падают в девицах; закон природы их — непременно быть для этого замужем. Муж — первый любовник, но не иначе, как после венца. Никто ловче и легче их не выходит замуж. В первом любовнике всегда муж виноват. И всё происходит в высшей степени искренно; они до конца чувствуют себя в высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными».

Вельчанинов был убежден, что действительно существует такой тип таких женщин; но зато был убежден, что существует и соответственный этим женщинам тип мужей, которых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность таких мужей состоит в том, чтоб быть, так сказать, «вечными мужьями» или, лучше сказать, быть в жизни *только* мужьями и более уж ничем. «Такой человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в придаточное своей жены, даже и в том случае, если б у него случился и свой собственный, неоспоримый характер. Главный признак такого мужа — известное украшение. Не быть рогоносцем он не может, точно так же как не может солнце не светить; но он об этом не только никогда не знает, но даже и никогда не может узнать по самым законам природы». Вельчанинов глубоко верил, что существуют эти два типа и что Павел Павлович Трусоцкий в Т. был совершенным представителем одного из них. Вчерашний Павел Павлович, разумеется, был не тот Павел Павлович, который был ему известен в Т. Он нашел, что он до невероятности изменился, но Вельчанинов знал, что он и не мог не измениться и что всё это было совершенно естественно; господин Трусоцкий мог быть всем тем, чем был прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть целого, выпущенная вдруг на волю, то есть что-то удивительное и ни на что не похожее.

Что же касается до т-ского Павла Павловича, то вот что упомнил о нем и припомнил теперь Вельчанинов:

«Конечно, Павел Павлович в Т. был только муж», и ничего более. Если, например, он был, сверх того, и чиновник, то единственно потому, что для него и служба обращалась, так сказать, в одну из обязанностей его супружества; он служил для жены и для ее светского положения в Т., хотя и сам по себе был весьма усердным чиновником. Ему было тогда тридцать пять лет и обладал он некоторым состоянием, даже и не совсем маленьким. На службе особенных способностей не выказывал, но не выказывал и неспособности. Водился со всем, что было высшего в губернии, и слыл на прекрасной ноге. Наталью Васильевну в Т. совершенно уважали; она, впрочем, и не очень это ценила, принимая как должное, но у себя умела всегда принять превосходно, причем Павел Павлович был так ею вышколен, что мог иметь облагороженные манеры даже и при приеме самых высших губернских властей. Может быть (казалось Вельчанинову), у него был и ум; но так как Наталья Васильевна не очень любила, когда супруг ее много говорил, то ума и нельзя было очень заметить. Может быть, он имел много прирожденных хороших качеств, равно как и дурных. Но хорошие качества были как бы под чехлом, а дурные поползновения были заглушены почти окончательно. Вельчанинов помнил, например, что у господина Трусоцкого рождалось иногда поползновение посмеяться над своим ближним; но это было ему строго запрещено. Любил он тоже иногда что-нибудь рассказать; но и над этим наблюдалось: рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнее и покороче. Он склонен был к приятельскому кружку вне дома и даже — выпить с приятелем; но последнее даже в корень было истреблено. И при этом черта: взглянув снаружи, никто не мог бы сказать, что это муж под башмаком; Наталья Васильевна казалась совершенно послушною женой и даже, может быть, сама была в этом уверена. Могло быть, что Павел Павлович любил Наталью Васильевну без памяти; но заметить этого не мог никто, и даже было невозможно, вероятно, тоже по домашнему распоряжению самой Натальи Васильевны. Несколько раз в продолжение своей т-ской жизни спрашивал себя Вельчанинов: подозревает ли его этот муж хоть сколько-нибудь в связи с своей женой? Несколько раз он спрашивал об этом серьезно Наталью Васильевну и всегда получал в ответ, высказанный с некоторой досадой, что муж ничего не знает, и никогда ничего не может узнать, и что «всё, что есть, совсем не его дело». Еще черта с ее стороны: над Павлом Павловичем она никогда не смеялась и ни в чем не находила его ни смешным, ни очень дурным, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмелился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имея детей, она, естественно, должна была обратиться преимущественно в светскую женщину; но и свой дом был ей необходим. Светские удовольствия никогда не царили над нею вполне, и дома она очень любила заниматься хозяйством и рукодельями. Павел Павлович вспомнил вчера об их семейных чтениях в Т. по вечерам; это бывало: читал Вельчанинов, читал и Павел Павлович; к удивлению Вельчанинова, он очень хорошо умел читать вслух. Наталья Васильевна при этом что-нибудь вышивала и выслушивала чтение всегда спокойно и ровно. Читались романы Диккенса, что-нибудь из русских журналов, а иногда что-нибудь и из «серьезного». Наталья Васильевна высоко ценила образованность Вельчанинова, но молчаливо, как дело поконченное и решенное, о котором уже нечего больше и говорить; вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, как совершенно к чему-то посторроннему, хотя, может быть, и полезному; Павел же Павлович иногда с некоторым жаром.

Т-ская связь порвалась вдруг, достигнув со стороны Вельчанинова самого полного верха и даже почти безумия. Его просто и вдруг прогнали, хотя всё устроилось так, что он уехал совершенно не ведая, что уже выброшен, «как старый, негодный башмак». Тут в Т., месяца за полтора до его отбытия, появился один молоденький артиллерийский офицерик, только что выпущенный из корпуса, и повадился ездить к Трусоцким; вместо троих очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась с ним как с мальчиком. Вельчанинову было решительно ничего невдомек, да и не до того ему было тогда, так как ему вдруг объявили о необходимости разлуки. Одною из сотни причин для непременного и скорейшего его отъезда, выставленных Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна; а потому и естественно, что ему надо непременно и сейчас же скрыться хоть месяца на три или на четыре, чтобы через девять месяцев мужу труднее было в чем-нибудь усумниться, если б и вышла потом какая-нибудь клевета. Аргумент был довольно натянутый. После бурного предложения Вельчанинова бежать в Париж или в Америку он уехал один в Петербург, «без сомнения, на одну только минутку», то есть не более как на три месяца, иначе он не уехал бы ни за что, несмотря ни на какие причины и аргументы. Ровно через два месяца он получил в Петербурге от Натальи Васильевны письмо с просьбою не приезжать никогда, потому что она уже любила другого; про беременность же свою уведомляла, что она ошиблась. Уведомление об ошибке было лишнее, ему всё уже было ясно: он вспомнил про офицерика. Тем дело и кончилось навсегда. Слышал как-то он потом, уже несколько лет спустя, что там очутил-

ся Багаутов и пробыл целые пять лет. Такую безмерную продолжительность связи он объяснил себе, между прочим, и тем, что Наталья Васильевна, верно, уже сильно постарела, а потому и сама стала привязчивее.

Он просидел на своей кровати почти час; наконец опомнился, позвонил Мавру с кофеем, выпил наскоро, оделся и ровно в одиннадцать часов отправился к Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчет собственно Покровской гостиницы в нем сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатление. Между прочим, ему было даже несколько совестно за вчерашнее свое обращение с Павлом Павловичем, и это надо было теперь разрешить.

Всю вчерашнюю фантасмагорию с замком у дверей он объяснял случайностию, пьяным видом Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чем, но, в сущности, не совсем точно знал, зачем он идет теперь завязывать какие-то новые отношения с прежним мужем, тогда как всё так естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло; было тут какое-то особое впечатление, и вследствие этого впечатления его влекло...

V

Лиза

Павел Павлович «удирать» и не думал, да и бог знает для чего Вельчанинов ему сделал вчера этот вопрос; подлинно сам был в затмении. По первому спросу в мелочной лавочке у Покрова ему указали Покровскую гостиницу, в двух шагах в переулке. В гостинице объяснили, что господин Трусоцкий «стали» теперь тут же на дворе, во флигеле, в меблированных комнатах у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лестнице флигеля во второй этаж, где были эти комнаты, он вдруг услышал плач. Плакал как будто ребенок, лет семи-восьми; плач был тяжелый, слышались заглушаемые, но прорывающиеся рыдания, а вместе с ними топанье ногами и тоже как бы заглушаемые, но яростные окрики, какой-то сиплой фистулой, но уже взрослого человека. Этот взрослый человек, казалось, унимал ребенка и очень не желал, чтобы плач слышали, но шумел больше его. Окрики были безжалостные, а ребенок точно как бы умолял о прощении. Вступив в небольшой коридор, по обеим сторонам которого было по две двери, Вельчанинов встретил одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросил ее о Павле Павловиче. Она ткнула пальцем на дверь, из-за которой слышен был плач. Толстое и багровое лицо этой сорокалетней бабы было в некотором негодовании.

— Вишь, ведь потеха ему!— пробасила она вполголоса и прошла на лестницу. Вельчанинов хотел было постучаться, но раздумал и прямо отворил дверь к Павлу Павловичу. В небольшой комнате, грубо, но обильно меблированной простой крашеной мебелью, посредине стоял Павел Павлович, одетый лишь до половины, без сюртука и без жилета, и с раздраженным красным лицом унимал криком, жестами, а может быть (показалось Вельчанинову) и пинками, маленькую девочку, лет восьми, одетую бедно, хотя и барышней, в черном шерстяном коротеньком платьице. Она, казалось, была в настоящей истерике, истерически всхлипывала и тянулась руками к Павлу Павловичу, как бы желая охватить его, обнять его, умолить и упросить о чем-то. В одно мгновение всё изменилось: увидев гостя, девочка вскрикнула и стрельнула в соседнюю крошечную комнатку, а Павел Павлович, на мгновение озадаченный, тотчас же весь растаял в улыбке, точь-в-точь как вчера, когда Вельчанинов вдруг отворил дверь к нему на лестницу.

— Алексей Иванович!— вскричал он в решительном удивлении.— Никоим образом не мог ожидать... но вот сюда, сюда! Вот здесь, на диван, или сюда, в кресла, а я...— И он бросился одевать сюртук, забыв надеть жилет.

— Не церемоньтесь, оставайтесь в чем вы есть,— Вельчанинов уселся на стул.

— Нет, уж позвольте-с поцеремониться; вот я теперь и поприличнее. Да куда ж вы уселись в углу? Вот сюда, в кресла, к столу бы... Ну, не ожидал, не ожидал!

Он тоже уселся на краешке плетеного стула, но не рядом с «неожиданным» гостем, а поворотив стул углом, чтобы сесть более лицом к Вельчанинову.

— Почему ж не ожидали? Ведь я именно назначил вчера, что приду к вам в это время?

— Думал, что не придете-с; и как сообразил всё вчерашнее проснувшись, так решительно уж отчаялся вас увидеть, даже навсегда-с.

Вельчанинов меж тем осмотрелся кругом. Комната была в беспорядке, кровать не убрана, платье раскидано, на столе стаканы с выпитым кофеем, крошки хлеба и бутылка шампанского, до половины не допитая, без пробки и со стаканом подле. Он накосился взглядом в соседнюю комнату, но там всё было тихо; девочка притаилась и замерла.

— Неужто вы пьете это теперь?— указал Вельчанинов на шампанское.

— Остатки-с...— сконфузился Павел Павлович.

— Ну переменились же вы!

— Дурные привычки и вдруг-с. Право, с того срока; не лгу-с!

Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексей Иванович, я теперь не пьян и не стану нести околесины, как вчера у вас-с, но верно вам говорю: всё с того срока-с! И скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что я вдруг так расшатаюсь, как вот теперь-с, покажи мне тогда меня самого в зеркале — не поверил бы!

— Стало быть, вы были же вчера пьяны?

— Был-с,— вполголоса признался Павел Павлович, конфузливо опуская глаза,— и видите ли-с: не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-с: хмелю уж немного, а жестокость какая-то и безрассудство остаются, да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с. Тут-то я и накуролесить могу совсем даже глупо-с и обидеть лезу. Должно быть, себя очень странно вам представил вчера?

— Вы разве не помните?

— Как не помнить, всё помню-с...

— Видите, Павел Павлович, я совершенно так же подумал и объяснил себе,— примирительно сказал Вельчанинов,— сверх того, я сам вчера был с вами несколько раздражителен и... излишне нетерпелив, в чем сознаюсь охотно. Я не совсем иногда хорошо себя чувствую, и нечаянный приход ваш ночью...

— Да, ночью, ночью!— закачал головой Павел Павлович, как бы удивляясь и осуждая.— И как это меня натолкнуло! Ни за что бы я к вам не зашел, если б вы только сами не отворили-с; от дверей бы ушел-с. Я к вам, Алексей Иванович, с неделю тому назад заходил и вас не застал, но потом, может быть, и никогда не зашел бы в другой раз-с. Все-таки и я немножко горд тоже, Алексей Иванович, хоть и сознаю себя... в таком состоянии. Мы и на улице встречались, да всё думаю: а ну как не узнает, а ну как отвернется, девять лет не шутка,— и не решался подойти. А вчера с Петербургской стороны брел, да и час забыл-с. Всё от этого (он указал на бутылку), да от чувства-с. Глупо! очень-с! и будь человек не таков, как вы,— потому что ведь пришли же вы ко мне даже после вчерашнего, вспомня старое,— так я бы даже надежду потерял знакомство возобновить.

Вельчанинов слушал со вниманием. Человек этот говорил, кажется, искренно и с некоторым даже достоинством; а между тем он ничему не верил с самой той минуты, как вошел к нему.

— Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть, не один? Чья это девочка, которую я застал при вас давеча?

Павел Павлович даже удивился и поднял брови, но ясно и приятно посмотрел на Вельчанинова.

— Как чья девочка? да ведь это Лиза!— проговорил он, приветливо улыбаясь.

— Какая Лиза?— пробормотал Вельчанинов, и что-то вдруг как бы дрогнуло в нем. Впечатление было слишком внезапное. Давеча, войдя и увидев Лизу, он хоть и подивился, но не ощутил в себе решительно никакого предчувствия, никакой особенной мысли.

— Да наша Лиза, дочь наша Лиза!— улыбался Павел Павлович.

— Как дочь? Да разве у вас с Натальей... с покойной Натальей Васильевной были дети?— недоверчиво и робко спросил Вельчанинов каким-то уж очень тихим голосом.

— Да как же-с? Ах, боже мой, да ведь и в самом деле от кого же вы могли знать? Что ж это я! это уже после вас нам бог даровал!

Павел Павлович привскочил даже со стула от некоторого волнения, впрочем тоже как бы приятного.

— Я ничего не слыхал,— сказал Вельчанинов и — побледнел.

— Действительно, действительно, от кого же вам было и узнать-с! — повторил Павел Павлович расслабленно-умиленным голосом.— Мы ведь и надежду с покойницей потеряли, сами ведь вы помните, и вдруг благословляет господь, и что со мной тогда было,— это ему только одному известно! ровно, кажется, через год после вас! или нет, не через год, далеко нет, постойте-с: вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в октябре или даже в ноябре выехали?

— Я уехал из Т. в начале сентября, двенадцатого сентября; я хорошо помню...

— Неужели в сентябре? гм... что ж это я?— очень удивился Павел Павлович.— Ну, так если так, то позвольте же: вы выехали сентября двенадцатого-с, а Лиза родилась мая восьмого, это, стало быть, сентябрь—октябрь—ноябрь—декабрь—январь—февраль—март—апрель,— через восемь месяцев с чем-то-с, вот-с! и если б вы только знали, как покойница...

— Покажите же мне... позовите же ее...— каким-то срывавшимся голосом пролепетал Вельчанинов.

— Непременно-с! — захлопотал Павел Павлович, тотчас же прерывая то, что хотел сказать, как вовсе ненужное,— сейчас, сейчас вам представлю-с! — и торопливо отправился в комнату к Лизе.

Прошло, может быть, целых три или четыре минуты, в комнатке скоро и быстро шептались, и чуть-чуть послышались звуки голоса Лизы; «она просит, чтобы ее не выводили»,— думал Вельчанинов.

Наконец вышли.

— Вот-с, всё конфузится,— сказал Павел Павлович,— стыдливая такая, гордая-с... и вся-то в покойницу!

Лиза вышла уже без слез, с опущенными глазами; отец вел ее за руку. Это была высоконькая, тоненькая и очень хорошенькая девочка. Она быстро подняла свои большие голубые глаза на гостя, с любопытством, но угрюмо посмотрела на него и тотчас же опять опустила глаза. Во взгляде ее была та детская важность, когда дети, оставшись одни с незнакомым, уйдут в угол и оттуда важно и недоверчиво поглядывают на нового, никогда еще и не бывавшего гостя; но была, может быть, и другая, как бы уж и не детская мысль,— так показалось Вельчанинову. Отец подвел ее к нему вплоть.

— Вот этот дяденька мамашу знал прежде, друг наш был, ты не дичись, протяни руку-то.

Девочка слегка наклонилась и робко протянула руку.

— У нас Наталья Васильевна-с не хотела учить ее приседать в знак приветствия, а так на английский манер слегка наклониться и протянуть гостю руку,— прибавил он в объяснение Вельчанинову, пристально в него всматриваясь.

Вельчанинов знал, что он всматривается, но совсем уже не заботился скрывать свое волнение; он сидел на стуле не шевелясь, держал руку Лизы в своей руке и пристально вглядывался в ребенка. Но Лиза была чем-то очень озабочена и, забыв свою руку в руке гостя, не сводила глаз с отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что он говорил. Вельчанинов тотчас же признал эти большие голубые глаза, но всего более поразили его удивительная, необычайно нежная белизна ее лица и цвет волос; эти признаки были слишком для него значительны. Оклад лица и склад губ, напротив того, резко напоминал Наталью Васильевну. Павел Павлович между тем давно уже начал что-то рассказывать, казалось с чрезвычайным жаром и чувством, но Вельчанинов совсем не слыхал его. Он захватил только одну последнюю фразу:

— ...так что вы, Алексей Иванович, даже и вообразить не можете нашей радости при этом даре господнем-с! Для меня она всё составила своим появлением, так что если б и исчезло по воле божьей мое тихое счастье,— так вот, думаю, останется мне Лиза; вот что по крайней мере я твердо знал-с!

— А Наталья Васильевна?— спросил Вельчанинов.

— Наталья Васильевна?— покривился Павел Павлович.— Ведь вы ее знаете, помните-с, она много высказывать не любила, но зато как прощалась с нею на смертном одре... тут-то вот всё и высказалось-с! И вот я вам сказал сейчас «на смертном одре-с»; а меж тем вдруг, за день уже до смерти, волнуется, сердится,— говорит, что ее лекарствами залечить хотят, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслят, и как только вернется Кох (помните, штаб-лекарь-то наш, старичок), так она через две недели встанет с постели! Да куда, уже за пять только часов до отхода вспоминала, что через три недели непременно надо тетку, именинницу, посетить, в имении ее, Лизину крестную мать-с...

Вельчанинов вдруг поднялся со стула, всё еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочим, показалось, что в горячем взгляде девочки, устремленном на отца, было что-то укорительное.

— Она не больна?— как-то странно, торопливо спросил он.

— Кажется бы, нет-с, но... обстоятельства-то вот наши так здесь сошлись,— проговорил Павел Павлович с горестною заботливостью,— ребенок странный и без того-с нервный, после смерти матери больна была две недели, истерическая-с. Давеча ведь какой у нас плач был, как вы вошли-с,— слышишь, Лиза, слышишь?— а ведь из-за чего-с? Всё в том, что я ухожу и ее оставляю, значит, дескать, что уж и не люблю больше так, как ее при мамаше любил,— вот в чем обвиняет меня. И забредет же в голову такая фантазия такому еще ребенку-с, которому бы только в игрушки играть. А здесь и поиграть-то ей не с кем.

— Так как же вы... вы здесь разве совсем только вдвоем?

— Совсем одинокие-с; служанка только разве прислужить придет, раз на дню.

— А уходите, ее одну так и оставляете?

— А то как же-с? А вчера уходил, так даже запер ее, вот в той комнатке, из-за того у нас и слезы вышли сегодня. Да ведь что же было делать, посудите сами: третьего дня сошла она вниз без меня, а мальчик ей в голову камнем пустил. А то заплачет да и бросится у всех на дворе расспрашивать: куда я ушел? а ведь это нехорошо-с. Да и я-то хорош: уйду на час, а приду на другой день поутру, так и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка без меня отперла ей, слесаря призывала замок отворить,— даже срам-с,— подлинно сам себя извергом чувствую-с. Всё от затмения-с...

— Папаша! — робко и беспокойно проговорила девочка.

— Ну, вот и опять! опять ты за то же! что я давеча говорил?

— Я не буду, я не буду,— в страхе, торопливо складывая перед ним руки, повторила Лиза.

— Так не может продолжаться у вас, при такой обстановке,— нетерпеливо заговорил вдруг Вельчанинов голосом власть имеющего.— Ведь вы... ведь вы человек с состоянием же; как же вы так — во-первых, в этом флигеле и при такой обстановке?

— Во флигеле-то-с? да ведь через неделю, может, уже и уедем-с, а денег и без того много потратили, хотя бы и с состоянием-с...

— Ну, довольно, довольно,— прервал его Вельчанинов всё с более и более возраставшим нетерпением, как бы явно говоря: «Нечего говорить, всё знаю, что ты скажешь, и знаю, с каким намерением ты говоришь?»— Слушайте, я вам делаю предложение: вы сейчас сказали, что останетесь неделю, пожалуй, может, и две. У меня здесь есть один дом, то есть такое семейство, где я как в родном своем углу,— вот уже двадцать лет. Это семейство одних Погорельцевых. Погорельцев Александр Павлович, тайный советник; даже вам, пожалуй, пригодится по вашему делу. Они теперь на даче. У них богатейшая своя дача. Клавдия Петровна Погорельцева мне как сестра, как мать. У них восемь человек детей. Дайте я сейчас же свезу к ним Лизу... я для того, чтоб времени не терять. Они с радостью примут, на все это время, обласкают, как родную дочь, как родную дочь!

Он был в ужасном нетерпении и не скрывал этого.

— Это как-то уж невозможно-с,— проговорил Павел Павлович, с ужимкою и хитро, как показалось Вельчанинову, засматривая ему в глаза.

— Почему? Почему невозможно?

— Да как же-с, отпустить так ребенка, и вдруг-с — положим, с таким искренним благоприятелем, как вы, я не про то-с, но все-таки в дом незнакомый, и такого уж высшего общества-с, где я еще и не знаю, как примут.

— Да я же сказал вам, что я у них как родной,— почти в гневе закричал Вельчанинов.— Клавдия Петровна за счастье почтет по одному моему слову. Как бы мою дочь... да черт возьми, ведь вы сами же знаете, что вы только так, чтобы болтать... чего же уж тут говорить!

Он даже топнул ногой.

— Я к тому, что не странно ли очень уж будет-с? Всё-таки надо бы и мне хоть раз-другой к ней наведаться, а то как же совсем без отца-то-с? хе-хе... и в такой важный дом-с.

— Да это простейший дом, а вовсе не «важный»! — кричал Вельчанинов,— говорю вам, там детей много. Она там воскреснет, всё для этого... А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будет вам съездить поблагодарить; каждый день будем ездить, если хотите...

— Всё как-то-с...

— Вздор! Главное в том, что вы сами это знаете! Слушайте, заходите ко мне сегодня с вечера и ночуйте, пожалуй, а поутру пораньше и поедем, чтобы в двенадцать там быть.

— Благодетель вы мой! Даже и ночевать у вас...— с умилением согласился вдруг Павел Павлович,— подлинно благодеяние оказываете... а где ихняя дача-с?

— Дача их в Лесном.

— Только вот как же её костюм-с? Потому-с в такой знатный дом, да еще на даче-с, сами знаете... Сердце отца-с!

— А какой ее костюм? Она в трауре. Разве может быть у ней другой костюм? Самый приличный, какой только можно вообразить! Только вот белье бы почище, косыночку... (Косыночка и выглядывавшее белье были действительно очень грязны.)

— Сейчас же, непременно переодеться,— захлопотал Павел Павлович,— а прочее необходимое белье мы ей тоже сейчас соберем; оно у Марьи Сысоевны в стирке-с.

— Так велеть бы послать за коляской,— перебил Вельчанинов,— и скорей, если б возможно.

Но оказалось препятствие: Лиза решительно воспротивилась, всё время она со страхом прислушивалась, и если бы Вельчанинов, уговаривая Павла Павловича, имел время пристально к ней приглядеться, то увидел бы совершенное отчаяние на ее личике.

— Я не поеду,— сказала она твердо и тихо.

— Вот, вот видите-с, вся в мамашу!

— Я не в мамашу, я не в мамашу! — вскрикивала Лиза, в отчаянии ломая свои маленькие руки и как бы оправдываясь перед отцом в страшном упреке, что она в мамашу.— Папаша, папаша, если вы меня кинете...

Она вдруг накинулась на испугавшегося Вельчанинова.

— Если вы возьмете меня, так я...

Но она не успела ничего выговорить далее; Павел Павлович схватил ее за руку, чуть не за шиворот, и уже с нескрываемым озлоблением потащил ее в маленькую комнатку. Там опять несколько минут происходило шептанье, слышался заглушенный плач. Вельчанинов хотел было уже идти туда сам, но Павел Павлович вышел к нему и с искривленной улыбкой объявил, что сейчас она выйдет-с. Вельчанинов старался не глядеть на него и смотрел в сторону.

Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встретил он, входя давеча в коридор, и стала укладывать в хорошенький маленький сак, принадлежавший Лизе, принесенное для нее белье.

— Вы, что ли, батюшка, девочку-то отвезете?— обратилась она к Вельчанинову,— семейство, что ли, у вас? Хорошо, батюшка, сделаете: ребенок смирный, от содома избавите.

— Уж вы, Марья Сысоевна,— пробормотал было Павел Павлович.

— Что Марья Сысоевна! Меня и все так величают. Аль у тебя не содом? Прилично ли робеночку с понятием на такой срам смотреть? Коляску-то привели вам, батюшка,— до Лесного, что ли?

— Да, да.

— Ну и в добрый час!

Лиза вышла бледненькая, с потупленными глазками, и взяла сак. Ни одного взгляда в сторону Вельчанинова; она сдержала себя и не бросилась, как давеча, обнимать отца, даже при прощанье; видимо, даже не хотела поглядеть на него. Отец прилично поцеловал ее в головку и погладил; у ней закривилась при этом губка и задрожал подбородок, но глаз она на отца все-таки не подняла. Павел Павлович был как будто бледен, и руки у него дрожали — это ясно заметил Вельчанинов, хотя всеми силами старался не смотреть на него. Одного ему хотелось: поскорей уж уехать. «А там что ж, чем же я виноват?— думал он.— Так должно было быть». Сошли вниз, тут расцеловалась с Лизой Марья Сысоевна, и, только уже усевшись в коляску, Лиза подняла глаза на отца — и вдруг всплеснула руками и вскрикнула; еще миг, и она бы бросилась к нему из коляски, но лошади уже тронулись.

VI

Новая фантазия праздного человека

— Уж не дурно ли вам?— испугался Вельчанинов.— Я велю остановить, я велю вынести воды...

Она вскинула на него глазами и горячо, укорительно поглядела.

— Куда вы меня везете?— проговорила она резко и отрывисто.

— Это прекрасный дом, Лиза. Они теперь на прекрасной даче; там много детей, они вас там будут любить, они добрые... Не сердитесь на меня, Лиза, я вам добра хочу...

Странен бы показался он в эту минуту кому-нибудь из знавших его, если бы кто из них мог его видеть.

— Как вы,— как вы,— как вы... у, какие вы злые! — сказала Лиза, задыхаясь от подавляемых слез и засверкав на него озлобленными прекрасными глазами.

— Лиза, я...

— Вы злые, злые, злые! — Она ломала свои руки. Вельчанинов совсем потерялся.

— Лиза, милая, если б вы знали, в какое отчаяние вы меня приводите!

— Это правда, что он завтра приедет? Правда?— спросила она повелительно.

— Правда, правда! Я его сам привезу, я его возьму и привезу.

— Он обманет,— прошептала Лиза, опуская глаза в землю.

— Разве он вас не любит, Лиза?

— Не любит.

— Он вас обижал? Обижал?

Лиза мрачно посмотрела на него и промолчала. Она опять отвернулась от него и сидела, упорно потупившись. Он начал ее уговаривать, он говорил ей с жаром, он был сам в лихорадке. Лиза слушала недоверчиво, враждебно, но слушала. Внимание ее обрадовало его чрезвычайно: он даже стал объяснять ей, что такое пьющий человек. Он говорил, что сам ее любит и будет наблюдать за отцом. Лиза подняла наконец глаза и пристально на него поглядела. Он стал рассказывать, как он знал еще ее мамашу, и видел, что завлекает ее рассказами. Мало-помалу она начала понемногу отвечать на его вопросы,— но осторожно и односложно, с упорством. На главные вопросы она все-таки ничего не ответила: она упорно молчала обо всем, что касалось прежних ее отношений к отцу. Говоря с нею, Вельчанинов взял ее ручку в свою, как давеча, и не выпускал ее; она не отнимала. Девочка, впрочем, не всё молчала; она все-таки проговорилась в неясных ответах, что отца она больше любила, чем мамашу, потому что он всегда прежде ее больше любил, а мамаша прежде ее меньше любила; но что когда мамаша умирала, то очень её целовала и плакала, когда все вышли из комнаты и они остались вдвоем... и что она теперь ее больше всех любит, больше всех, всех на свете, и каждую ночь больше всех любит ее. Но девочка была действительно гордая: спохватившись о том, что она проговорилась, она вдруг опять замкнулась и примолкла; даже с ненавистью взглянула на Вельчанинова, заставившего ее проговориться. Под конец пути истерическое состояние ее почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрела как дикарка, угрюмо, с мрачным, предрешенным упорством. Что же касается до того, что ее везут теперь в незнакомый дом, в котором она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покамест смущало. Мучило ее другое, это видел Вельчанинов; он угадывал, что ей стыдно *его*, что ей именно стыдно того, что отец так легко ее с ним отпустил, как будто бросил ее ему на руки.

«Она больна,— думал он,— может быть, очень; ее измучили... О пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его!» Он торопил кучера; он надеялся на дачу, на воздух, на сад, на детей, на новую, незнакомую ей жизнь, а там, потом... Но в том, что будет после, он уже не сомневался нисколько; там были полные, ясные надежды. Об одном только он знал совершенно: что никогда еще он не испытывал того, что ощущает теперь, и что это останется при нем на всю его жизнь! «Вот цель, вот жизнь!»— думал он восторженно.

Много мелькало в нём теперь мыслей, но он не останавливался на них и упорно избегал подробностей: без подробностей всё становилось ясно, всё было нерушимо. Главный план его сложился сам собою: «Можно будет подействовать на этого мерзав-

ца,— мечтал он,— соединенными силами, и он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу, хотя сначала только на время, на срок, и уедет один; а Лиза останется мне; вот и всё, чего же тут более? И... и, конечно, он сам этого желает; иначе зачем бы ему ее мучить». Наконец приехали. Дача Погорельцевых была действительно прелестное местечко; встретила их прежде всех шумная ватага детей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчанинов уж слишком давно тут не был, и радость детей была неистовая: его любили. Постарше тотчас же закричали ему, прежде чем он вышел из коляски:

— А что процесс, что ваш процесс?— Это подхватили и самые маленькие и со смехом визжали вслед за старшими. Его здесь дразнили процессом. Но, увидев Лизу, тотчас же окружили ее и стали ее рассматривать с молчаливым и пристальным детским любопытством. Вышла Клавдия Петровна, а за нею ее муж. И она и муж ее тоже начали, с первого слова и смеясь, вопросом о процессе.

Клавдия Петровна была дама лет тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом. Муж ее был лет пятидесяти пяти, человек умный и хитрый, но добряк прежде всего. Их дом был в полном смысле «родной угол» для Вельчанинова, как сам он выражался. Но тут скрывалось еще особое обстоятельство: лет двадцать назад эта Клавдия Петровна чуть было не вышла замуж за Вельчанинова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь была первая, пылкая, смешная и прекрасная. Кончилось, однако же, тем, что она вышла за Погорельцева. Лет через пять опять встретились, и всё кончилось ясной и тихой дружбою. Осталась навсегда какая-то теплота в их отношениях, какой-то особенный свет, озарявший эти отношения. Тут всё было чисто и безупречно в воспоминаниях Вельчанинова и тем дороже для него, что, может быть, единственно только тут это и было. Здесь, в этой семье, он был прост, наивен, добр, нянчил детей, не ломался никогда, сознавался во всем и исповедовался во всем. Он клялся не раз Погорельцевым, что поживет еще немного в свете, а там переедет к ним совсем и станет жить с ними, уже не разлучаясь. Про себя он думал об этом намерении вовсе не шутя.

Он довольно подробно изложил им о Лизе всё, что было надо; но достаточно было одной его просьбы, безо всяких особенных изложений. Клавдия Петровна расцеловала «сиротку» и обещала сделать всё с своей стороны. Дети подхватили Лизу и увели играть в сад. Через полчаса живого разговора Вельчанинов встал и стал прощаться. Он был в таком нетерпении, что всем это стало заметно. Все удивились: не был три недели и теперь уезжает через полчаса. Он смеялся и клялся, что приедет завтра. Ему заметили, что

он в слишком сильном волнении; он вдруг взял за руки Клавдию Петровну и под предлогом, что забыл сказать что-то очень важное, отвел ее в другую комнату.

— Помните вы, что я вам говорил,— вам одной, и чего даже муж ваш не знает,— о т-ском годе моей жизни?

— Слишком помню; вы часто об этом говорили.

— Я не говорил, а я исповедовался, и вам одной, вам одной! Я никогда не называл вам фамилии этой женщины; она — Трусоцкая, жена этого Трусоцкого. Это она умерла, а Лиза, ее дочь — моя дочь!

— Это наверно? Вы не ошибаетесь?— спросила Клавдия Петровна с некоторым волнением.

— Совершенно, совершенно не ошибаюсь! — восторженно проговорил Вельчанинов.

И он рассказал сколько мог вкратце, спеша и волнуясь ужасно,— всё. Клавдия Петровна и прежде знала это всё, но фамилии этой дамы не знала. Вельчанинову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь из знающих его встретит когда-нибудь m-me Трусоцкую и подумает, что *он* мог *так* любить эту женщину, что даже Клавдии Петровне, единственному своему другу, он не посмел открыть до сих пор имени «этой женщины».

— И отец ничего не знает?— спросила та, выслушав рассказ.

— Н-нет, он знает... Это-то меня и мучит, что я еще не разглядел тут всего! — горячо продолжал Вельчанинов.— Он знает, знает; я это заметил сегодня и вчера. Но мне надо знать, сколько именно он тут знает? Я потому и спешу теперь. Сегодня вечером он придет. Недоумеваю, впрочем, откуда бы ему знать,— то есть *всё-то* знать? Про Багаутова он знает всё, в этом нет сомнения. Но про меня? Вы знаете, как в этом случае жены умеют заверить своих мужей! Сойди сам ангел с небеси — муж и тому не поверит, а поверит ей! Не качайте головой, не осуждайте меня, я сам себя осуждаю и осудил во всем давно, давно!.. Видите, давеча у него я до того был уверен, что он знает всё, что компрометировал перед ним себя сам. Верите ли: мне так стыдно и тяжело, что я его вчера так грубо встретил. (Я вам потом всё подробнее расскажу!) Он и зашел вчера ко мне из непобедимого злобного желания дать мне знать, что он знает свою обиду и что ему известен обидчик! Вот вся причина его глупого прихода в пьяном виде. Но это так естественно с его стороны! Он именно зашел укорить! Вообще я слишком горячо вел это давеча и вчера! Неосторожно, глупо! Сам себя ему выдал! Зачем он в такую расстроенную минуту подъехал? Говорю же вам, что он даже Лизу мучил, мучил ребенка, и, наверно, тоже, чтоб укорить, чтоб зло сорвать хоть на ребенке! Да, он озлоблен,— как он ни ничтожен, но он озлоблен; очень

даже. Само собою, это не более как шут, хотя прежде, ей-богу, он имел вид порядочного человека, насколько мог, но ведь это так естественно, что он пошел беспутничать! Тут, друг мой, по-христиански надо взглянуть! И знаете, милая, добрая моя,— я хочу к нему совсем перемениться: я хочу обласкать его. Это будет даже «доброе дело» с моей стороны. Потому что ведь все-таки я же перед ним виноват! Послушайте, знаете, я вам еще скажу: мне раз в Т. вдруг четыре тысячи рублей понадобились, и он мне выдал их в одну минуту, безо всякого документа, с искреннею радостью, что мог угодить, и ведь я же взял тогда, я ведь из рук его взял, я деньги брал от него, слышите, брал как у друга!

— Только будьте осторожнее,— с беспокойством заметила на всё это Клавдия Петровна,— и как вы восторженны, я, право, боюсь за вас! Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тут так много, так много еще неразрешенного! А главное, будьте теперь осмотрительнее; вам непременно надо быть осмотрительнее, когда вы в счастье или в таком восторге; вы слишком великодушны, когда вы в счастье,— прибавила она с улыбкою.

Все вышли провожать Вельчанинова; дети привели Лизу, с которой играли в саду. Они смотрели на нее теперь, казалось, еще с большим недоумением, чем давеча. Лиза задичилась совсем, когда Вельчанинов поцеловал ее при всех, прощаясь, и с жаром повторил обещание приехать завтра с отцом. До последней минуты она молчала и на него не смотрела, но тут вдруг схватила его за рукав и потянула куда-то в сторону, устремив на него умоляющий взгляд; ей хотелось что-то сказать ему. Он тотчас отвел ее в другую комнату.

— Что такое, Лиза?— нежно и ободрительно спросил он, но она, всё еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше в угол; ей хотелось совсем от всех спрятаться.

— Что такое, Лиза, что такое?

Она молчала и не решалась; неподвижно глядела в его глаза своими голубыми глазами, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх.

— Он... повесится! — прошептала она как в бреду.

— Кто повесится?— спросил Вельчанинов в испуге.

— Он, он! Он ночью хотел на петле повеситься! — торопясь и задыхаясь говорила девочка.— Я сама видела! Он давеча хотел на петле повеситься, он мне говорил, говорил! Он и прежде хотел, всегда хотел... Я видела ночью...

— Не может быть! — прошептал Вельчанинов в недоумении. Она вдруг бросилась целовать ему руки; она плакала, едва переводя дыхание от рыданий, просила и умоляла его, но он ничего не мог понять из ее истерического лепета. И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот измученный

взгляд замученного ребенка, в безумном страхе и с последней надеждой смотревший на него.

«И неужели, неужели она так его любит?— ревниво и завистливо думал он, с лихорадочным нетерпением возвращаясь в город.— Она давеча сама сказала, что мать больше любит... может быть, она его ненавидит, а вовсе не любит!..»

«И что такое «повесится»? Что такое она говорила? Ему, дураку, повеситься?.. Надо узнать; надо непременно узнать! Надо всё как можно скорее решить,— решить окончательно!»

VII

Муж и любовник целуются

Он ужасно спешил «узнать». «Давеча меня ошеломило; давеча некогда было соображать,— думал он, вспоминая первую встречу свою с Лизой,— ну а теперь — надо узнать». Чтобы поскорее узнать, он в нетерпении велел было прямо везти себя к Трусоцкому, но тотчас одумался: «Нет, пусть лучше он сам ко мне придет, а я тем временем поскорее с этими проклятыми делами покончу».

За дела он принялся лихорадочно; но в этот раз сам почувствовал, что очень рассеян и что ему нельзя сегодня заниматься делами. В пять часов, когда уже он отправился обедать, вдруг, в первый раз, пришла ему в голову смешная мысль: что ведь и в самом деле он, может быть, только мешает дело делать, вмешиваясь сам в эту тяжбу, сам суетясь и толкаясь по присутственным местам и ловя своего адвоката, который стал от него прятаться. Он весело рассмеялся над своим предположением. «А ведь приди вчера мне в голову эта мысль, я бы ужасно огорчился»,— прибавил он еще веселее. Несмотря на веселость, он становился всё рассеяннее и нетерпеливее: стал, наконец, задумчив; и хоть за многое цеплялась его беспокойная мысль, в целом ничего не выходило из того, что ему было нужно.

«Мне его нужно, этого человека! — решил он наконец.— Его надо разгадать, а уж потом и решать. Тут — дуэль!»

Воротясь домой в семь часов, он Павла Павловича у себя не застал и пришел от того в крайнее удивление, потом в гнев, потом даже в уныние; наконец, стал и бояться. «Бог знает, бог знает, чем это кончится!»— повторял он, то расхаживая по комнате, то протягиваясь на диване и все смотря на часы. Наконец, уже около девяти часов, появился и Павел Павлович. «Если бы этот человек хитрил, то никогда бы лучше не подсидел меня, как теперь,— до того я в эту минуту расстроен»,— подумал он, вдруг совершенно ободрившись и ужасно повеселев.

На бойкий и веселый вопрос: зачем долго не приходил,— Павел Павлович криво улыбнулся, развязно, не по-вчерашнему, уселся и как-то небрежно отбросил на другой стул свою шляпу с крепом. Вельчанинов тотчас заметил эту развязность и принял к сведенью.

Спокойно и без лишних слов, без давешнего волнения, рассказал он, в виде отчета, как он отвез Лизу, как ее мило там приняли, как это ей будет полезно, и мало-помалу, как бы совсем и забыв о Лизе, незаметно свел речь исключительно только на Погорельцевых,— то есть какие это милые люди, как он с ними давно знаком, какой хороший и даже влиятельный человек Погорельцев и тому подобное. Павел Павлович слушал рассеянно и изредка исподлобья с брюзгливой и плутоватой усмешкой поглядывал на рассказчика.

— Пылкий вы человек,— пробормотал он, как-то особенно скверно улыбаясь.

— Однако вы сегодня какой-то злой,— с досадой заметил Вельчанинов.

— А отчего же бы мне злым не быть-с, подобно всем другим?— вскинулся вдруг Павел Павлович, точно выскочил из-за угла; даже точно того только и ждал, чтобы выскочить.

— Полная ваша воля,— усмехнулся Вельчанинов,— я подумал, не случилось ли с вами чего?

— И случилось-с! — воскликнул тот, точно хвастаясь, что случилось.

— Что ж это такое?

Павел Павлович несколько подождал отвечать:

— Да вот-с всё ваш Степан Михайлович чудасит... Багаутов, изящнейший петербургский молодой человек, высшего общества-с.

— Не приняли вас опять, что ли?

— Н-нет, именно в этот-то раз и приняли, в первый раз допустили-с, и черты созерцал... только уж у покойника!..

— Что-о-о! Багаутов умер?— ужасно удивился Вельчанинов, хотя, казалось, и нечему было ему-то так удивиться.

— Он-с! Неизменный и шестилетний друг! Еще вчера чуть не в полдень помер, а я и не знал! Я, может, в самую-то эту минуту и заходил тогда о здоровье наведаться. Завтра вынос и погребение, уж в гробике лежит-с. Гроб обит бархатом цвету масака, позумент золотой... от нервной горячки помер-с. Допустили, допустили, созерцал черты! Объявил при входе, что истинным другом считался, потому и допустили. Что ж он со мной изволил теперь сотворить, истинный-то и шестилетний друг,— я вас спрашиваю? Я, может, единственно для него одного и в Петербург ехал!

— Да за что же вы на него-то сердитесь,— засмеялся Вельчанинов,— ведь он не нарочно же умер!

— Да ведь я и сожалея говорю; друг-то драгоценный; ведь он вот что для меня значил-с.

И Павел Павлович вдруг, совсем неожиданно, сделал двумя пальцами рога над своим лысым лбом и тихо, продолжительно захихикал. Он просидел так, с рогами и хихикая, целые полминуты, с каким-то упоением самой ехидной наглости смотря в глаза Вельчанинову. Тот остолбенел как бы при виде какого-то призрака. Но столбняк его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновение; насмешливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губах.

— Это что ж такое означало?— спросил он небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-с,— отрезал Павел Павлович, отнимая наконец свои пальцы от лба.

— То есть... ваши рога?

— Мои собственные, благоприобретенные! — ужасно скверно скривился опять Павел Павлович.

Оба помолчали.

— Храбрый вы, однако же, человек! — проговорил Вельчанинов.

— Это оттого, что я рога-то вам показал? Знаете ли что, Алексей Иванович, вы бы меня лучше чем-нибудь угостили! Ведь угощал же я вас в Т., целый год-с, каждый божий день-с... Пошлите-ка за бутылочкой, в горле пересохло.

— С удовольствием; вы бы давно сказали. Вам чего?

— Да что *вам,* говорите *нам;* вместе ведь выпьем, неужто нет?— с вызовом, но в то же время и с странным каким-то беспокойством засматривал ему в глаза Павел Павлович.

— Шампанского?

— А то чего же? До водки еще черед не дошел-с...

Вельчанинов неторопливо встал, позвонил вниз Мавру и распорядился.

— На радость веселой встречи-с, после девятилетней разлуки,— ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович,— теперь вы, и один уж только вы, у меня и остались истинным другом-с! Нет Степана Михайловича Багаутова! Это как у поэта:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Ферсит!

И при слове «Ферсит» он пальцем ткнул себе в грудь.

«Да ты, свинья, объяснился бы скорее, а намеков я не люблю»,— думал про себя Вельчанинов. Злоба кипела в нем, и он давно уже едва себя сдерживал.

— Вы мне вот что скажите,— начал он досадливо,— если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича (он уже теперь не назвал его просто Багаутовым), то ведь вам же, кажется, радость, что обидчик ваш умер; чего ж вы злитесь?

— Какая же радость-с? Почему же радость?

— Я по вашим чувствам сужу.

— Хе-хе, на этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь-с, по изречению одного мудреца: «Хорош враг мертвый, но еще лучше живой», хи-хи!

— Да вы живого-то лет пять, я думаю, каждый день видели, было время наглядеться,— злобно и нагло заметил Вельчанинов.

— А разве тогда... разве я тогда знал-с?— вскинулся вдруг Павел Павлович, опять точно из-за угла выскочил, даже как бы с какою-то радостью, что ему наконец сделали вопрос, которого он так давно ожидал.— За кого же вы меня, Алексей Иванович, стало быть, почитаете?

И во взгляде его блеснуло вдруг какое-то совершенно новое и неожиданное выражение, как бы преобразившее совсем в другой вид злобное и доселе только подло кривлявшееся его лицо.

— Так неужели же вы ничего не знали! — проговорил озадаченный Вельчанинов с самым внезапным удивлением.

— Так неужто же знал-с! Неужто знал? О, порода — Юпитеров наших! У вас человек всё равно, что собака, и вы всех по своей собственной натуришке судите! Вот вам-с! Проглотите-ка! — и он с бешенством стукнул по столу кулаком, но тотчас же сам испугался своего стука и уже поглядел боязливо.

Вельчанинов приосанился.

— Послушайте, Павел Павлович, мне решительно ведь всё равно, согласитесь сами, знали вы там или не знали? Если вы не знали, то это делает вам во всяком случае честь, хотя... впрочем, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своим конфидентом?..

— Я не об вас... не сердитесь, не об вас...— бормотал Павел Павлович, смотря в землю.

Мавра вошла с шампанским.

— Вот и оно! — закричал Павел Павлович, видимо обрадовавшись исходу.— Стаканчиков, матушка, стаканчиков; чудесно! Больше ничего от вас, милая, не потребуется. И уж откупорено? Честь вам и слава, милое существо! Ну, отправляйтесь!

И, вновь ободрившись, он опять с дерзостью посмотрел на Вельчанинова.

— А признайтесь,— хихикнул он вдруг,— что вам ужасно всё это любопытно-с, а вовсе не «решительно всё равно», как вы изволили выговорить, так что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту встал и ушел-с, ничего вам не объяснивши.

— Право, не огорчился бы.

«Ой, лжешь!» — говорила улыбка Павла Павловича.

— Ну-с, приступим! — и он розлил вино в стаканы.

— Выпьем тост,— провозгласил он, поднимая стакан,— за здоровье в бозе почившего друга Степана Михайловича!

Он поднял стакан и выпил.

— Я такого тоста не стану пить,— поставил свой стакан Вельчанинов.

— Почему же? Тостик приятный.

— Вот что: вы, войдя теперь, пьяны не были?

— Пил немного. А что-с?

— Ничего особенного, но мне показалось, что вчера и особенно сегодня утром вы искренно сожалели о покойной Наталье Васильевне.

— А кто вам сказал, что я не искренно сожалею о ней и теперь?— тотчас же выскочил опять Павел Павлович, точно опять дернули его за пружинку.

— Я и не к тому; но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчет Степана Михайловича, а это — дело важное.

Павел Павлович хитро улыбнулся и подмигнул.

— А уж как бы вам хотелось узнать про то, как сам-то я узнал про Степана Михайловича!

Вельчанинов покраснел:

— Повторяю вам опять, что мне всё равно. «А не вышвырнуть ли его сейчас вон, вместе с бутылкой?»— яростно подумал он и покраснел еще больше.

— Ничего-с! — как бы ободряя его, проговорил Павел Павлович и налил себе еще стакан.

— Я вам сейчас объясню, как я «всё» узнал-с, и тем удовлетворю ваши пламенные желания... потому что пламенный вы человек, Алексей Иванович, страшно пламенный человек-с! хе-хе! дайте только мне папиросочку, потому что я с марта месяца...

— Вот вам папироска.

— Развратился я с марта месяца, Алексей Иванович, и вот как всё это произошло-с, прислушайте-ка-с. Чахотка, как вы сами знаете, милейший друг,— фамильярничал он всё больше и больше,— есть болезнь любопытная-с. Сплошь да рядом чахоточный человек умирает, почти и не подозревая, что он завтра умрет-с. Говорю вам, что за пять еще часов Наталья Васильевна располагалась недели через две к своей тетеньке верст за сорок отправиться. Кроме того, вероятно, известна вам привычка, или, лучше сказать, повадка, общая многим дамам, а может, и кавалерам-с: сохранять у себя старый хлам по части переписки любовной-с. Всего вернее бы в печь, не так ли-с? Нет, всякий-то лоскуточек бумажки у них в ящичках и в несессерах бережно сохраняется;

даже поднумеровано по годам, по числам и по разрядам. Утешает это, что ли, уж очень — не знаю-с; а должно быть, для приятных воспоминаний. Располагаясь за пять часов до кончины ехать на праздник к тетеньке, Наталья Васильевна, естественно, и мысли о смерти не имела, даже до самого последнего часу-с, и всё Коха ждала. Так и случилось-с, что померла Наталья Васильевна, а ящичек черного дерева, с перламутровой инкрустацией и с серебром-с, остался у ней в бюро. И красивенький такой ящичек, с ключом-с, фамильный, от бабушки ей достался. Ну-с — в этом вот ящичке всё и открылось-с, то есть всё-с, безо всякого исключения, по дням и по годам, за всё двадцатилетие. А так как Степан Михайлович решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал, то его произведений в шкатулочке чуть не до сотни нумеров оказалось,— правда, что за пять лет-с. Иные нумера так с собственноручными пометками Натальи Васильевны. Приятно супругу, как вы думаете-с?

Вельчанинов быстро сообразил и припомнил, что он никогда ни одного письма, ни одной записки не написал к Наталье Васильевне. А из Петербурга хотя и написал два письма, но на имя обоих супругов, как и было условлено. На последнее же письмо Натальи Васильевны, в котором ему предписывалась отставка, он и не отвечал.

Кончив рассказ, Павел Павлович молчал целую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь.

— Что же вы ничего мне не ответили на вопросик-то-с?— проговорил он наконец с явным мучением.

— На какой это вопросик?

— Да вот о приятных-то чувствах супруга-с, открывающего шкатулочку..

— Э, какое мне дело! — желчно махнул рукой Вельчанинов, встал и начал ходить по комнате.

— И бьюсь об заклад, вы теперь думаете: «Свинья же ты, что сам на рога свои указал», хе-хе! Брезгливейший человек... вы-с.

— Ничего я про это не думаю. Напротив, вы слишком раздражены смертью вашего оскорбителя и к тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всем этом необыкновенного; слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов, и готов уважать вашу досаду; но...

— А для чего нужен был мне Багаутов, по вашему мнению-с?

— Это ваше дело.

— Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевали-с?

— Черт возьми! — всё более и более не сдерживался Вельчанинов.— Я думал, что как всякий порядочный человек... в подобных случаях — не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, до смешных жалоб и гадких намеков, которыми сам себя еще больше марает, а действует явно, прямо, открыто, как порядочный человек!

— Хе-хе, да, может, я и не порядочный человек-с?

— Это опять-таки ваше дело... а, впрочем, на какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова?

— Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку да и выпили вместе.

— Он бы с вами и пить не стал.

— Почему? Noblesse oblige?[1] Ведь вот пьете же вы со мной-с; чем он вас лучше?

— Я с вами не пил.

— Почему же такая вдруг гордость-с?

Вельчанинов вдруг нервно и раздражительно расхохотался:

— Фу, черт! да вы решительно «хищный тип» какой-то! Я думал, что вы только «вечный муж», и больше ничего!

— Это как же так «вечный муж», что такое?— насторожил вдруг уши Павел Павлович.

— Так, один тип мужей... долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вам; надоели вы мне!

— А хищно-то что ж? Вы сказали хищно?

— Я сказал, что вы «хищный тип»,— в насмешку вам сказал.

— Какой такой «хищный тип-с»? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради бога-с, или ради Христа-с.

— Ну да довольно же, довольно! — ужасно вдруг опять рассердился и закричал Вельчанинов — пора вам, убирайтесь!

— Нет, не довольно-с! — вскочил и Павел Павлович,— даже хоть и надоел я вам, так и тут не довольно, потому что мы еще прежде должны с вами выпить и чокнуться! Выпьем, тогда я уйду-с, а теперь не довольно!

— Павел Павлович, можете вы сегодня убраться к черту или нет?

— Я могу убраться к черту-с, но сперва мы выпьем! Вы сказали, что не хотите пить именно *со мной;* ну, а *я хочу,* чтобы вы именно со мной-то и выпили!

Он уже не кривлялся более, он уже не подхихикивал. Всё в нем опять вдруг как бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигуре и всему тону еще сейчашнего Павла Павловича, что Вельчанинов был решительно озадачен.

— Эй, выпьем, Алексей Иванович, эй, не отказывайте! — продолжал Павел Павлович, схватив крепко его за руку и странно

[1] *Здесь:* Честь не позволяет? *(франц.)*

смотря ему в лицо. Очевидно, дело шло не об одной только выпивке.

— Да, пожалуй,— пробормотал тот,— где же... тут бурда...

— Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-с, но мы выпьем и чокнемся-с! Вот-с, извольте принять ваш стакан.

Они чокнулись и выпили.

— Ну, а коли так, коли так... ах! — Павел Павлович вдруг схватился за лоб рукой и несколько мгновений оставался в таком положении. Вельчанинову померещилось, что он вот-вот да и выговорит сейчас самое *последнее* слово. Но Павел Павлович ничего ему не выговорил; он только посмотрел на него и тихо, во весь рот, улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой.

— Чего вы от меня хотите, пьяный вы человек! Дурачите вы меня! — неистово закричал Вельчанинов, затопав ногами.

— Не кричите, не кричите, зачем кричать?— торопливо замахал рукой Павел Павлович.— Не дурачу, не дурачу! Вы знаете ли, что вы теперь — вот чем для меня стали.

И вдруг он схватил его руку и поцеловал. Вельчанинов не успел опомниться.

— Вот вы мне теперь кто-с! А теперь — я ко всем чертям!

— Подождите, постойте! — закричал опомнившийся Вельчанинов.— Я забыл вам сказать...

Павел Павлович повернулся от дверей.

— Видите,— забормотал Вельчанинов чрезвычайно скоро, краснея и смотря совсем в сторону,— вам бы следовало завтра непременно быть у Погорельцевых... познакомиться и поблагодарить,— непременно...

— Непременно, непременно, уж как и не понять-с! — с чрезвычайною готовностью подхватил Павел Павлович, быстро махая рукой в знак того, что и напоминать бы не надо.

— И к тому же вас и Лиза очень ждет. Я обещал...

— Лиза,— вернулся вдруг опять Павел Павлович,— Лиза? Знаете ли вы, что такое была для меня Лиза-с, была и есть-с? Была и есть! — закричал он вдруг почти в исступлении,— но... Хе! Это после-с; всё будет после-с... а теперь — мне мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович, мне другое удовлетворение необходимо-с!..

Он положил на стул шляпу и, как давеча, задыхаясь немного, смотрел на него.

— Поцелуйте меня, Алексей Иванович,— предложил он вдруг.

— Вы пьяны?— закричал тот и отшатнулся.

— Пьян-с, а вы всё-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович, эй, поцелуйте! Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку!

Алексей Иванович несколько мгновений молчал, как будто от

удару дубиной по лбу. Но вдруг он наклонился к бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцеловал его в губы, от которых очень пахло вином. Он не совсем, впрочем, был уверен, что поцеловал его.

— Ну уж теперь, теперь...— опять в пьяном исступлении крикнул Павел Павлович, засверкав своими пьяными глазами,— теперь вот что-с: я тогда подумал —«неужто и этот? уж если этот, думаю, если уж и он тоже, так кому же после этого верить!»

Павел Павлович вдруг залился слезами.

— Так понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?!

И он выбежал с своей шляпой из комнаты. Вельчанинов опять простоял несколько минут на одном месте, как и после первого посещения Павла Павловича.

«Э, пьяный шут, и больше ничего!»— махнул он рукой.

«Решительно больше ничего!»— энергически подтвердил он, когда уже разделся и лег в постель.

VIII

Лиза больна

На другой день поутру, в ожидании Павла Павловича, обещавшего не запоздать, чтобы ехать к Погорельцевым, Вельчанинов ходил по комнате, прихлебывал свой кофе, курил и каждую минуту сознавался себе, что он похож на человека, проснувшегося утром и каждый миг вспоминающего о том, как он получил накануне пощечину. «Гм... он слишком понимает, в чем дело, и отмстит мне Лизой!»— думал он в страхе.

Милый образ бедного ребенка грустно мелькнул перед ним. Сердце его забилось сильнее от мысли, что он сегодня же, скоро, через два часа, опять увидит *свою* Лизу. «Э, что тут говорить! — решил он с жаром,— теперь в этом вся жизнь и вся моя цель! Что там все эти пощечины и воспоминания!.. И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть... а теперь — всё другое, всё по-другому!»

Но, несмотря на свой восторг, он задумывался всё более и более.

«Он замучает меня Лизой,— это ясно! И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет, за *всё*. Гм... без сомнения, я не могу же позволить вчерашних выходок с его стороны,— покраснел он вдруг,— и... и вот, однако же, он не идет, а уж двенадцатый час!»

Он ждал долго, до половины первого, и тоска его возрастала всё более и более. Павел Павлович не являлся. Наконец давно

уж шевелившаяся мысль о том, что тот не придет нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку по-вчерашнему, раздражила его вконец: «Он знает, что я от него завишу, и что́ будет теперь с Лизой! И как я явлюсь к ней без него!»

Наконец он не выдержал и ровно в час пополудни поскакал сам к Покрову. В номерах ему объявили, что Павел Павлович дома и не ночевал, а пришел лишь поутру в девятом часу, побыл всего четверть часика да и опять отправился. Вельчанинов стоял у двери Павла Павловичева номера, слушал говорившую ему служанку и машинально вертел ручку запертой двери и потягивал ее взад и вперед. Опомнившись, он плюнул, оставил замок и попросил сводить его к Марье Сысоевне. Но та, услыхав о нем, и сама охотно вышла.

Это была добрая баба, «баба с благородными чувствами», как выразился о ней Вельчанинов, когда передавал потом свой разговор с нею Клавдии Петровне. Расспросив коротко о том, как он отвез вчера «дево́чку», Марья Сысоевна тотчас же пустилась в рассказы о Павле Павловиче. По ее словам, не будь только робеночка, давно бы она его выжила. Его и из гостиницы сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну, не грех ли, с собой девку ночью привел, когда тут же робеночек с понятием! Кричит: «Это вот тебе будет мать, коли я того захочу!» Так верите ли, чего уж девка, а и та ему плюнула в харю. Кричит: «Ты, говорит, мне не дочь, а в...док».

— Что вы?— испугался Вельчанинов.

— Сама слышала. Оно хоть и пьяный человек, ровно как в бесчувствии, да всё же при робенке не годится; хоть и малолеток, а всё умом про себя дойдет! Плачет дево́чка, совсем, вижу, замучилась. А намедни тут на дворе у нас грех вышел: комиссар, что ли, люди сказывали, номер в гостинице с вечера занял, а к утру и повесился. Сказывали, деньги прогулял. Народ сбежался, Павла-то Павловича самого дома нет, а робенок без призору ходит, гляжу, и она там в коридоре меж народом, да из-за других и выглядывает, чудно́ так на висельника-то глядит. Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь,— вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела — она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчик, что ли, а с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел — исщипал ее всю — потому он не то чтобы драться, а всё больше щипится, а потом нахлестался винища-то, пришел да и пужает ее: «Я, говорит, тоже повешусь, от тебя повешусь; вот на этом самом, говорит, шнурке, на сторе повешусь»; и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит — кричит, ручонками его обхватила: «Не буду, кричит, никогда не буду». Жалость!

Вельчанинов хотя и ожидал кой-чего очень странного, но эти рассказы его так поразили, что он даже и не поверил. Марья

Сысоевна много еще рассказывала; был, например, один случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза из окна бы, может, выбросилась. Он вышел из номера сам точно пьяный. «Я убью его палкой, как собаку, по голове!»— мерещилось ему. И он долго повторял это про себя.

Он нанял коляску и отправился к Погорельцевым. Еще не выезжая из города, коляска принуждена была остановиться на перекрестке, у мостика через канаву, через который пробиралась большая похоронная процессия. И с той и с другой стороны моста стеснилось несколько поджидавших экипажей; останавливался и народ. Похороны были богатые, и поезд провожавших карет был очень длинен, и вот в окошке одной из этих провожавших карет мелькнуло вдруг перед Вельчаниновым лицо Павла Павловича. Он не поверил бы, если бы Павел Павлович не выставился сам из окна и не закивал ему улыбаясь. По-видимому, он ужасно был рад, что узнал Вельчанинова; даже начал делать из кареты ручкой. Вельчанинов выскочил из коляски и, несмотря на тесноту, на городовых и на то что карета Павла Павловича въезжала уже на мост, подбежал к самому окошку. Павел Павлович сидел один.

— Что с вами,— закричал Вельчанинов,— зачем вы не пришли? как вы здесь?

— Долг отдаю-с,— не кричите, не кричите,— долг отдаю,— захихикал Павел Павлович, весело прищуриваясь,— бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича.

— Нелепость это всё, пьяный вы, безумный человек! — еще сильнее прокричал озадаченный было на миг Вельчанинов.— Выходите сейчас и садитесь со мной; сейчас!

— Не могу-с, долг-с...

— Я вас вытащу! — вопил Вельчанинов.

— А я закричу-с! А я закричу-с! — всё так же весело подхихикивал Павел Павлович — точно с ним играют,— прячась, впрочем, в задний угол кареты.

— Берегись, берегись, задавят! — закричал городовой. Действительно, при спуске с моста чья-то посторонняя карета, прорвавшая поезд, наделала тревоги. Вельчанинов принужден был отскочить; другие экипажи и народ тотчас же оттеснили его далее. Он плюнул и пробрался к своей коляске.

«Всё равно, такого и без того нельзя с собой везти!»— подумал он с продолжавшимся тревожным изумлением.

Когда он передал Клавдии Петровне рассказ Марьи Сысоевны и странную встречу на похоронах, та сильно задумалась: «Я за вас боюсь,— сказала она ему,— вы должны прервать с ним всякие отношения, и чем скорее, тем лучше».

— Шут он пьяный, и больше ничего! — запальчиво вскричал

Вельчанинов,— стану я его бояться! И как я прерву отношения, когда тут Лиза. Вспомните про Лизу!

Между тем Лиза лежала больная; вчера вечером с нею началась лихорадка, и из города ждали одного известного доктора, за которым чем свет послали нарочного. Всё это окончательно расстроило Вельчанинова. Клавдия Петровна повела его к больной.

— Я вчера к ней очень присматривалась,— заметила она, остановившись перед комнатой Лизы,— это гордый и угрюмый ребенок; ей стыдно, что она у нас и что отец ее так бросил; вот в чем вся болезнь, по-моему.

— Как бросил? Почему вы думаете, что бросил?

— Уж одно то, как он отпустил ее сюда, совсем в незнакомый дом, и с человеком... тоже почти не́знакомым или в таких отношениях...

— Да я ее сам взял, силой взял; я не нахожу...

— Ах, боже мой, это уж Лиза, ребенок, находит! По-моему, он просто никогда не приедет.

Увидев Вельчанинова одного, Лиза не изумилась; она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горевшую в жару головку к стене. Она ничего не отвечала на робкие утешения и на горячие обещания Вельчанинова завтра же наверно привезти ей отца. Выйдя от нее, он вдруг заплакал.

Доктор приехал только к вечеру. Осмотрев больную, он с первого слова всех напугал, заметив, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили, что больная заболела всего только вчера вечером, он сначала не поверил. «Всё зависит от того, как пройдет эта ночь»,— решил он наконец и, сделав свои распоряжения, уехал, обещав прибыть завтра как можно раньше. Вельчанинов хотел было непременно остаться ночевать; но Клавдия Петровна сама упросила его еще раз «попробовать привезти сюда этого изверга».

— Еще раз?— в исступлении переговорил Вельчанинов.— Да я его теперь свяжу и в своих руках привезу!

Мысль связать и привезти Павла Павловича в руках овладела им вдруг до крайнего нетерпения. «Ничем, ничем не чувствую я теперь себя пред ним виноватым! — говорил он Клавдии Петровне, прощаясь с нею.— Отрекаюсь от всех моих вчерашних низких, плаксивых слов, которые здесь говорил!»— прибавил он в негодовании.

Лиза лежала с закрытыми глазами и, по-видимому, спала; казалось, ей стало лучше. Когда Вельчанинов нагнулся осторожно к ее головке, чтобы, прощаясь, поцеловать хоть краешек ее платья,— она вдруг открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала: «Увезите меня».

Это была тихая, скорбная просьба, безо всякого оттенка вчерашней раздражительности, но вместе с тем послышалось и что-то такое, как будто она и сама была вполне уверена, что просьбу ее ни за что не исполнят. Чуть только Вельчанинов, совсем в отчаянии, стал уверять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова более не проговорила, как будто и не слушала и не видела его.

Въехав в город, он прямо велел везти себя к Покрову. Было уже десять часов; Павла Павловича в номерах не было. Вельчанинов прождал его целые полчаса, расхаживая по коридору в болезненном нетерпении. Марья Сысоевна уверила его, наконец, что Павел Павлович вернется разве только к утру чем свет. «Ну так и я приеду чем свет»,— решил Вельчанинов и вне себя отправился домой.

Но каково же было его изумление, когда он, еще не входя к себе, услышал от Мавры, что вчерашний гость уже с десятого часу его ожидает. «И чай изволили у нас кушать, и за вином опять посылали, за тем самым, синюю бумажку выдали».

IX
Привидение

Павел Павлович расположился чрезвычайно комфортно. Он сидел на вчерашнем стуле, курил папироски и только что налил себе четвертый, последний стакан из бутылки. Чайник и стакан с недопитым чаем стояли тут же подле него на столе. Раскрасневшееся лицо его сияло благодушием. Он даже снял с себя фрак, по-летнему, и сидел в жилете.

— Извините, вернейший друг! — вскричал он, завидев Вельчанинова и схватываясь с места, чтоб надеть фрак,— снял для пущего наслаждения минутой...

Вельчанинов грозно к нему приблизился.

— Вы не совершенно еще пьяны? Можно еще с вами поговорить?

Павел Павлович несколько оторопел.

— Нет, не совершенно. Помянул усопшего, но — не совершенно-с...

— Поймете вы меня?

— С тем и явился, чтобы вас понимать-с.

— Ну так я же вам прямо начинаю с того, что вы — негодяй! — закричал Вельчанинов сорвавшимся голосом.

— Если с этого начинаете-с, то чем кончите-с?— чуть-чуть протестовал было Павел Павлович, видимо сильно струсивший, но Вельчанинов кричал не слушая:

— Ваша дочь умирает, она больна; бросили вы ее или нет?

— Неужто уж умирает-с?

— Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна!

— Может, припадочки-с...

— Не говорите вздору! Она чрез-вы-чайно опасно больна! Вам следовало ехать уж из того одного...

— Чтоб возблагодарить-с, за гостеприимство возблагодарить! Слишком понимаю-с! Алексей Иванович, дорогой, совершенный,— ухватил он его вдруг за руку обеими своими руками и с пьяным чувством, чуть не со слезами, как бы испрашивая прощения, выкрикивал:— Алексей Иванович, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчас пьяный в Неву — что ж из того-с, при настоящем значении дел-с? А к господину Погорельцеву и всегда поспеем-с...

Вельчанинов спохватился и капельку сдержал себя.

— Вы пьяны, а потому я не понимаю, в каком смысле вы говорите,— заметил он строго,— я объясниться всегда с вами готов; даже рад поскорей... Я и ехал... Но прежде всего знайте, что я принимаю меры: вы сегодня должны у меня ночевать! Завтра утром я вас беру, и мы едем. Я вас не выпущу!— завопил он опять, я вас скручу и в руках повезу!.. Удобен вам этот диван?— указал он ему, задыхаясь, на широкий и мягкий диван, стоявший напротив того дивана, на котором спал он сам, у другой стены.

— Помилуйте, да я и везде-с...

— Не везде, а на этом диване! Берите, вот вам простыня, одеяло, подушка (всё это Вельчанинов вытащил из шкафа и, торопясь, выбрасывал Павлу Павловичу, покорно подставившему руку) — стелите сейчас, сте-ли-те же!

Навьюченный Павел Павлович стоял среди комнаты как бы в нерешимости, с длинной, пьяной улыбкой на пьяном лице; но при вторичном грозном окрике Вельчанинова вдруг, со всех ног, бросился хлопотать, отставил стол и пыхтя стал расправлять и настилать простыню. Вельчанинов подошел ему помочь; он был отчасти доволен покорностию и испугом своего гостя.

— Допивайте ваш стакан и ложитесь,— скомандовал он опять; он чувствовал, что не мог не командовать,— это вы сами за вином распорядились послать?

— Сам-с, за вином... Я, Алексей Иванович, знал, что вы уже более не пошлете-с.

— Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтоб вы еще больше узнали. Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры: кривляний ваших больше не потерплю, пьяных вчерашних поцелуев не потерплю!

— Я ведь и сам, Алексей Иванович, понимаю, что это всего

один только раз было возможно-с,— ухмыльнулся Павел Павлович.

Услышав ответ, Вельчанинов, шагавший по комнате, почти торжественно остановился вдруг перед Павлом Павловичем:

— Павел Павлович, говорите прямо! Вы умны, я опять сознаюсь в этом, но уверяю вас, что вы на ложной дороге! Говорите прямо, действуйте прямо, и, честное слово даю вам,— я отвечу на всё, что угодно!

Павел Павлович ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна уже так бесила Вельчанинова.

— Стойте! — закричал тот опять.— Не прикидывайтесь, я насквозь вас вижу! Повторяю: даю вам честное слово, что я готов вам ответить на *всё,* и вы получите всякое возможное удовлетворение, то есть всякое, даже и невозможное! О, как бы я желал, чтоб вы меня поняли!..

— Если уж вы так добры-с,— осторожно придвинулся к нему Павел Павлович,— то вот-с очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный тип-с!..

Вельчанинов плюнул и пустился опять, еще скорее, шагать по комнате.

— Нет-с, Алексей Иванович, вы не плюйтесь, потому что я очень заинтересован и именно пришел проверить-с... У меня язык плохо вяжется, но вы простите-с. Я ведь об «хищном» этом типе и об «смирном-с» сам в журнале читал, в отделении критики-с,— припомнил сегодня поутру... только забыл-с, а по правде, тогда и не понял-с. Я вот именно желал разъяснить: Степан Михайлович Багаутов, покойник-с,— что он, «хищный» был или «смирный-с»? Как причислить-с?

Вельчанинов всё еще молчал, не переставая шагать.

— Хищный тип это тот,— остановился он вдруг в ярости,— это тот человек, который скорей бы отравил в стакане Багаутова, когда стал бы с ним «шампанское пить» во имя приятной с ним встречи, как вы со мной вчера пили,— а не поехал бы его гроб на кладбище провожать, как вы давеча поехали, черт знает из каких ваших сокрытых, подпольных, гадких стремлений и марающих вас самих кривляний! Вас самих!

— Это точно, что не поехал бы-с,— подтвердил Павел Павлович,— только как уж вы, однако, на меня-то-с...

— Это не тот человек,— горячился и кричал Вельчанинов не слушая,— не тот, который напредставит сам себе бог знает чего, итоги справедливости и юстиции подведет, обиду свою как урок заучит, ноет, кривляется, ломается, на шее у людей виснет — и глядь — на то всё и время свое употребил! Правда, что вы хотели повеситься? Правда?

— В хмелю, может, сбредил что,— не помню-с. Нам, Алексей

Иванович, как-то и неприлично уж яд-то подсыпать. Кроме того, что чиновник на хорошем счету,— у меня и капитал ведь найдется-с, а может, к тому жениться опять захочу-с.

— Да и в каторгу сошлют.

— Ну да-с, и эта вот неприятность тоже-с, хотя нынче, в судах, много облегчающих обстоятельств подводят. А я вам, Алексей Иванович, один анекдотик преуморительный, давеча в карете вспомнил-с, хотел сообщить-с. Вот вы сказали сейчас: «У людей на шее виснет». Семена Петровича Ливцова, может, припомните-с, к нам в Т. при вас заезжал; ну, так брат его младший, тоже петербургский молодой человек считается, в В-ом при губернаторе служил и тоже блистал-с разными качествами-с. Поспорил он раз с Голубенко, полковником, в собрании, в присутствии дам и дамы его сердца, и счел себя оскорбленным, но обиду скушал и затаил; а Голубенко тем временем даму сердца его отбил и руку ей предложил. Что ж вы думаете? Этот Ливцов — даже искренно ведь в дружбу с Голубенкой вошел, совсем помирился, да мало того-с — в шафера к нему сам напросился, венец держал, а как приехали из-под венца, он подошел поздравлять и целовать Голубенку да при всем-то благородном обществе и при губернаторе, сам во фраке и завитой-с,— как пырнет его в живот ножом — так Голубенко и покатился! Это собственный-то шафер, стыд-то какой-с! Да это еще что-с! Главное, что ножом-то пырнул да и бросился кругом: «Ах, что я сделал! Ах, что такое я сделал!»— слезы льются, трясется, всем на шею кидается, даже к дамам-с: «Ах, что я сделал! Ах, что, дескать, такое я теперь сделал!»— хе-хе-хе! уморил-с. Вот только разве жаль Голубенку; да и то выздоровел-с.

— Я не вижу, для чего вы мне рассказали,— строго нахмурился Вельчанинов.

— Да всё к тому же-с, что пырнул же ведь ножом-с,— захихикал Павел Павлович,— ведь уж видно, что не тип-с, а сопля-человек, когда уж самое приличие от страху забыл и к дамам на шею кидается в присутствии губернатора-с,— а ведь пырнул же-с, достиг своего! Вот я только про это-с.

— Убир-райтесь вы к черту,— завопил вдруг не своим голосом Вельчанинов, точно как бы что сорвалось в нем,— убир-райтесь с вашею подпольною дрянью, сам вы подпольная дрянь — пугать меня вздумал — мучитель ребенка,— низкий человек,— подлец, подлец, подлец! — выкрикивал он, себя не помня и задыхаясь на каждом слове.

Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочил; губы его задрожали:

— Это меня-то вы, Алексей Иванович, подлецом называете, *вы-с* и *меня-с?*

Но Вельчанинов уже очнулся.

— Я готов извиниться,— ответил он, помолчав и в мрачном раздумье,— но в таком только случае, если вы сами и сейчас же захотите действовать прямо.

— А я бы и во всяком случае извинился на вашем месте, Алексей Иванович.

— Хорошо, пусть так,— помолчал еще немного Вельчанинов,— извиняюсь перед вами; но согласитесь сами, Павел Павлович, что после всего этого я уже ничем более не считаю себя перед вами обязанным, то есть я в отношении *всего* дела говорю, а не про один теперешний случай.

— Ничего-с, что считаться?— ухмыльнулся Павел Павлович, смотря, впрочем, в землю.

— А если так, то тем лучше, тем лучше! Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я всё-таки вас не пущу...

— Да что ж вино-с...— немного как бы смутился Павел Павлович, однако подошел к столу и стал допивать свой давно уже налитый последний стакан. Может, он уже и много пил перед этим, так что теперь рука его дрожала, и он расплескал часть вина на пол, на рубашку и на жилет, но все-таки допил до дна,— точно как будто и не мог оставить невыпитым, и, почтительно поставив опорожненный стакан на стол, покорно пошел к своей постели раздеваться.

— А не лучше ли... не ночевать?— проговорил он вдруг с чего-то, уже сняв один сапог и держа его в руках.

— Нет, не лучше! — гневливо ответил Вельчанинов, неустанно шагавший по комнате, не взглядывая на него.

Тот разделся и лег. Чрез четверть часа улегся и Вельчанинов и потушил свечу.

Он засыпал беспокойно. Что-то новое, еще более спутавшее *дело,* вдруг откудова-то появившееся, тревожило его теперь, и он чувствовал в то же время, что ему почему-то стыдно было этой тревоги. Он уже стал было забываться, но какой-то шорох вдруг его разбудил. Он тотчас же оглянулся на постель Павла Павловича. В комнате было темно (гардины были совсем спущены), но ему показалось, что Павел Павлович не лежит, а привстал и сидит на постели.

— Чего вы?— окликнул Вельчанинов.

— Тень-с,— подождав немного, чуть слышно выговорил Павел Павлович.

— Что такое, какая тень?

— Там, в той комнате, в дверь, как бы тень видел-с.

— Чью тень?— спросил, помолчав немного, Вельчанинов.

— Натальи Васильевны-с.

Вельчанинов привстал на ковер и сам заглянул через перед-

нюю в ту комнату, двери в которую всегда стояли отперты. Там на окнах гардин не было, а были только сторы, и потому было гораздо светлее.

— В той комнате нет ничего, а вы пьяны, ложитесь! — сказал Вельчанинов, лег и завернулся в одеяло. Павел Павлович не сказал ни слова и улегся тоже.

— А прежде вы никогда не видали тени?— спросил вдруг Вельчанинов, минут уж десять спустя.

— Однажды как бы и видел-с,— слабо и тоже помедлив откликнулся Павел Павлович. Затем опять наступило молчание.

Вельчанинов не мог бы сказать наверно, спал ли он или нет, но прошло уже с час — и вдруг он опять обернулся: шорох ли какой его опять разбудил — он тоже не знал, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло над ним, белое, еще не доходя до него, но уже посредине комнаты. Он присел на постели и целую минуту всматривался.

— Это вы, Павел Павлович?— проговорил он ослабевшим голосом. Этот собственный голос его, раздавшийся вдруг в тишине и в темноте, показался ему как-то странным.

Ответа не последовало, но в том, что стоял кто-то, уже не было никакого сомнения.

— Это вы... Павел Павлович?— повторил он громче и даже так громко, что если б Павел Павлович спокойно спал на своей постели, то непременно бы проснулся и дал ответ.

Но ответа опять не последовало, зато показалось ему, что эта белая и чуть различаемая фигура еще ближе к нему придвинулась. Затем произошло нечто странное: что-то вдруг в нем как бы сорвалось, точь-в-точь как давеча, и он закричал из всех сил самым нелепым, бешеным голосом, задыхаясь чуть не на каждом слове:

— Если вы, пьяный шут, осмелитесь только подумать — что вы можете — меня испугать,— то я обернусь к стене, завернусь с головой и ни разу не обернусь во всю ночь,— чтобы тебе доказать, во что я ценю — хоть бы вы простояли до утра... шутом... и на вас плюю!

И он, яростно плюнув в сторону предполагаемого Павла Павловича, вдруг обернулся к стене, завернулся, как сказал, в одеяло и как бы замер в этом положении не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась ли тень или стояла на месте — он не мог узнать, но сердце его билось — билось — билось... Прошло по крайней мере полных минут пять; и вдруг, в двух шагах от него, раздался слабый, совсем жалобный голос Павла Павловича:

— Я, Алексей Иванович, встал поискать...— (и он назвал один необходимейший домашний предмет) — я там не нашел у себя-с... хотел потихоньку подле вас посмотреть-с, у постели-с.

— Что же вы молчали... когда я кричал?— прерывающимся голосом спросил Вельчанинов, переждав с полминуты.

— Испугался-с. Вы так закричали... я и испугался-с.

— Там в углу налево, к дверям, в шкапике, зажгите свечу...

— Да я и без свечки-с...— смиренно промолвил Павел Павлович, направляясь в угол,— вы уж простите, Алексей Иванович, что вас так потревожил-с... совсем вдруг так охмелел-с...

Но тот уж ничего не ответил. Он все продолжал лежать лицом к стене и пролежал так всю ночь, ни разу не обернувшись. Уж хотелось ли ему так исполнить слово и показать презрение? Он сам не знал, что с ним делается; нервное расстройство его перешло, наконец, почти в бред, и он долго не засыпал. Проснувшись на другое утро, в десятом часу, он вдруг вскочил и присел на постели, точно его подтолкнули,— но Павла Павловича уже не было в комнате! Оставалась одна только пустая, неубранная постель, а сам он улизнул чем свет.

— Я так и знал! — хлопнул себя Вельчанинов ладонью по лбу.

X

На кладбище

Опасения доктора оправдались, и Лизе вдруг сделалось хуже,— так худо, как и не воображали накануне Вельчанинов и Клавдия Петровна. Вельчанинов поутру застал больную еще в памяти, хотя вся она горела в жару; он уверял потом, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою горячую ручку. Правда ли это было, или только он сам выдумал себе это невольно, в утешение,— проверить ему было некогда; к ночи больная была уже без памяти, и так продолжалось во всё время болезни. На десятый день своего переезда на дачу она умерла.

Это было скорбное время для Вельчанинова; Погорельцевы даже боялись за него. Бóльшую часть этих тяжелых дней он прожил у них. В самые последние дни болезни Лизы он по целым часам просиживал один, где-нибудь в углу, и, по-видимому, ни об чем не думал; Клавдия Петровна подходила его развлекать, но он отвечал мало, иногда видимо тяготясь с нею разговаривать. Клавдия Петровна даже не ожидала, что на него «всё это произведет такое впечатление». Всего больше развлекали его дети; он с ними даже иногда смеялся; но каждый почти час вставал со стула и на цыпочках шел взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнает. Надежды на выздоровление он не имел никакой, как и все, но от комнаты, в которой умирала Лиза, не отходил и обыкновенно сидел в комнате рядом.

Раза два, впрочем, и в эти дни он вдруг обнаруживал чрезвычайную деятельность: вдруг подымался, бросался в Петербург к докторам, приглашал самых известнейших и составлял консилиумы. Второй, последний консилиум был накануне смерти больной. Дня за три до этого Клавдия Петровна заговорила с Вельчаниновым настойчиво о необходимости отыскать где-нибудь наконец господина Трусоцкого: «в случае несчастия Лизу и похоронить без него нельзя было». Вельчанинов промямлил, что он ему напишет. Тогда старик Погорельцев объявил, что он сам разыщет его через полицию. Вельчанинов написал наконец уведомление в двух строчках и отвез его в Покровскую гостиницу. Павла Павловича по обыкновению не было дома, и он вручил письмо для передачи Марье Сысоевне.

Наконец, умерла Лиза, в прекрасный летний вечер, вместе с закатом солнца, и тут только как бы очнулся Вельчанинов. Когда мертвую убрали, нарядив ее в праздничное белое платьице одной из дочерей Клавдии Петровны, и положили в зале на столе, с цветами в сложенных ручках,— он подошел к Клавдии Петровне и, сверкая глазами, объявил ей, что он сейчас же привезет и «убийцу». Не слушая советов повременить до завтра, он немедленно отправился в город.

Он знал, где застать Павла Павловича; не за одними докторами отправлялся он в Петербург. Иногда в эти дни ему казалось, что привези он к умиравшей Лизе отца, и она, услыхав его голос, очнется; тогда он как отчаянный пускался его разыскивать. Павел Павлович квартировал по-прежнему в номерах, но в номерах и спрашивать было нечего: «по три дня не ночует и не приходит,— рапортовала Марья Сысоевна,— а придет невзначай пьяный, часу не пробудет и опять потащится; совсем растрепался». Половой из Покровской гостиницы сообщил Вельчанинову, между прочим, что Павел Павлович, еще прежде, посещал каких-то девиц на Вознесенском проспекте. Вельчанинов немедленно разыскал девиц. Задаренные и угощенные особы припомнили тотчас своего гостя, главное, по его шляпе с крепом, причем тут же его обругали, конечно, за то, что он к ним больше не ходил. Одна из них, Катя, взялась «во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что он от Машки Простаковой теперь не выходит, а денег у него и дна нет, а Машка эта — не Простакова, а Прохвостова, и в больнице лежала, и захоти только она, Катя, так сейчас же ее в Сибирь упрячет, всего одно слово скажет». Катя, однако же, не разыскала в тот раз, но зато крепко обещалась в другой. Вот на ее-то содействие и надеялся теперь Вельчанинов.

Прибыв в город уже в десять часов, он немедленно ее вытребовал, заплатив кому следовало за ее отсутствие, и отправился

с нею на поиски. Он еще и сам не знал, что собственно он теперь сделает с Павлом Павловичем: убьет ли его за что-то или просто ищет его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содействия при погребении? На первый раз вышла неудача: оказалось, что Машка Прохвостова разодралась с Павлом Павловичем еще третьего дня и что какой-то казначей «Павлу Павловичу голову скамейкой прошиб». Одним словом, долго он не отыскивался, и наконец уже только в два часа пополуночи Вельчанинов, при выходе из одного указанного ему заведения, вдруг и неожиданно сам на него натолкнулся.

Павла Павловича подводили к этому заведению две дамы совершенно пьяного; одна из дам придерживала его под руку, а сзади сопутствовал им один рослый и размашистый претендент, кричавший во всё горло и страшно грозивший Павлу Павловичу какими-то ужасами. Он кричал, между прочим, что тот его «эксплуатировал и отравил ему жизнь». Дело, кажется, шло о каких-то деньгах; дамы очень трусили и спешили. Завидев Вельчанинова, Павел Павлович кинулся к нему с распростертыми руками и закричал, точно его резали:

— Братец родной, защити!

При виде атлетической фигуры Вельчанинова претендент мигом стушевался; торжествующий Павел Павлович простер ему вслед свой кулак и завопил в знак победы; тут Вельчанинов яростно схватил его за плечи и, сам не зная для чего, стал трясти обеими руками, так что у того зубы застучали. Павел Павлович тотчас же перестал кричать и с тупоумным пьяным испугом смотрел на своего истязателя. Вероятно не зная, что с ним делать далее, Вельчанинов крепко нагнул его и посадил на тротуарную тумбу.

— Лиза умерла! — проговорил он ему.

Павел Павлович, всё еще не спуская с него глаз, сидел на тумбе, поддерживаемый одною из дам. Он понял наконец, и лицо его как-то вдруг осунулось.

— Умерла...— как-то странно прошептал он. Усмехнулся ли он спьяна своею скверною длинною улыбкой, или у него скривилось что-то в лице,— Вельчанинов не мог разобрать, но мгновение спустя Павел Павлович поднял с усилием свою дрожавшую правую руку, чтоб перекреститься; крест, однако ж, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя он медленно привстал с тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошел своей дорогой далее, как бы в забытьи,— точно и не было тут Вельчанинова. Но тот ухватил его опять за плечо.

— Понимаешь ли ты, пьяный изверг, что без тебя ее и похоронить нельзя будет!— прокричал он задыхаясь.

Тот повернул к нему голову.

— Артиллерии... прапорщика... помните?— промямлил он тупо ворочавшимся языком.

— Что-о-о?— завопил Вельчанинов, болезненно вздрогнув.

— Вот тебе и отец! Ищи его... хоронить...

— Лжешь! — закричал Вельчанинов как потерянный.— Ты со злости... я так и знал, что ты это мне приготовишь!

Не помня себя, он занес свой страшный кулак над головою Павла Павловича. Еще мгновение — и он, может быть, убил бы его одним ударом; дамы взвизгнули и отлетели прочь, но Павел Павлович не смигнул даже глазом. Какое-то исступление самой зверской злости исказило ему всё лицо.

— А знаешь ты,— произнес он гораздо тверже, почти как не пьяный,— нашу русскую ......? (И он проговорил самое невозможное в печати ругательство.) Ну так и убирайся к ней! — Затем с силою рванулся из рук Вельчанинова, оступился и чуть не упал. Дамы подхватили его и в этот раз уже побежали, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчанинов не преследовал.

Назавтра, в час пополудни, на дачу Погорельцевых явился один весьма приличный чиновник средних лет, в вицмундире и вежливо вручил Клавдии Петровне адресованный на ее имя пакет от имени Павла Павловича Трусоцкого. В пакете заключалось письмо со вложением трехсот рублей и с необходимыми свидетельствами о Лизе. Павел Павлович писал коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Он весьма благодарил ее превосходительство Клавдию Петровну за ее добродетельное участие к сироте, за которое может ей воздать только один бог. Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельскую доброту души ее превосходительства. Триста же рублей назначались, как разъяснил он далее в письме,— на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнию. Если же бы и осталось что из этой суммы, то покорнейше и почтительнейше просит употребить их на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чиновник, доставивший письмо, не мог ничего более объяснить; даже оказалось из некоторых его слов, что он только по усиленной просьбе Павла Павловича взялся доставить лично пакет ее превосходительству. Погорельцев почти обиделся выражением «о расходах, причиненных болезнию», и определил, оставив пятьдесят рублей на погребение,— так как нельзя же было воспретить отцу хоронить свое дитя,— остальные двести пятьдесят рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому. Клавдия Петровна решила окончательно возвратить не двести пятьдесят рублей, а расписку из кладбищенской церкви в получении этих денег на вечное поминовение души

усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потом Вельчанинову для вручения немедленно; он отослал ее по почте в номер.

После похорон он исчез с дачи. Целые две недели слонялся он по городу, безо всякой цели, один, и натыкался на людей в задумчивости. Иногда же по целым дням лежал, протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Погорельцевы много раз присылали звать его к себе; он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала его дома. То же случилось и с его адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжебное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной долею оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчанинова. Застав его наконец у себя, адвокат был удивлен чрезвычайною вялостью и равнодушием, с которыми он, еще недавно такой беспокойный клиент, его выслушал.

Настали самые жаркие июльские дни, но Вельчанинов забывал самое время. Его горе наболело в его душе, как созревший нарыв, и выяснялось ему поминутно в мучительно-сознательной мысли. Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее! Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том,— поминутно думал он об этом теперь,— чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на себе. «Выше нет никакой цели ни у кого из людей и не может быть! — задумывался он иногда в мрачном восторге.— Если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее этой!» «Любовью Лизы,— мечтал он,— очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь; взамен меня, праздного, порочного и отжившего,— я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо, и за это существо всё было бы мне прощено, и всё бы я сам простил себе».

Все эти *сознательные* мысли представлялись ему всегда нераздельно с ярким, всегда близким и всегда поражавшим его душу воспоминанием об умершем ребенке. Он воссоздавал себе ее бледное личико, припоминал каждое выражение его; он вспоминал ее и в гробу, в цветах, и прежде бесчувственную, в жару, с открытыми и неподвижными глазами. Он вспомнил вдруг, что, когда она лежала уже на столе, он заметил у ней один бог знает отчего почерневший в болезни пальчик; это так его поразило тогда, и так жалко ему стало этот бедный пальчик, что тут и вошло ему тогда в голову, в первый раз, отыскать сейчас же и убить Павла Павловича,— до того же времени он «был как бесчувственный».

Гордость ли оскорбленная замучила это детское сердечко, три ли месяца страданий от отца, переменившего вдруг любовь на ненависть и оскорбившего ее позорным словом, смеявшегося над ее испугом и выбросившего ее, наконец, к чужим людям? Всё это он представлял себе беспрерывно и варьировал на тысячу ладов. «Знаете ли, что такое была для меня Лиза?»— припомнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и чувствовал, что это восклицание было уже не кривлянье, а правда и что тут была любовь. «Как же мог быть так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил, и вероятно ли это?» Но каждый раз он поскорее бросал этот вопрос и как бы отмахивался от него; что-то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и — нерешенное.

В один день, и почти сам не помня как, он забрел на кладбище, на котором похоронили Лизу, и отыскал ее могилку. Ни разу с самых похорон он не был на кладбище; ему всё казалось, что будет уже слишком много муки, и он не смел пойти. Но странно, когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче.

Был ясный вечер, солнце закатывалось; кругом, около могил, росла сочная, зеленая трава; недалеко в шиповнике жужжала пчела; цветы и венки, оставленные на могилке Лизы после погребения детьми и Клавдией Петровной, лежали тут же, с облетевшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда в первый раз после долгого времени освежила ему сердце. «Как легко!»— подумал он, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо. Прилив какой-то чистой безмятежной веры во что-то наполнил ему душу.

«Это Лиза послала мне, это она говорит со мной»,— подумалось ему.

Совсем уже смеркалось, когда он пошел с кладбища обратно домой. Не так далеко от кладбищенских ворот, по дороге, в низеньком деревянном домике, помещалось что-то вроде харчевни или распивочной; в отворенных окнах виднелись посетители, сидевшие за столами. Ему вдруг показалось, что один из них, помещавшийся у самого окна,— Павел Павлович и что он тоже видит его и любопытно его высматривает из окошка. Он пошел далее и вскоре услышал, что его догоняют; за ним бежал и в самом деле Павел Павлович; должно быть, примирительное выражение в лице Вельчанинова привлекло и ободрило его, когда он наблюдал из окошка. Поравнявшись, он, робея, улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой; он даже и совсем не был пьян.

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здравствуйте,— отвечал Вельчанинов.

XI

Павел Павлович женится

Ответив это «здравствуйте», он сам себе удивился. Ужасно странно показалось ему, что встречает теперь этого человека вовсе без злобы и что в его чувствах к нему в эту минуту что-то совсем другое и даже какой-то позыв к чему-то новому.

— Вечер какой приятный,— проговорил, засматривая ему в глаза, Павел Павлович.

— Вы еще не уехали,— промолвил Вельчанинов, как бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти.

— Затянулось у меня, но — место я получил-с, с повышением-с. Отъезжаю послезавтра наверно.

— Получили место?— на этот раз уже спросил он.

— Почему же бы и нет-с?— покривился вдруг Павел Павлович.

— Я только так сказал...— отговорился Вельчанинов и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича. К его удивлению, одежда, шляпа с крепом и весь вид г-на Трусоцкого были несравненно приличнее, чем две недели назад. «Зачем он сидел в этой распивочной?»— всё думалось ему.

— Я вам, Алексей Иванович, намеревался и про другую мою радость сообщить,— начал опять Павел Павлович.

— Радость?

— Я женюсь-с.

— Как?

— После скорби и радость-с, так всегда в жизни-с; я, Алексей Иванович, очень бы желал-с... но — не знаю, может, вы теперь спешите, потому что у вас такой вид-с...

— Да, я спешу и... да, я нездоров.

Ему ужасно вдруг захотелось отделаться; готовность к какому-то новому чувству вмиг исчезла.

— А я бы желал-с...

Павел Павлович не договорил, чего он желал; Вельчанинов промолчал.

— В таком случае уже после-с, если только повстречаемся...

— Да, да, после, после,— скороговоркой бормотал Вельчанинов, не глядя на него и не останавливаясь. Еще помолчали с минуту; Павел Павлович всё еще продолжал идти подле.

— В таком случае до свиданья-с,— вымолвил он наконец.

— До свиданья; желаю...

Вельчанинов воротился домой опять совсем расстроенный. Столкновение с «этим человеком» было ему не под силу. Ложась спать, он опять подумал: «Зачем он был у кладбища?»

На другой день поутру он решился наконец съездить к Погорельцевым, решился неохотно; ему слишком тяжело было теперь чье-нибудь участие, даже и от Погорельцевых. Но они так о нем беспокоились, что непременно надо было поехать. Ему вдруг представилось, что ему станет почему-то очень стыдно при первой с ними встрече. «Ехать или не ехать?» — думал он, спеша окончить завтрак, как вдруг, к чрезвычайному его изумлению, к нему вошел Павел Павлович.

Несмотря на вчерашнюю встречу, Вельчанинов и представить не мог, что этот человек когда-нибудь опять зайдет к нему, и был так озадачен, что глядел на него и не знал, что сказать. Но Павел Павлович распорядился сам, поздоровался и уселся на том же самом стуле, на котором сидел три недели назад в последнее свое посещение. Вельчанинову вдруг особенно ярко припомнилось то посещение. Беспокойно и с отвращением смотрел он на гостя.

— Удивляетесь-с? — начал Павел Павлович, угадавший взгляд Вельчанинова.

Вообще он казался гораздо развязнее, чем вчера, и в то же время проглядывало, что он и робел еще больше вчерашнего. Наружный вид его был особенно любопытен. Г-н Трусоцкий был не только прилично, но и франтовски одет — в легком летнем пиджаке, в светлых брюках в обтяжку, в светлом жилете; перчатки, золотой лорнет, для чего-то вдруг появившийся, белье — были безукоризненны; от него даже пахло духами. Во всей фигуре его было что-то и смешное и в то же время наводившее на какую-то странную и неприятную мысль.

— Конечно, Алексей Иванович, — продолжал он коробясь, — я вас удивил приходом-с, и — чувствую-с. Но между людьми, я так думаю-с, всегда сохраняется, — а по-моему, так и должно храниться-с, — нечто высшее, так ли-с? То есть высшее относительно всех условий и даже самых неприятностей, могущих выйти... так ли-с?

— Павел Павлович, скажите всё поскорее и без церемоний, — нахмурился Вельчанинов.

— В двух словах-с, — заспешил Павел Павлович, — я женюсь и отправляюсь теперь к невесте, сейчас-с. Они тоже на даче-с. Я желал бы получить глубокую честь, чтобы осмелиться познакомить вас с этим домом-с, и пришел-с с необычайною просьбою (Павел Павлович покорно нагнул голову) просить вас, чтобы мне сопутствовать-с...

— Куда сопутствовать? — Вельчанинов вытаращил глаза.

— К ним-с, то есть на дачу-с. Простите, я как в лихорадке говорю и, может, спутал; но я так уж вашего отказа боюсь-с...

И он плачевно посмотрел на Вельчанинова.

— Вы хотите, чтобы я с вами ехал теперь к вашей невесте? — переговорил Вельчанинов, быстро его оглядывая и не веря ни ушам, ни глазам своим.

— Да-с, — ужасно оробел вдруг Павел Павлович. — Вы не рассердитесь, Алексей Иванович, тут не дерзость-с; я только покорнейше и необычайно прошу. Я помечтал, что, может быть, вы и не захотели бы при этом отказать...

— Во-первых, это вовсе невозможно, — беспокойно заворочался Вельчанинов.

— Это только мое чрезмерное желание и не более-с, — продолжал тот умолять, — я не скрою тоже, что есть тут и причина-с. Но о причине этой хотел бы открыть лишь после-с, а теперь лишь необычайно прошу-с...

И он даже встал со стула от почтения.

— Но во всяком случае это невозможно же, согласитесь сами... — Вельчанинов тоже встал с места.

— Это очень возможно-с, Алексей Иванович, — я при этом вас располагал познакомить-с, так, как приятеля-с; а во-вторых, вы ведь и без того там знакомы-с; ведь это к Захлебинину, на дачу. Статский советник Захлебинин-с.

— Как так? — вскричал Вельчанинов. Это был тот самый статский советник, которого он с месяц назад всё искал и не заставал дома, действовавший, как оказалось, в пользу противной стороны в его тяжбе.

— Ну да, ну да, — улыбнулся Павел Павлович, как бы ободренный чрезвычайным удивлением Вельчанинова, — тот самый, вот еще помните, когда вы тогда шли с ним и разговаривали, а я глядел на вас и стоял напротив; я тогда выжидал, чтобы к нему подойти после вас. Назад лет двадцать вместе даже служили-с, а тогда, когда я подойти хотел после вас-с, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла, с неделю назад-с.

— Но послушайте, ведь это, кажется, весьма порядочное семейство? — наивно удивился Вельчанинов.

— Так почему же-с, если порядочное? — покривился Павел Павлович.

— Нет, разумеется, я не про то... но сколько я заметил, там бывши...

— Они помнят, они помнят-с, как вы были, — радостно подхватил Павел Павлович, — только вы семейства не могли тогда увидеть-с; а сам он помнит-с и вас уважает. Я им почтительно об вас говорил.

— Но как же, если вы только три месяца вдовеете?

— Да ведь не сейчас свадьба-то-с; свадьба через девять или через десять месяцев будет, так что ровно год траура и пройдет-с. Поверьте, что всё хорошо-с. Во-первых, Федосей Петрович меня

даже с малолетства знает, знал покойную супругу мою, знает, как я жил, на каком счету-с, и, наконец, у меня есть состояние, а теперь вот и место с повышением получаю,— так это всё и на весу-с.

— Что ж, это дочь его?

— Я вам всё это расскажу в подробности-с,— приятно съежился Павел Павлович,— позвольте папиросочку закурю. К тому же вы сами сегодня увидите. Во-первых, такие дельцы, как Федосей Петрович, здесь, в Петербурге, иногда очень на службе ценятся, если успеют обратить внимание-с. Но ведь кроме жалованья и пуще того — прибавочных, наградных, дополнительных, столовых или там единовременных пособий-с — ничего ведь и нет-с, то есть основного-то-с, составляющего капитал. Живут хорошо, а скопить никак невозможно, если при семействе-с. Сообразите сами: восемь девиц у Федосея Петровича и один только сын малолеток. Умри он сейчас — останется ведь только пенсия жиденькая-с. А тут восемь девиц,— нет, вы только сообразите-с, сообразите-с: ведь это если каждой по башмакам, так и тут что составит! Из восьми девиц пять уж невест-с, старшей-то двадцать четыре года (прелестнейшая девица, сами увидите-с), а шестой — пятнадцать лет, еще в гимназии учится. Ведь для пяти-то старших девиц надо женихов приискать, что по возможности заблаговременнее делать следует, отцу-с надо, стало быть, вывозить-с,— чего же это стоит, я вас спрошу-с? И вдруг я появляюсь, еще первый жених у них в доме-с, и им известен заведомо, то есть в том смысле, что при действительном состоянии-с. Ну вот и всё-с.

Павел Павлович объяснял с упоением.

— Вы к старшей посватались?

— Н-нет-с, я... не к старшей; я вот к этой шестой посватался, вот которая еще продолжает учение в гимназии.

— Как?— невольно усмехнулся Вельчанинов.— Да ведь вы же говорите, ей пятнадцать лет!

— Пятнадцать-с теперь; но через девять месяцев ей будет шестнадцать, шестнадцать лет и три месяца, так почему же-с? А так как теперь всё это неприлично-с, то гласного покамест и нет ничего, а только с родителями... Поверьте, что всё хорошо-с!

— Стало быть, еще не решено?

— Нет, решено, всё решено-с. Поверьте, что всё хорошо-с.

— А она знает?

— То есть это только вид такой, для приличия, что будто и не говорят; а ведь как же не знать-с?— приятно прищурился Павел Павлович.— Что же, осчастливите, Алексей Иванович?— ужасно робко закончил он.

— Да зачем мне-то туда? Впрочем,— прибавил он торопливо,— так как я во всяком случае не поеду, то и не выставляйте мне никаких причин.

— Алексей Иванович...

— Да неужели же я с вами рядом сяду и поеду, подумайте!

Отвратительное и неприязненное ощущение возвратилось опять к нему после минутного развлечения болтовней Павла Павловича о невесте. Еще бы, кажется, минута, и он прогнал бы его вовсе. Он злился даже на себя за что-то.

— Сядьте, Алексей Иванович, сядьте рядом и не раскаетесь!— проникнутым голосом умолял Павел Павлович.— Нет-нет-нет!— замахал он руками, поймав нетерпеливый и решительный жест Вельчанинова.— Алексей Иванович, Алексей Иванович, подождите предрешать-с! Я вижу, что вы, может быть, превратно меня поняли: ведь я слишком хорошо понимаю, что ни вы мне, ни я вам — мы не товарищи-с; я ведь не до того уж нелеп-с, чтобы уж этого не понять-с. И что теперешняя услуга, о которой прошу, ни к чему в дальнейшем вам не вменяется. Да и сам я послезавтра уеду совсем-с, совершенно-с; значит, как бы и не было ничего. Пусть этот день будет один только случай-с. Я к вам шел и надежду основал на благородстве особенных чувств вашего сердца, Алексей Иванович,— именно на тех самых чувствах, которые в последнее время могли быть в вашем сердце возбуждены-с... Ясно ведь, кажется, я говорю или еще нет-с?

Волнение Павла Павловича возросло до чрезвычайности, Вельчанинов странно глядел на него.

— Вы просите о какой-то услуге с моей стороны,— спросил он задумываясь,— и ужасно настаиваете,— это мне подозрительно; я хочу больше знать.

— Вся услуга лишь в том, что вы со мной поедете. А потом, когда приедем обратно, я всё разверну перед вами как на исповеди. Алексей Иванович, доверьтесь!

Но Вельчанинов всё еще отказывался, и тем упорнее, что ощущал в себе одну какую-то тяжелую, злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась в нем, с самого начала, как только Павел Павлович возвестил о невесте: простое ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влечение, но его тянуло — согласиться. И чем больше тянуло, тем более он оборонялся. Он сидел, облокотясь на руку, и раздумывал. Павел Павлович юлил около него и упрашивал.

— Хорошо, поеду,— согласился он вдруг беспокойно и почти тревожно, вставая с места. Павел Павлович обрадовался чрезмерно.

— Нет уж вы, Алексей Иванович, теперь приоденьтесь,— юлил он радостно вокруг одевавшегося Вельчанинова,— получше, по-вашему оденьтесь.

«И чего он сам туда лезет, странный человек?»— думал про себя Вельчанинов.

— А ведь я не одной этой услуги от вас, Алексей Иванович, ожидаю-с. Уж коли дали согласие, так уж будьте и руководителем-с.

— Например?

— Например, большой вопрос-с: креп-с? Что приличнее: снять или с крепом остаться?

— Как хотите.

— Нет, я вашего решения желаю-с, как бы вы поступили сами, то есть если бы имели креп-с? Моя собственная мысль была, что если сохранить, так это на постоянство чувств-с укажет-с, а стало быть, лестно отрекомендует.

— Разумеется, снимите.

— Неужто уж и разумеется?— Павел Павлович задумался.— Нет, уж я бы лучше сохранил-с...

— Как хотите. «Однако он мне не доверяет, это хорошо»,— подумал Вельчанинов.

Они вышли; Павел Павлович с довольством приглядывался к принарядившемуся Вельчанинову; даже как будто больше почтения и важности проявилось в его лице. Вельчанинов дивился на него и еще больше на себя самого. У ворот стояла поджидавшая их превосходная коляска.

— А у вас уже и коляска была готова? Стало быть, вы были уверены, что я поеду?

— Коляску я взял для себя-с, но почти уверен был, что вы согласитесь поехать,— ответил Павел Павлович с видом совершенно счастливого человека.

— Эй, Павел Павлович,— как-то раздражительно засмеялся Вельчанинов, когда уже уселись и тронулись,— не слишком ли вы во мне уверены?

— Но ведь не вам же, Алексей Иванович, не вам же сказать мне за это, что я дурак?— твердо и проникнутым голосом ответил Павел Павлович.

«А Лиза?»— подумал Вельчанинов и тотчас же бросил об этом думать, как бы испугавшись какого-то кощунства. И вдруг ему показалось, что он сам так мелок, так ничтожен в эту минуту; показалось, что мысль, его соблазнявшая,— такая маленькая, такая скверненькая мысль... и во что бы то ни стало захотелось ему опять всё бросить и хоть сейчас выйти из коляски, даже если б надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тот заговорил, и соблазн опять охватил его сердце.

— Алексей Иванович, знаете вы толк в драгоценных вещах-с?

— В каких драгоценных вещах?

— В бриллиантовых-с.

— Знаю.

— Я бы хотел подарочек свезти. Руководите: надо или нет?

— По-моему — не надо.

— А я так бы очень хотел-с,— заворочался Павел Павлович,— только вот что же бы купить-с? Весь ли прибор, то есть брошь, серьги, браслет, или одну только вещицу?

— Вы сколько хотите заплатить?

— Да уж рублей четыреста или пятьсот-с.

— Ух!

— Много, что ли?— встрепенулся Павел Павлович.

— Купите один браслет, во сто рублей.

Павел Павлович даже огорчился. Ему ужасно как хотелось заплатить дороже и купить «весь» прибор. Он настаивал. Заехали в магазин. Кончилось тем, однако же, что купили только один браслет и не тот, который хотелось Павлу Павловичу, а тот, на который указал Вельчанинов. Павлу Павловичу хотелось взять оба.

Когда купец, запросивший сто семьдесят пять рублей за браслет, спустил за сто пятьдесят,— то ему стало даже досадно; он с приятностию заплатил бы и двести, если бы с него запросили, так уж хотелось ему заплатить подороже.

— Это ничего, что я так подарками спешу,— изливался он в упоении, когда опять поехали,— там ведь не высший свет, там просто-с. Невинность любит подарочки,— хитро и весело улыбнулся он.— Вы вот усмехнулись давеча, Алексей Иванович, на то, что пятнадцать лет; а ведь мне это-то и в голову стукнуло,— именно, что вот в гимназию еще ходит, с мешочком на руке, в котором тетрадки и перушки, хе-хе! Мешочек-то и пленил мои мысли! Я, собственно, для невинности, Алексей Иванович. Дело для меня не столько в красоте лица, сколько в этом-с. Хихикают там с подружкой в уголку, и как смеются, и боже мой! А чему-с: весь-то смех из того, что кошечка с комода на постельку соскочила и клубочком свернулась... Так тут ведь свежим яблочком пахнет-с! Аль снять уж креп?

— Как хотите.

— Сниму! — Он снял шляпу, сорвал креп и выбросил на дорогу. Вельчанинов видел, что лицо его засияло самой ясной надеждой, когда он надел опять шляпу на свою лысую голову.

«Да неужто он и в самом деле такой?— подумал он в настоящей уже злобе,— неужто тут нет никакой *штуки* в том, что он меня пригласил? Неужто и в самом деле на благородство мое рассчитывает?— продолжал он, почти обидевшись последним предположением.— Что это, шут, дурак или «вечный муж»? Да невозможно же, наконец!..»

XII

У Захлебининых

Захлебинины были действительно «очень порядочное семейство», как выразился давеча Вельчанинов, а сам Захлебинин был весьма солидный чиновник и на виду. Правда была и всё то, что говорил Павел Павлович насчет их доходов: «Живут, кажется, хорошо, а умри человек, и ничего не останется».

Старик Захлебинин прекрасно и дружески встретил Вельчанинова и из прежнего «врага» совершенно обратился в приятеля.

— Поздравляю, так-то лучше,— заговорил он с первого слова, с приятным и осанистым видом,— я сам на мировой настаивал, а Петр Карлович (адвокат Вельчанинова) золотой на этот счет человек. Что ж? Тысяч шестьдесят получите и без хлопот, без проволочек, без ссор! А на три года могло затянуться дело!

Вельчанинов тотчас был представлен m-me Захлебининой, весьма расплывшейся пожилой даме, с простоватым и усталым лицом. Стали выплывать и девицы, одна за другой или парами. Но что-то очень уж много явилось девиц; мало-помалу собралось их до десяти или до двенадцати,— Вельчанинов и сосчитать не мог; одни входили, другие выходили. Но в числе их было много дачных соседок-подружек. Дача Захлебининых — большой деревянный дом, в неизвестном, но причудливом вкусе, с разновременными пристройками — пользовалась большим садом; но в этот сад выходили еще три или четыре другие дачи с разных сторон, так что большой сад был общий, что, естественно, и способствовало сближению девиц с дачными соседками. Вельчанинов с первых же слов разговора заметил, что его уже здесь ожидали и что приезд его в качестве Павла Павловичева друга, желающего познакомиться, был чуть ли не торжественно возвещен. Зоркий и опытный в этих делах его взгляд скоро отличил тут даже нечто особенное: по слишком любезному приему родителей, по некоторому особенному виду девиц и их наряду (хотя, впрочем, день был праздничный) у него замелькало подозрение, что Павел Павлович схитрил и очень могло быть, что внушил здесь, не говоря, разумеется, прямых слов, нечто вроде предположения об нем как о скучающем холостяке, «хорошего общества», с состоянием и который, очень и очень может быть, наконец вдруг решится «положить предел» и устроиться,—«тем более что и наследство получил». Кажется, старшая m-lle Захлебинина, Катерина Федосеевна, именно та, которой было двадцать четыре года и о которой Павел Павлович выразился как о прелестной особе, была несколько настроена на этот тон. Она особенно выдавалась перед сестрами своим костюмом и какою-то оригинальною уборкою

своих пышных волос. Сестры же и все другие девицы глядели так, как будто и им уже было твердо известно, что Вельчанинов знакомится «для Кати» и приехал ее «посмотреть». Их взгляды и некоторые даже словечки, промелькнувшие невзначай в продолжение дня, подтвердили ему потом эту догадку. Катерина Федосеевна была высокая, полная до роскоши блондинка, с чрезвычайно милым лицом, характера, очевидно, тихого и непредприимчивого, даже сонливого. «Странно, что такая засиделась,— невольно подумал Вельчанинов, с удовольствием к ней приглядываясь,— пусть без приданого и скоро совсем расплывется, но покамест на это столько любителей...» Все остальные сестры были тоже не совсем дурны собой, а между подружками мелькало несколько забавных и даже хорошеньких личик. Это стало его забавлять; а впрочем, он и вошел с особенными мыслями.

Надежда Федосеевна, шестая, гимназистка и предполагаемая невеста Павла Павловича, заставила себя подождать. Вельчанинов ждал ее с нетерпением, чему сам дивился, и усмехался про себя. Наконец она показалась, и не без эффекта, в сопровождении одной бойкой и вострой подружки, Марьи Никитишны, брюнетки с смешным лицом, и которой, как оказалось сейчас же, чрезвычайно боялся Павел Павлович. Эта Марья Никитишна, девушка лет уже двадцати трех, зубоскалка и даже умница, была гувернанткой маленьких детей в одном соседнем и знакомом семействе и давно уже считалась как родная у Захлебининых, а девицами ценилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Наде. С первого взгляда разглядел Вельчанинов, что девицы были все против Павла Павловича, даже и подружки, а во вторую минуту после выхода Нади он решил, что и она его *ненавидит*. Заметил тоже, что Павел Павлович совершенно этого не примечает или не хочет примечать. Бесспорно, Надя была лучше всех сестер — маленькая брюнетка, с видом дикарки и с смелостью нигилистки; вороватый бесенок с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, с зачинавшеюся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. Пятнадцать лет сказывались в каждом ее шаге, в каждом слове. Оказалось потом, что и действительно Павел Павлович увидал ее в первый раз с клеенчатым мешочком в руках; но теперь уже она его не носила.

Подарок браслета совершенно не удался и произвел впечатление даже неприятное. Павел Павлович, только лишь завидел вошедшую невесту, тотчас же подошел к ней ухмыляясь. Дарил он под предлогом «приятного удовольствия, ощущенного им в предыдущий раз по поводу спетого Надеждой Федосеевной приятного романса за фортепьянами...» Он сбился, не докончил и

стоял как потерянный, протягивая и втыкая в руку Надежды Федосеевны футляр с браслетом, который та не хотела брать, и, покраснев от стыда и гнева, отводила свои руки назад. Дерзко оборотилась она к мамаше, на лице которой выражалось замешательство, и громко сказала:

— Я не хочу брать, maman!

— Возьми и поблагодари,— промолвил отец с покойною строгостью, но и он был тоже недоволен.— Лишнее, лишнее!— пробормотал он назидательно Павлу Павловичу. Надя, нечего делать, футляр взяла и, опустив глазки, присела, как приседают маленькие девочки, то есть вдруг бултыхнулась вниз и вдруг тотчас же привскочила, как на пружинке. Одна из сестер подошла посмотреть, и Надя передала ей футляр, еще и не раскрытый, тем показывая, что сама и глядеть не хочет. Браслет вынули, и он стал обходить всех из рук в руки; но все смотрели молча, а иные так и насмешливо. Одна только мамаша промямлила, что браслет очень мил. Павел Павлович готов был провалиться сквозь землю.

Выручил Вельчанинов.

Он вдруг громко и охотно заговорил, схватив первую попавшуюся мысль, и не прошло еще пяти минут, как он уже овладел вниманием всех бывших в гостиной. Он великолепно изучил искусство болтать в светском обществе, то есть искусство казаться совершенно простодушным и показывать в то же время вид, что и слушателей своих считает за таких же простодушных, как сам, людей. Чрезвычайно натурально мог прикинуться он, когда надо, веселейшим и счастливейшим человеком. Очень ловко умел тоже вставить между словами острое и задирающее словцо, веселый намек, смешной каламбур, но совершенно как бы невзначай, как бы и не замечая,— тогда как и острота, и каламбур, и самый-то разговор, может быть, давным-давно уже были заготовлены и заучены и уже не раз употреблялись. Но в настоящую минуту к его искусству присоединилась и сама природа: он чувствовал, что настроен, что его что-то влечет; чувствовал в себе полнейшую и победительную уверенность, что через несколько минут все эти глаза будут обращены на него, все эти люди будут слушать только его одного, говорить только с ним, смеяться только тому, что он скажет. И действительно, вскоре послышался смех, мало-помалу в разговор ввязались и другие,— а он в совершенстве овладел умением затягивать в разговор и других,— раздавались уже по три и по четыре говорившие голоса разом. Скучное и усталое лицо госпожи Захлебининой озарилось почти радостью; то же было и с Катериной Федосеевной, которая слушала и смотрела как очарованная. Надя зорко вглядывалась в него исподлобья; заметно было, что она против него уже предубеждена.

Это еще более подожгло Вельчанинова. «Злая» Марья Никитишна сумела-таки ввернуть в разговор одну довольно чувствительную колкость на его счет; она выдумала и утверждала, что будто бы Павел Павлович отрекомендовал его здесь вчера своим другом детства, и таким образом прибавляла к его годам, ясно намекнув на это, целых семь лет лишних. Но и злой Марье Никитишне он понравился. Павел Павлович решительно был озадачен. Он, конечно, имел понятие о средствах, которыми обладает его друг, и вначале даже был рад его успеху, сам подхихикивал и вмешивался в разговор; но почему-то он мало-помалу стал впадать как бы в раздумье, даже, наконец, в уныние, что ясно выражалось в его встревоженной физиономии.

— Ну, вы такой гость, которого и занимать не надо,— весело порешил наконец старик Захлебинин, вставая со стула, чтобы отправиться к себе наверх, где у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было несколько деловых бумаг для просмотру,— а ведь, представьте, я вас считал самым мрачным ипохондриком из всех молодых людей. Вот как ошибаешься!

В зале стоял рояль; Вельчанинов спросил, кто занимается музыкой, и вдруг обратился к Наде.

— А вы, кажется, поете?

— Кто вам сказал?— отрезала Надя.

— Павел Павлович говорил давеча.

— Неправда; я только на смех пою; у меня и голосу нет.

— Да и у меня голосу нет, а пою же.

— Так вы споете нам? Ну так и я вам спою,— сверкнула глазками Надя,— только не теперь, а после обеда. Я терпеть не могу музыки,— прибавила она,— надоели эти фортопьяны; у нас ведь с утра до ночи все играют и поют — одна Катя чего стоит.

Вельчанинов тотчас привязался к слову, и оказалось, что Катерина Федосеевна одна из всех серьезно занимается на фортепьяно. Он тотчас к ней обратился с просьбой сыграть. Всем, видимо, стало приятно, что он обратился к Кате, а maman так даже покраснела от удовольствия. Катерина Федосеевна встала улыбаясь, и пошла к роялю, и вдруг, себе неожиданно, тоже вся закраснелась, и ужасно ей вдруг стало стыдно, что вот она такая большая, и уже двадцати четырех лет, и такая полная, а краснеет как девочка,— и всё это было написано на ее лице, когда она садилась играть. Сыграла она что-то из Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и без выражения; но она оробела. Когда она кончила, Вельчанинов стал ужасно хвалить ей не ее, а Гайдна и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла,— и ей, видимо, стало так приятно, и она так благодарно и счастливо слушала похвалы не себе, а Гайдну, что Вельчанинов невольно

посмотрел на нее и ласковее и внимательнее. «Э, да ты славная?»— засветилось в его взгляде — и все как бы разом поняли этот взгляд, а особенно сама Катерина Федосеевна.

— У вас славный сад,— обратился он вдруг ко всем, смотря на стеклянные двери балкона,— знаете, пойдемте-ка все в сад!

— Пойдемте, пойдемте! — раздались радостные взвизги, точно он угадал самое главное всеобщее желание.

В саду прогуляли до обеда. Госпожа Захлебинина, которой давно уже хотелось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всеми, но благоразумно осталась посидеть и отдохнуть на балконе, где тотчас и задремала. В саду взаимные отношения Вельчанинова и всех девиц стали еще дружественнее. Он заметил, что с соседних дач присоединилось два-три очень молодых человека; один был студент, а другой и просто гимназист. Эти тотчас же подскочили каждый к *своей* девице, и видно было, что и пришли для них; третий же «молодой человек», очень мрачный и взъерошенный двадцатилетний мальчик, в огромных синих очках, стал торопливо и нахмуренно шептаться о чем-то с Марьей Никитишной и Надей. Он строго осматривал Вельчанинова и, казалось, считал себя обязанным относиться к нему с необыкновенным презрением. Некоторые девицы предлагали поскорее начать играть. На вопрос Вельчанинова, во что они играют, отвечали, что во все игры и в горелки, но что вечером будут играть в пословицы, то есть все садятся и один на время отходит; все же сидящие выбирают пословицу, например: «Тише едешь, дальше будешь», и когда того призовут, то каждый или каждая по порядку должны приготовить и сказать ему по одной фразе. Первый непременно говорит такую фразу, в которой есть слово «тише», второй — такую, в которой есть слово «едешь», и т. д. А тот должен непременно подхватить все эти словечки и по ним угадать пословицу.

— Это должно быть очень забавно,— заметил Вельчанинов.

— Ах нет, прескучно,— ответили два-три голоса разом.

— А то мы в театр тоже играем,— заметила Надя, обращаясь к нему,— Вот видите это толстое дерево, около которого скамьей обведено: там, за деревом, будто бы кулисы и там актеры сидят, ну там король, королева, принцесса, молодой человек — как кто захочет; каждый выходит, когда ему вздумается, и говорит, что́ на ум придет, ну что-нибудь и выходит.

— Да это славно! — похвалил еще раз Вельчанинов.

— Ах нет, прескучно! Сначала каждый раз весело выходит, а под конец каждый раз бестолково, потому что никто не умеет кончить; разве вот с вами будет занимательнее. А то мы думали про вас, что вы друг Павла Павловича, а выходит, что он просто нахвастал. Я очень рада, что вы приехали... по одному случаю,—

весьма серьезно и внушительно посмотрела она на Вельчанинова и тотчас же отошла к Марье Никитишне.

— В пословицы вечером будут играть,— вдруг конфиденциально шепнула Вельчанинову одна подружка, которую он до сих пор едва даже заметил и ни слова еще с нею не выговорил,— вечером над Павлом Павловичем все станут смеяться, так и вы тоже.

— Ах, как хорошо, что вы приехали, а то у нас всё так скучно,— дружески проговорила ему другая подружка, которую он уже и совсем до сих пор не заметил, бог знает вдруг откуда явившаяся, рыженькая, с веснушками и с ужасно смешно разгоревшимся от ходьбы и от жару лицом.

Беспокойство Павла Павловича возрастало всё более и более. В саду под конец Вельчанинов совершенно уже успел сойтись с Надей; она уже не выглядывала, как давеча, исподлобья и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнее, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку; она была счастлива ужасно, на Павла же Павловича продолжала не обращать ни малейшего внимания, как бы не замечая его. Вельчанинов убедился, что существует положительный заговор против Павла Павловича; Надя с толпой девушек отвлекала Вельчанинова в одну сторону, а другие подружки под разными предлогами заманивали Павла Павловича в другую; но тот вырывался и тотчас же опрометью прибегал прямо к ним, то есть к Вельчанинову и Наде, и вдруг вставлял свою лысую и беспокойно подслушивающую голову между ними. Под конец он уже даже и не стеснялся; наивность его жестов и движений была иногда удивительная. Не мог не обратить еще раз особенного внимания Вельчанинов и на Катерину Федосеевну; ей, конечно, уже стало ясно теперь, что он вовсе не для нее приехал, а слишком уже заинтересовался Надей; но лицо ее было так же мило и благодушно, как давеча. Она, казалось, уже тем одним была счастлива, что находится тоже подле них и слушает то, что говорит новый гость; сама же, бедненькая, никак не умела ловко вмешаться в разговор.

— А какая славная у вас сестрица Катерина Федосеевна!— сказал Вельчанинов вдруг потихоньку Наде.

— Катя-то! Да добрее разве может быть душа, как у ней? Наш общий ангел, я в нее влюблена,— отвечала та восторженно.

Настал наконец и обед в пять часов, и тоже очень заметно было, что обед устроен не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось два-три кушанья, очевидно прибавочные к обычному столу, довольно мудреные, а одно из них так и совсем какое-то странное, так что его и назвать никто бы не мог. Кроме обыкновенных столовых вин, появилась тоже, очевидно, придуманная для гостя бутылка токайского; под конец обеда для чего-то пода-

ли и шампанское. Старик Захлебинин, выпив лишнюю рюмку, был в самом благодушном настроении и готов был смеяться всему, что говорил Вельчанинов. Кончилось тем, что Павел Павлович наконец не выдержал: увлекшись соревнованием, он вдруг задумал тоже сказать какой-нибудь каламбур и сказал: на конце стола, где он сидел подле m-me Захлебининой, послышался вдруг громкий смех обрадовавшихся девиц.

— Папаша, папаша! Павел Павлович тоже каламбур сказал,— кричали две средние Захлебинины в один голос,— он говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться...»

— А, и он каламбурит! Ну, какой же он сказал каламбур?— степенным голосом отозвался старик, покровительственно обращаясь к Павлу Павловичу и заранее улыбаясь ожидаемому каламбуру.

— Да вот же он и говорит, что мы «девицы, на которых нужно дивиться».

— Д-да! Ну так что ж?— старик всё еще не понимал и еще добродушнее улыбался в ожидании.

— Ах, папаша, какой вы, не понимаете! Ну девицы и потом дивиться; девицы похоже на дивиться, девицы, на которых нужно дивиться...

— А-а-а! — озадаченно протянул старик.— Гм! Ну,— он в другой раз получше скажет! — и старик весело рассмеялся.

— Павел Павлович, нельзя же иметь все совершенно разом! — громко поддразнила Марья Никитишна.— Ах, боже мой, он костью подавился! — воскликнула она и вскочила со стула.

Поднялась даже суматоха, но Марье Никитишне только того и хотелось. Павел Павлович только захлебнулся вином, за которое он схватился, чтобы скрыть свой конфуз, но Марья Никитишна уверяла и клялась на все стороны, что это «рыбья кость, что она сама видела и что от этого умирают».

— Постукать по затылку! — крикнул кто-то.

— В самом деле и самое лучшее! — громко одобрил Захлебинин, но уже явились и охотницы: Марья Никитишна, рыженькая подружка (тоже приглашенная к обеду) и, наконец, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся,— все хотела стукать Павла Павловича по затылку. Выскочивший из-за стола Павел Павлович отвертывался и целую минуту должен был уверять, что он только поперхнулся вином и что кашель сейчас пройдет,— пока наконец-то догадались, что всё это — проказы Марьи Никитишны.

— Ну, однако, уж ты, забияка!..— строго заметила m-me Захлебинина Марье Никитишне,— но тотчас не выдержала и расхохоталась так, как с нею редко случалось, что тоже произвело своего рода эффект. После обеда все вышли на балкон пить кофе.

— И какие славные стоят дни! — благосклонно похвалил природу старик, с удовольствием смотря в сад,— только бы вот дождя... Ну, а я пойду отдохнуть. С богом, с богом, веселитесь! И ты веселись! — стукнул он, выходя, по плечу Павла Павловича.

Когда все опять сошли в сад, Павел Павлович вдруг подбежал к Вельчанинову и дернул его за рукав.

— На одну минутку-с,— прошептал он в нетерпении.

Они вышли в боковую, уединенную дорожку сада.

— Нет, уж здесь извините-с, нет, уж здесь я не дам-с...— яростно захлебываясь, прошептал он, ухватив Вельчанинова за рукав.

— Что? Чего?— спрашивал Вельчанинов, сделав большие глаза. Павел Павлович молча смотрел на него, шевелил губами и яростно улыбнулся.

— Куда же вы? Где же вы тут? Всё уж готово! — послышались нетерпеливые голоса девиц. Вельчанинов пожал плечами и воротился к обществу. Павел Павлович тоже бежал за ним.

— Бьюсь об заклад, что он у вас платка носового просил,— сказала Марья Никитишна,— прошлый раз он тоже забыл.

— Вечно забудет! — подхватила средняя Захлебинина.

— Платок забыл! Павел Павлович платок забыл! Maman, Павел Павлович опять платок носовой забыл, maman, у Павла Павловича опять насморк! — раздавались голоса.

— Так чего же он не скажет! Какой вы, Павел Павлович, щепетильный! — нараспев протянула m-me Захлебинина; с насморком опасно шутить; я вам сейчас пришлю платок. И с чего у него все насморк! — прибавила она уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой.

— У меня два платка-с и нет насморка-с! — прокричал ей вслед Павел Павлович, но та, видно, не разобрала, и через минуту, когда Павел Павлович трусил вслед за всеми и всё поближе к Наде и Вельчанинову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платок.

— Играть, играть, в пословицы играть! — кричали со всех сторон, точно и бог знает чего ждали от «пословиц».

Выбрали место и уселись на скамейках; досталось отгадывать Марье Никитишне; потребовали, чтоб она ушла как можно дальше и не подслушивала; в отсутствие ее выбрали пословицу и роздали слова. Марья Никитишна воротилась и мигом отгадала. Пословица была: «Страшен сон, да милостив бог».

За Марьей Никитишной последовал взъерошенный молодой человек в синих очках. От него потребовали еще больше предосторожности,— чтоб он стал у беседки и оборотился лицом совсем к забору. Мрачный молодой человек исполнял свою должность с презрением и даже как будто ощущал некоторое нравственное

унижение. Когда его кликнули, он ничего не мог угадать, обошел всех и выслушал, что ему говорили по два раза, долго и мрачно соображал, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была: «За богом молитва, а за царем служба не пропадают!»

— И пословица-то мерзость! — с негодованием проворчал уязвленный юноша, ретируясь на свое место.

— Ах, как скучно! — послышались голоса.

Пошел Вельчанинов; его спрятали еще дальше всех; он тоже не угадал.

— Ах, как скучно! — послышалось еще больше голосов.

— Ну теперь я пойду,— сказала Надя.

— Нет, нет, теперь Павел Павлович пойдет, очередь Павлу Павловичу,— закричали все и оживились немножко.

Павла Павловича отвели к самому забору, в угол, и поставили туда лицом, а чтобы он не оглянулся, приставили за ним смотреть рыженькую. Павел Павлович, уже ободрившийся и почти снова развеселившийся, намерен был свято исполнить свой долг и стоял как пень, смотря на забор и не смея обернуться. Рыженькая сторожила его в двадцати шагах позади, ближе к обществу, у беседки, и о чем-то перемигивалась в волнении с девицами; видно было, что и все чего-то ожидали с некоторым даже беспокойством; что-то приготовлялось. Вдруг рыженькая замахала из-за беседки руками. Мигом все вскочили и бросились бежать куда-то сломя голову.

— Бегите, бегите и вы! — шептали Вельчанинову десять голосов чуть не в ужасе оттого, что он не бежит.

— Что такое? Что случилось?— спрашивал он, поспевая за всеми.

— Тише, не кричите! Пусть он там стоит и смотрит на забор, а мы все убежим. Вот и Настя бежит.

Рыженькая (Настя) бежала сломя голову, точно бог знает что случилось, и махала руками. Прибежали наконец все за пруд, совсем на другой конец сада. Когда дошел сюда и Вельчанинов, то увидел, что Катерина Федосеевна сильно спорила со всеми девицами и особенно с Надей и с Марьей Никитишной.

— Катя, голубчик, не сердись! — целовала ее Надя.

— Ну хорошо, я мамаше не скажу, но сама уйду, потому что это очень нехорошо. Что он, бедный, должен там у забора почувствовать.

Она ушла — из жалости, но все остальные пребыли неумолимы и безжалостны по-прежнему. От Вельчанинова строго потребовали, чтобы и он, когда воротится Павел Павлович, не обращал на него внимания, как будто ничего и не случилось. «А мы все давайте играть в горелки!»— прокричала в упоении рыженькая.

Павел Павлович присоединился к обществу по крайней мере

только через четверть часа. Две трети этого времени он, наверно, простоял у забора. Горелки были в полном ходу и удались отлично,— все кричали и веселились. Обезумев от ярости, Павел Павлович прямо подскочил к Вельчанинову и опять схватил его за рукав.

— На одну минуточку-с!

— О господи, что он всё с своими минуточками!

— Опять платок просит,— прокричали им вслед.

— Ну уж этот раз это вы-с; тут уж теперь вы-с, вы причиной-с!..— Павел Павлович даже стучал зубами, выговаривая это.

Вельчанинов прервал его и мирно посоветовал ему быть веселее, а то его совсем задразнят: «Оттого вас и дразнят, что вы злитесь, когда всем весело». К его удивлению, слова и совет ужасно поразили Павла Павловича; он тотчас притих, до того даже, что воротился к обществу как виноватый и покорно принял участие в общих играх; затем его несколько времени не беспокоили и играли с ним, как со всеми,— и не прошло получасу, как он опять почти что развеселился. Во всех играх он ангажировал себе в пару, когда надо было, преимущественно изменницу рыженькую или одну из сестер Захлебининых. Но, к еще пущему своему удивлению, Вельчанинов заметил, что Павел Павлович ни разу почти не осмелился сам заговорить с Надей, хотя беспрерывно юлил подле или невдалеке от нее; по крайней мере свое положение не примечаемого и презираемого ею он принимал как бы так и должное, натуральное. Но под конец с ним все-таки опять сыграли штучку.

Игра была «прятаться». Спрятавшийся мог, впрочем, перебегать по всему тому месту, где позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влезши в густой куст, вдруг вздумалось, перебегая, вскочить в дом. Раздались крики, его увидели; он по лестнице поспешно улизнул в антресоли, зная там одно местечко за комодом, где хотел притаиться. Но рыженькая взлетела вслед за ним, подкралась на цыпочках к двери и защелкнула ее на замок. Все тотчас, как давеча, перестали играть и опять убежали за пруд, на другой конец сада. Минут через десять Павел Павлович, почувствовав, что его никто не ищет, выглянул из окошка. Никого не было. Кричать он не смел, чтобы не разбудить родителей; горничной и служанке дано было строгое приказание не являться и не отзываться на зов Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Федосеевна, но она, возвратясь в свою комнатку и сев помечтать, неожиданно тоже заснула. Он просидел таким образом около часу. Наконец стали появляться, как бы невзначай, проходя, по две и по три девицы.

— Павел Павлович, что вы к нам нейдете? Ах, как там весело! Мы в театр играем. Алексей Иванович «молодого человека» представлял.

— Павел Павлович, что же вы нейдете, на вас нужно дивиться! — замечали проходившие другие девицы.

— Чему опять дивиться?— раздался вдруг голос m-me Захлебининой, только что проснувшейся и решившейся наконец пройтись по саду и взглянуть на «детские» игры в ожидании чаю.

— Да вот Павел Павлович,— указали ей на окно, в которое выглядывало, искаженно улыбаясь, лицо, побледневшее от злости,— лицо Павла Павловича.

— И охота человеку сидеть одному, когда всем так весело! — покачала головою мать семейства.

Тем временем Вельчанинов удостоился наконец получить от Нади объяснение ее давешних слов о том, что она «рада его приезду по одному случаю». Объяснение произошло в уединенной аллее. Марья Никитишна нарочно вызвала Вельчанинова, участвовавшего в каких-то играх и уже начинавшего сильно тосковать, и привела его в эту аллею, где и оставила его одного с Надей.

— Я совершенно убедилась,— затрещала она смелой и быстрой скороговоркой,— что вы вовсе не такой друг Павла Павловича, как он об вас нахвастал. Я рассчитала, что только вы один можете оказать мне одну чрезвычайно важную услугу; вот его давешний скверный браслет,— вынула она футляр из кармашка,— я вас покорнейше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю с ним теперь во всю жизнь. Впрочем, можете сказать ему это от моего имени и прибавьте, чтоб он не смел вперед соваться с подарками. Об остальном я уже дам ему знать через других. Угодно вам сделать мне удовольствие, исполнить мое желание?

— Ах, ради бога, избавьте! — почти вскричал Вельчанинов, замахав руками.

— Как! Как избавьте?— неимоверно удивилась Надя его отказу и вытаращила на него глаза. Весь подготовленный тон ее порвался в один миг, и она чуть уж не плакала. Вельчанинов рассмеялся.

— Я не то чтобы... я очень бы рад... но у меня с ним свои счеты...

— Я знала, что вы ему не друг и что он налгал! — пылко и скоро перебила его Надя.— Я никогда не выйду за него замуж, знайте это! Никогда! Я не понимаю даже, как он осмелился... Только вы все-таки должны передать ему его гадкий браслет, а то как же мне быть? Я непременно, непременно хочу, чтоб он сегодня же, в тот же день, получил обратно и гриб съел. А если он нафискалит папаше, то увидите, как ему достанется.

Из-за куста вдруг и совсем неожиданно выскочил взъерошенный молодой человек в синих очках.

— Вы должны передать браслет,— неистово накинулся он на Вельчанинова,— уже во имя одних только прав женщины, если вы сами стоите на высоте вопроса...

Но он не успел докончить; Надя рванула его изо всей силы за рукав и оттащила от Вельчанинова.

— Господи, как вы глупы, Предпосылов! — закричала она.— Ступайте вон! Ступайте вон, ступайте вон и не смейте подслушивать, я вам приказала далеко стоять!..— затопала она на него ножками, и когда уже тот улизнул опять в свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперек дорожки, взад и вперед, сверкая глазками и сложив перед собою обе руки ладошками.

— Вы не поверите, как они глупы! — остановилась она вдруг перед Вельчаниновым.— Вам вот смешно, а мне-то каково!

— Это ведь не *он*, не *он?*—смеялся Вельчанинов.

— Разумеется, не *он*, и как только вы могли это подумать! — улыбнулась и закраснелась Надя.— Это только его друг. Но каких он выбирает друзей, я не понимаю, они все там говорят, что это «будущий двигатель», а я ничего не понимаю... Алексей Иванович, мне не к кому обратиться; последнее слово, отдадите вы или нет?

— Ну хорошо, отдам, давайте.

— Ах, вы милый, ах, вы добрый! — обрадовалась вдруг она, передавая ему футляр.— Я вам за это целый вечер петь буду, потому что я прекрасно пою, знайте это, а я давеча налгала, что музыку не люблю. Ах, кабы вы еще хоть разочек приехали, как бы я была рада, я бы вам всё, всё, всё рассказала, и много бы кроме того, потому что вы такой добрый, такой добрый, как — как Катя!

И действительно, когда воротились домой, к чаю, она ему спела два романса голосом совсем еще не обработанным и только что начинавшимся, но довольно приятным и с силой. Павел Павлович, когда все воротились из саду, солидно сидел с родителями за чайным столом, на котором уже кипел большой семейный самовар и расставлены были фамильные чайные чашки севрского фарфора. Вероятно, он рассуждал с стариками о весьма серьезных вещах,— так как послезавтра он уезжал на целые девять месяцев. На вошедших из сада, и преимущественно на Вельчанинова, он даже и не поглядел; очевидно было тоже, что он не «нафискалил» и что всё покамест было спокойно. Но когда Надя стала петь, явился тотчас и он. Надя нарочно не ответила на один его прямой вопрос, но Павла Павловича это не смутило и не поколебало; он стал за спинкой ее стула, и весь вид его показывал, что это его место и что он его никому не уступит.

— Алексею Ивановичу петь, maman, Алексей Иванович хочет спеть! — закричали почти все девицы, теснясь к роялю, за который самоуверенно усаживался Вельчанинов, располагаясь сам себе аккомпанировать. Вышли и старики и Катерина Федосеевна, сидевшая с ними и разливавшая чай.

Вельчанинов выбрал один, почти никому теперь не известный романс Глинки:

Когда в час веселый откроешь ты губки
И мне заворкуешь нежнее голубки...

Он спел его, обращаясь к одной только Наде, стоявшей у самого его локтя и всех к нему ближе. Голосу у него давно уже не было, но видно было по остаткам, что прежде был недурной. Этот романс Вельчанинову удалось слышать в первый раз лет двадцать перед этим, когда он был еще студентом, от самого Глинки, в доме одного приятеля покойного композитора, на литературно-артистической холостой вечеринке. Расходившийся Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений, в том числе этот романс. У него тоже не оставалось тогда голосу, но Вельчанинов помнил чрезвычайное впечатление, произведенное тогда именно этим романсом. Какой-нибудь искусник, салонный певец, никогда бы не достиг такого эффекта. В этом романсе напряжение страсти идет, возвышаясь и увеличиваясь с каждым стихом, с каждым словом; именно от силы этого необычайного напряжения малейшая фальшь, малейшая утрировка и неправда, которые так легко сходят с рук в опере,— тут погубили и исказили бы весь смысл. Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновенную вещицу, нужна была непременно — правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным: невозможно было бы выказать такую силу напряжения страстного чувства, не возбудив отвращения, а правда и *простодушие* спасали всё. Вельчанинов помнил, что этот романс ему и самому когда-то удавался. Он почти усвоил манеру пения Глинки; но теперь с первого же звука, с первого стиха и настоящее вдохновение зажглось в его душе и дрогнуло в голосе. С каждым словом романса всё сильнее и смелее прорывалось и обнажалось чувство, в последних стихах послышались крики страсти, и когда он допел, сверкающим взглядом обращаясь к Наде, последние слова романса:

Теперь я смелее гляжу тебе в очи,
Уста приближаю и слушать нет мочи,
Хочу целовать, целовать, целовать!
Хочу целовать, целовать, целовать! —

то Надя вздрогнула почти от испуга, даже капельку отшатнулась назад; румянец залил ее щеки, и в то же мгновение как бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову в застыдившемся и почти оробевшем ее личике. Очарование, а в то же время и недоумение проглядывали и на лицах всех слушательниц; всем как бы казалось, что невозможно и стыдно так петь, а в то же время все эти личики и глазки горели и сверкали и как будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло перед Вельчаниновым лицо Катерины Федосеевны, сделавшееся чуть не прекрасным.

— Ну романс! — пробормотал несколько опешенный старик Захлебинин.— Но... не слишком ли сильно? Приятно, но сильно...

— Сильно...— отозвалась было и m-me Захлебинина, но Павел Павлович ей не дал докончить: он вдруг выскочил вперед и, как помешанный, забывшись до того, что сам своей рукой схватил за руку Надю и отвел ее от Вельчанинова, подскочил к нему и потерянно смотрел на него, шевеля трясущимися губами.

— На одну минутку-с,— едва выговорил он наконец.

Вельчанинов ясно видел, что еще минута, и этот господин может решиться на что-нибудь в десять раз еще нелепее; он взял его поскорее за руку и, не обращая внимания на всеобщее недоумение, вывел на балкон и даже сошел с ним несколько шагов в сад, в котором уже почти совсем стемнело.

— Понимаете ли, что вы должны сейчас же, сию же минуту со мною уехать! — проговорил Павел Павлович.

— Нет, не понимаю...

— Помните ли,— продолжал Павел Павлович своим исступленным шепотом,— помните, как вы потребовали от меня тогда, чтобы я сказал вам всё, *всё-с,* откровенно-с, «самое последнее слово...», помните ли-с? Ну, так пришло время сказать это слово-с... поедемте-с!

Вельчанинов подумал, взглянул еще раз на Павла Павловича и согласился уехать.

Внезапно возвещенный их отъезд взволновал родителей и возмутил всех девиц ужасно.

— Хотя бы по другой чашке чаю...— жалобно простонала m-me Захлебинина.

— Ну уж ты, чего взволновался?— с строгим и недовольным тоном обратился старик к ухмылявшемуся и отмалчивающемуся Павлу Павловичу.

— Павел Павлович, зачем вы увозите Алексея Ивановича?— жалобно заворковали девицы, в то же время ожесточенно на него посматривая. Надя же так злобно на него поглядела, что он весь покривился, но — не сдался.

— А ведь и в самом деле Павел Павлович — спасибо ему — напомнил мне о чрезвычайно важном деле, которое я мог упустить,— смеялся Вельчанинов, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйке и девицам и как бы особенно перед всеми ими Катерине Федосеевне, что было опять всеми замечено.

— Мы вам благодарны за посещение и вам всегда рады, все,— веско заключил Захлебинин.

— Ах, мы так рады...— с чувством подхватила мать семейства.

— Приезжайте, Алексей Иванович! приезжайте! — слышались многочисленные голоса с балкона, когда он уже уселся с Павлом Павловичем в коляску; чуть ли не было одного голоска, проговорившего потише других: «Приезжайте, милый, милый Алексей Иванович!»

«Это рыженькая!»— подумал Вельчанинов.

XIII

На чьем краю больше

Он мог подумать о рыженькой, а между тем досада и раскаяние давно уже томили его душу. Да и во весь этот день, казалось бы так забавно проведенный,— тоска почти не оставляла его. Перед тем как петь романс, он уже не знал, куда от нее деваться; может, оттого и пропел с таким увлечением.

«И я мог так унизиться... оторваться от всего!»— начал было он упрекать себя, но поспешно прервал свои мысли. Да и унизительно показалось ему плакаться; гораздо приятнее было на кого-нибудь поскорей рассердиться.

— Дур-рак! — злобно прошептал он, накосившись на сидевшего с ним рядом в коляске и примолкшего Павла Павловича.

Павел Павлович упорно молчал, может быть сосредоточиваясь и приготовляясь. С нетерпеливым жестом снимал он иногда с себя шляпу и вытирал себе лоб платком.

— Потеет! — злобился Вельчанинов.

Однажды только Павел Павлович отнесся с вопросом к кучеру: «Будет гроза или нет?»

— И-и какая! Непременно будет; весь день парило.— Действительно, небо темнело и вспыхивали отдаленные молнии. В город въехали уже в половине одиннадцатого.

— Я ведь к вам-с,— предупредительно обратился Павел Павлович к Вельчанинову уже неподалеку от дома.

— Понимаю; но я вас уведомляю, что чувствую себя серьезно нездоровым...

— Не засижусь, не засижусь!

Когда стали входить в ворота, Павел Павлович забежал на минутку в дворницкую к Мавре.

— Чего вы туда забегали?— строго спросил Вельчанинов, когда тот догнал его и вошли в комнаты.

— Ничего-с, так-с... извозчик-с...

— Я вам пить не дам!

Ответа не последовало. Вельчанинов зажег свечи, а Павел Павлович тотчас же уселся в кресло. Вельчанинов нахмуренно остановился перед ним.

— Я вам тоже обещал сказать и мое «последнее» слово,— начал он с внутренним, еще подавляемым раздражением,— вот оно, это слово: считаю по совести, что все дела между нами обоюдно покончены, так что нам не об чем даже и говорить; слышите — не об чем; а потому не лучше ли вам сейчас уйти, а я за вами дверь запру.

— Поквитаемтесь, Алексей Иванович! — проговорил Павел Павлович, но как-то особенно кротко смотря ему в глаза.

— По-кви-таемтесь?— удивился ужасно Вельчанинов.— Странное слово вы выговорили! В чем же «поквитаемтесь»? Ба! Да это уж не то ли ваше «последнее слово», которое вы мне давеча обещали... открыть?

— Оно самое-с.

— Не в чем нам более сквитываться, мы — давно сквитались! — гордо произнес Вельчанинов.

— Неужели вы так думаете-с?— проникнутым голосом проговорил Павел Павлович, как-то странно сложив перед собою руки, пальцы в пальцы, и держа их перед грудью. Вельчанинов не ответил ему и пошел шагать по комнате: «Лиза? Лиза?»— стонало в его сердце.

— А впрочем, чем же вы хотели сквитаться?— нахмуренно обратился он к нему после довольно продолжительного молчания. Тот всё это время провожал его по комнате глазами, держа перед собою по-прежнему сложенные руки.

— Не ездите туда более-с,— почти прошептал он умоляющим голосом и вдруг встал со стула.

— Как? Так вы только про это?— Вельчанинов злобно рассмеялся.— Однако ж дивили вы меня целый день сегодня! — начал было он ядовито, но вдруг всё лицо его изменилось.— Слушайте меня,— грустно и с глубоким откровенным чувством проговорил он,— я считаю, что никогда и ничем я не унижал себя так, как сегодня,— во-первых, согласившись ехать с вами, и потом — тем, что было там... Это было так мелочно, так жалко... я опоганил и оподлил себя, связавшись... и позабыв... Ну да что!— спохватился он вдруг,— слушайте: вы напали на меня сегодня невзначай, на раздраженного и больного... ну да нечего оправды-

ваться! Туда я более не поеду и уверяю вас, что не имею никаких там интересов,— заключил он решительно.

— Неужели, неужели?— не скрывая своего радостного волнения, вскричал Павел Павлович. Вельчанинов с презрением посмотрел на него и опять пошел расхаживать по комнате.

— Вы, кажется, во что бы то ни стало решили быть счастливым?— не утерпел он наконец не заметить.

— Да-с,— тихо и наивно подтвердил Павел Павлович.

«Что мне в том,— думал Вельчанинов,— что он шут и зол только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидеть,— хотя бы он и не стоил того!»

— Я «вечный муж-с»! — проговорил Павел Павлович с приниженно-покорною усмешкой над самим собой.— Я это словечко давно уже знал от вас, Алексей Иванович, еще когда вы жили с нами там-с. Я много ваших слов тогда запомнил, в тот год. В прошлый раз, когда вы сказали здесь «вечный муж», я и сообразил-с.

Мавра вошла с бутылкой шампанского и с двумя стаканами.

— Простите, Алексей Иванович, вы знаете, что без этого я не могу-с. Не сочтите за дерзость; посмотрите как на постороннего и вас не стоящего-с...

— Да...— с отвращением позволил Вельчанинов,— но уверяю вас, что я чувствую себя нездоровым...

— Скоро, скоро, сейчас, в одну минуту! — захлопотал Павел Павлович.— Всего один только стаканчик, потому что горло...

Он с жадностию и залпом выпил стакан и сел,— чуть не с нежностью посматривая на Вельчанинова. Мавра ушла.

— Экая мерзость! — шептал Вельчанинов.

— Это только подружки-с,— бодро проговорил вдруг Павел Павлович, совершенно оживившись.

— Как! Что? Ах, да, вы всё про то...

— Только подружки-с! И притом так еще молодо; из грациозности куражимся, вот-с! Даже прелестно. А там — там вы знаете: рабом ее стану; увидит почет, общество... совершенно перевоспитается-с.

«Однако ж ему надо браслет отдать!»— нахмурился Вельчанинов, ощупывая футляр в кармане своего пальто.

— Вы вот говорите-с, что вот я решился быть счастливым? Мне надо жениться, Алексей Иванович,— конфиденциально и почти трогательно продолжал Павел Павлович,— иначе что же из меня выйдет? Сами видите-с! — указал он на бутылку.— А это лишь одна сотая — качеств-с. Я совсем не могу без женитьбы-с и — без новой веры-с; уверую и воскресну-с.

— Да мне-то для чего вы это сообщаете?— чуть не фыркнул со смеха Вельчанинов. Дико, впрочем, всё это казалось ему.

— Да скажите же мне наконец,— вскричал он,— для чего вы меня туда таскали? Я-то на что вам там надобился?

— Чтобы испытать-с...— как-то вдруг смутился Павел Павлович.

— Что испытать?

— Эффект-с... Я, вот видите ли, Алексей Иванович, всего только неделю как... там ищу-с (он конфузился всё более и более). Вчера встретил вас и подумал: «Я ведь никогда еще ее не видал в постороннем, так сказать, обществе-с, то есть мужском-с, кроме моего-с...» Глупая мысль-с, сам теперь чувствую; излишняя-с. Слишком уж захотелось-с, от скверного моего характера-с...— Он вдруг поднял голову и покраснел.

«Неужели он всю правду говорит?»— дивился Вельчанинов до столбняка.

— Ну и что ж?— спросил он.

Павел Павлович сладко и как-то хитро улыбнулся.

— Одно лишь прелестное детство-с! Всё подружки-с! Простите меня только за мое глупое поведение сегодня перед вами, Алексей Иванович; никогда не буду-с; да и более никогда этого не будет.

— Да и меня там не будет,— усмехнулся Вельчанинов.

— Я отчасти на этот счет и говорю-с.

Вельчанинов немножко покоробился.

— Однако ж ведь не один я на свете,— раздражительно заметил он.

Павел Павлович опять покраснел.

— Мне это грустно слышать, Алексей Иванович, и я так, поверьте, уважаю Надежду Федосеевну.

— Извините, извините, я ничего не хотел,— мне вот только странно немного, что вы так преувеличенно оценили мои средства...— и... так искренно на меня понадеялись...

— Именно потому и понадеялся-с, что это было после всего-с... что уже было-с.

— Стало быть, вы и теперь считаете меня, коли так, за благороднейшего человека?— остановился вдруг Вельчанинов. Он бы сам в другую минуту ужаснулся наивности своего внезапного вопроса.

— Всегда и считал-с,— опустил глаза Павел Павлович.

— Ну да, разумеется... я не про то, то есть не в том смысле,— я хотел только сказать, что, несмотря ни на какие... предубеждения...

— Да-с, несмотря и на предубеждения-с.

— А когда в Петербург ехали?— не мог уже сдержаться Вельчанинов, сам чувствуя всю чудовищность своего любопытства.

— И когда в Петербург ехал, за наиблагороднейшего человека считал вас-с. Я всегда уважал вас, Алексей Иванович,— Павел Павлович поднял глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядел на своего противника. Вельчанинов вдруг струсил: ему решительно не хотелось, чтобы что-нибудь случилось или чтобы что-нибудь перешло за черту, тем более что сам вызвал.

— Я вас любил, Алексей Иванович,— произнес Павел Павлович, как бы вдруг решившись,— и весь тот год в Т. любил-с. Вы не заметили-с,— продолжал он немного вздрагивавшим голосом, к решительному ужасу Вельчанинова,— я стоял слишком мелко в сравнении с вами-с, чтобы дать вам заметить. Да и не нужно, может быть, было-с. И во все эти девять лет я об вас запомнил-с, потому что я такого года не знал в моей жизни, как тот. (Глаза Павла Павловича как-то особенно заблистали). Я многие ваши слова и изречения запомнил-с, ваши мысли-с. Я об вас как об пылком к доброму чувству и образованном человеке всегда вспоминал-с, высокообразованном-с и с мыслями-с. «Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с»— вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с... а стало быть, и верил-с — несмотря ни на что-с...— Подбородок его вдруг затрясся. Вельчанинов был в совершенном испуге; этот неожиданный тон надо было прекратить во что бы ни стало.

— Довольно, пожалуйста, Павел Павлович,— пробормотал он, краснея и в раздраженном нетерпении,— и зачем, зачем,— вскричал он вдруг,— зачем привязываетесь вы к больному, раздраженному человеку, чуть не в бреду человеку, и тащите его в эту тьму... тогда как — всё призрак, и мираж, и ложь, и стыд, и неестественность, и — не в меру,— а это главное, это всего стыднее, что не в меру! И всё вздор: оба мы порочные, подпольные, гадкие люди... И хотите, хотите, я сейчас докажу вам, что вы меня не только не любите, а ненавидите, изо всех сил, и что вы лжете, сами не зная того: вы взяли меня и повезли туда вовсе не для смешной этой цели, чтобы невесту испытать (придет же в голову!),— а просто увидели меня вчера и *озлились* и повезли меня, чтобы мне показать и сказать: «Видишь какая! Моя будет; ну-ка попробуй тут теперь!» Вы вызов мне сделали! Вы, может быть, сами не знали, а это было так, потому что вы всё это чувствовали... А без ненависти такого вызова сделать нельзя; стало быть, вы меня ненавидели! — Он бегал по комнате, выкрикивая это, и всего более мучило и обижало его унизительное сознание, что он сам до такой степени снисходит до Павла Павловича.

— Я помириться с вами желал, Алексей Иванович! — вдруг решительно произнес тот скорым шепотом, и подбородок его снова

запрыгал. Неистовая ярость овладела Вельчаниновым, как будто никогда и никто еще не наносил ему подобной обиды!

— Говорю же вам еще раз,— завопил он,— что вы на больного и раздраженного человека... повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово, в бреду! Мы... да мы люди разных миров, поймите же это, и... и... между нами одна могила легла! — неистово прошептал он — и вдруг опомнился...

— А почем вы знаете,— исказилось вдруг и побледнело лицо Павла Павловича,— почем вы знаете, что значит эта могилка здесь... у меня-с! — вскричал он, подступая к Вельчанинову и с смешным, но ужасным жестом ударяя себя кулаком в сердце.— Я знаю эту здешнюю могилку-с, и мы оба по краям этой могилы стоим, только на моем краю больше, чем на вашем, больше-с...— шептал он как в бреду, всё продолжая себя бить в сердце,— больше-с, больше-с — больше-с...— Вдруг необыкновенный удар в дверной колокольчик заставил очнуться обоих. Позвонили так сильно, что, казалось, кто-то дал себе слово сорвать с первого удара звонок.

— Ко мне так не звонят,— в замешательстве проговорил Вельчанинов.

— Да ведь и не ко мне же-с,— робко прошептал Павел Павлович, тоже очнувшийся и мигом обратившийся в прежнего Павла Павловича. Вельчанинов нахмурился и пошел отворить дверь.

— Господин Вельчанинов, если не ошибаюсь?— послышался молодой, звонкий и необыкновенно самоуверенный голос из передней.

— Чего вам?

— Я имею точное сведение,— продолжал звонкий голос,— что некто Трусоцкий находится в настоящую минуту у вас. Я должен непременно его сейчас видеть.— Вельчанинову, конечно, было бы приятно — сейчас же выпихнуть хорошим пинком этого самоуверенного господина на лестницу. Но он подумал, посторонился и пропустил его.

— Вот господин Трусоцкий, войдите...

XIV

Сашенька и Наденька

В комнату вошел очень молодой человек, лет девятнадцати, даже, может быть, и несколько менее,— так уж моложаво казалось его красивое, самоуверенно вздернутое лицо. Он был недурно одет, по крайней мере всё на нем хорошо сидело; ростом повыше среднего; черные, густые, разбитые космами волосы и

большие, смелые, темные глаза — особенно выдавались в его физиономии. Только нос был немного широк и вздернут кверху; не будь этого, был бы совсем красавчик. Вошел он важно.

— Я, кажется, имею — случай — говорить с господином Трусоцким,— произнес он размеренно и с особенным удовольствием отмечая слово «случай», то есть тем давая знать, что никакой чести и никакого удовольствия в разговоре с господином Трусоцким для него быть не может.

Вельчанинов начинал понимать; кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. В лице его выразилось беспокойство; он, впрочем, себя поддержал.

— Не имея чести вас знать,— осанисто отвечал он,— полагаю, что не могу иметь с вами и никакого дела-с.

— Вы сперва выслушаете, а потом уже скажете ваше мнение,— самоуверенно и назидательно произнес молодой человек и, вынув черепаховый лорнет, висевший у него на шнурке, стал разглядывать в него бутылку шампанского, стоявшую на столе. Спокойно кончив осмотр бутылки, он сложил лорнет и, обращаясь снова к Павлу Павловичу, произнес:

— Александр Лобов.

— А что такое это Александр Лобов-с?

— Это я. Не слыхали?

— Нет-с.

— Впрочем, где же вам знать. Я с важным делом, собственно до вас касающимся; позвольте, однако ж, сесть, я устал...

— Садитесь,— пригласил Вельчанинов,— но молодой человек успел усесться еще и до приглашения. Несмотря на возраставшую боль в груди, Вельчанинов интересовался этим маленьким нахалом. В хорошеньком, детском и румяном его личике померещилось ему какое-то отдаленное сходство с Надей.

— Садитесь и вы,— предложил юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежным кивком головы место напротив.

— Ничего-с, постою.

— Устанете. Вы, господин Вельчанинов, можете, пожалуй, и не уходить.

— Мне и некуда уходить, я у себя.

— Как хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моем объяснении с этим господином. Надежда Федосеевна довольно лестно вас мне отрекомендовала.

— Ба! Когда это она успела?

— Да сейчас после вас же, я ведь тоже оттуда. Вот что, господин Трусоцкий,— повернулся он к стоявшему Павлу Павловичу,— мы, то есть я и Надежда Федосеевна,— цедил он сквозь зубы, небрежно разваливаясь в креслах,— давно уже любим друг друга и дали друг другу слово. Вы теперь между нами помеха; я пришел вам предложить, чтобы вы очистили место. Угодно вам будет согласиться на мое предложение?

Павел Павлович даже покачнулся; он побледнел, но ехидная улыбка тотчас же выдавилась на его губах.

— Нет-с, нимало не угодно-с,— отрезал он лаконически.

— Вот как! — повернулся в креслах юноша, заломив нога за ногу.

— Даже не знаю, с кем и говорю-с,— прибавил Павел Павлович,— думаю даже, что не об чем нам и продолжать.

Высказав это, он тоже нашел нужным присесть.

— Я сказал, что устанете,— небрежно заметил юноша,— я имел сейчас случай известить вас, что мое имя Лобов и что я и Надежда Федосеевна, мы дали друг другу слово,— следовательно, вы не можете говорить, как сейчас сказали, что не знаете, с кем имеете дело; не можете тоже думать, что нам не об чем с вами продолжать разговор: не говоря уже обо мне,— дело касается Надежды Федосеевны, к которой вы так нагло пристаете. А уж одно это составляет достаточную причину для объяснений.

Всё это он процедил сквозь зубы, как фат, чуть-чуть даже удостоивая выговаривать слова; даже опять вынул лорнет и на минутку на что-то направил его, пока говорил.

— Позвольте, молодой человек...— раздражительно воскликнул было Павел Павлович, но «молодой человек» тотчас же осадил его.

— Во всякое другое время я, конечно бы, запретил вам называть меня «молодым человеком», но теперь, сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное перед вами преимущество и что вам и очень бы хотелось, например, сегодня, когда вы дарили ваш браслет, быть при этом хоть капельку помоложе.

— Ах ты пескарь! — прошептал Вельчанинов.

— Во всяком случае, милостивый государь,— с достоинством поправился Павел Павлович,— я все-таки не нахожу выставленных вами причин,— причин неприличных и весьма сомнительных,— достаточными, чтобы продолжать об них прение-с. Вижу, что всё это дело детское и пустое; завтра же справлюсь у почтеннейшего Федосея Семеновича, а теперь прошу вас уволить-с.

— Видите ли вы склад этого человека! — вскричал тотчас же, не выдержав тона, юноша, горячо обращаясь к Вельчанинову.— Мало того, что его оттуда гонят, выставляя ему язык,— он еще хочет завтра на нас доносить старику! Не доказываете ли вы этим, упрямый человек, что вы хотите взять девушку насильно, покупаете ее у выживших из ума людей, которые вследствие общественного варварства сохраняют над нею власть? Ведь уж достаточно, кажется, она показала вам, что вас прези-

рает; ведь вам возвратили же ваш сегодняшний неприличный подарок, ваш браслет? Чего же вам больше?

— Никакого браслета никто мне не возвращал, да и не может этого быть,— вздрогнул Павел Павлович.

— Как не может? Разве господин Вельчанинов вам не передал?

«Ах, черт бы тебя взял!»— подумал Вельчанинов.

— Мне действительно,— проговорил он хмурясь,— Надежда Федосеевна поручила давеча передать вам, Павел Павлович, этот футляр. Я не брал, но она — просила... вот он... мне досадно...

Он вынул футляр и положил его в смущении перед оцепеневшим Павлом Павловичем.

— Почему же вы до сих пор не передали?— строго обратился молодой человек к Вельчанинову.

— Не успел, стало быть,— нахмурился тот.

— Это странно!

— Что-о-о?

— Уж по крайней мере странно, согласитесь сами. Впрочем, я согласен признать, что тут — недоразумение.

Вельчанинову ужасно захотелось сейчас же встать и выдрать мальчишку за уши, но он не мог удержаться и вдруг фыркнул на него от смеха; мальчик тотчас же и сам засмеялся. Не то было с Павлом Павловичем; если бы Вельчанинов мог заметить его ужасный взгляд на себе, когда он расхохотался над Лобовым,— то он понял бы, что этот человек в это мгновение переходит за одну роковую черту... Но Вельчанинов, хотя взгляда и не видал, но понял, что надо поддержать Павла Павловича.

— Послушайте, господин Лобов,— начал он дружественным тоном,— не входя в рассуждение о прочих причинах, которых я не хочу касаться, я бы заметил вам только то, что Павел Павлович все-таки приносит с собою, сватаясь к Надежде Федосеевне,— во-первых, полную о себе известность в этом почтенном семействе; во-вторых, отличное и почтенное свое положение; наконец, состояние, а следовательно, он естественно должен удивляться, смотря на такого соперника, как вы,— человека, может быть, и с большими достоинствами, но до того уже молодого, что вас он никак не может принять за соперника серьезного... а потому и прав, прося вас окончить.

— Что это такое значит: «до того молодого»? Мне уж месяц, как минуло девятнадцать лет. По закону я давно могу жениться. Вот вам и все.

— Но какой же отец решится отдать за вас свою дочь теперь — будь вы хоть размиллионер в будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества? Человек девятнадцати лет даже и за себя самого — отвечать не может, а вы решаетесь еще брать на совесть чужую будущность, то есть будущность такого же ребенка, как вы! Ведь это не совсем тоже благородно, как вы думаете? Я позволил себе высказать потому, что вы сами давеча обратились ко мне как к посреднику между вами и Павлом Павловичем.

— Ах да, кстати, ведь его зовут Павлом Павловичем! — заметил юноша.— Как же это мне всё мерещилось, что Васильем Петровичем? Вот что-с,— оборотился он к Вельчанинову,— вы меня не удивили нисколько; я знал, что вы все такие! Странно, однако ж, что об вас мне говорили как об человеке даже несколько новом. Впрочем, это всё пустяки, а дело в том, что тут не только нет ничего неблагородного с моей стороны, как вы позволили себе выразиться, но даже совершенно напротив, что и надеюсь вам растолковать: мы, во-первых, дали друг другу слово, и, кроме того, я прямо ей обещался, при двух свидетелях, в том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развестись, то я тотчас же выдаю ей акт в моем прелюбодеянии,— и тем поддержу, стало быть, где следует, ее просьбу о разводе. Мало того: в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот акт, то, для ее обеспечения, в самый день нашей свадьбы, я выдам ей вексель в сто тысяч рублей на себя, так что в случае моего упорства насчет выдачи акта она сейчас же может передать мой вексель — и меня под сюркуп! Таким образом всё обеспечено, и ничьей будущностью я не рискую. Ну-с, это, во-первых.

— Бьюсь об заклад, что это тот — как его — Предпосылов вам выдумал?— вскричал Вельчанинов.

— Хи-хи-хи! — ядовито захихикал Павел Павлович.

— Чего этот господин хихикает? Вы угадали,— это мысль Предпосылова; и согласитесь, что хитро. Нелепый закон совершенно парализирован. Разумеется, я намерен любить ее всегда, а она ужасно хохочет,— но ведь все-таки ловко, и согласитесь, что уж благородно, что этак не всякий решится сделать?

— По-моему, не только не благородно, но даже гадко.

Молодой человек вскинул плечами.

— Опять-таки вы меня не удивляете,— заметил он после некоторого молчания,— всё это слишком давно перестало меня удивлять. Предпосылов, так тот прямо бы вам отрезал, что подобное ваше непонимание вещей самых естественных происходит от извращения самых обыкновенных чувств и понятий ваших — во-первых, долгою нелепою жизнию, а во-вторых, долгою праздностью. Впрочем, мы, может быть, еще не понимаем друг друга; мне все-таки об вас говорили хорошо... Лет пятьдесят вам, однако, уже есть?

— Перейдите, пожалуйста, к делу.

— Извините за нескромность и не досадуйте; я без намерения. Продолжаю: я вовсе не будущий размиллионер, как вы изволили выразиться (и что у вас за идея была!). Я весь тут, как видите, но зато в будущности моей я совершенно уверен. Героем и благодетелем ничьим не буду, а себя и жену обеспечу. Конечно, у меня теперь ничего нет, я даже воспитывался в их доме, с самого детства...

— Как так?

— А так, что я сын одного отдаленного родственника жены этого Захлебинина, и когда все мои померли и оставили меня восьми лет, то старик меня взял к себе и потом отдал в гимназию. Этот человек даже добрый, если хотите знать...

— Я это знаю-с...

— Да; но слишком уж древняя голова. Впрочем, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышел из-под его опеки, желая сам заработывать жизнь и быть одному себе обязанным.

— А когда вы вышли?— полюбопытствовал Вельчанинов.

— Да уж месяца с четыре будет.

— А, ну так это всё теперь и понятно: друзья с детства! Что же, вы место имеете?

— Да, частное, в конторе одного нотариуса, на двадцати пяти в месяц. Конечно, только покамест, но когда я делал там предложение, то и того не имел. Я тогда служил на железной дороге, на десяти рублях, но всё это только покамест.

— А разве вы делали и предложение?

— Формальное предложение, и давно уже, недели с три.

— Ну и что ж?

— Старик очень рассмеялся, а потом очень рассердился, а ее так заперли наверху в антресолях. Но Надя геройски выдержала. Впрочем, вся неудача была оттого, что он еще прежде на меня зуб точил за то, что я в департаменте место бросил, куда он меня определил четыре месяца назад, еще до железной дороги. Он старик славный, я опять повторю, дома простой и веселый, но чуть в департаменте, вы и представить не можете! Это Юпитер какой-то сидит! Я, естественно, дал ему знать, что его манеры мне перестают нравиться, но тут главное всё вышло из-за помощника столоначальника: этот господин вздумал нажаловаться, что я будто бы ему «нагрубил», а я ему всего только и сказал, что он неразвит. Я бросил их всех и теперь у нотариуса.

— А в департаменте много получали?

— Э, сверхштатным! Старик же и давал на содержание,— я говорю вам, он добрый; но мы все-таки не уступим. Конечно, двадцать пять рублей не обеспечение, но я вскорости надеюсь принять участие в управлении расстроенными имениями графа

Завилейского, тогда прямо на три тысячи; не то в присяжные поверенные. Нынче людей ищут... Ба! какой гром, гроза будет, хорошо, что я до грозы успел; я ведь пешком оттуда, почти всё бежал.

— Но позвольте, когда же вы успели, коли так, переговорить с Надеждой Федосеевной,— если к тому же вас и не принимают?

— Ах, да ведь через забор можно! рыженькую-то заметили давеча?— засмеялся он.— Ну вот и она тут хлопочет и Марья Никитишна; только змея эта Марья Никитишна!.. чего морщитесь? Не боитесь ли грому?

— Нет, я нездоров, очень нездоров...— Вельчанинов действительно, мучаясь от своей внезапной боли в груди, привстал с кресла и попробовал походить по комнате.

— Ах, так я вам, разумеется, мешаю,— не беспокойтесь, сейчас! — и юноша вскочил с места.

— Не мешаете, ничего,— поделикатничал Вельчанинов.

— Какое ничего, когда «у Кобыльникова живот болит»,— помните у Щедрина? Вы любите Щедрина?

— Да...

— И я тоже. Ну-с, Василий... ах да, бишь, Павел Павлович, кончимте-с! — почти смеясь, обратился он к Павлу Павловичу.— Формулирую для вашего понимания еще раз вопрос: согласны ли вы завтра же отказаться официально перед стариками и в моем присутствии от всяких претензий ваших насчет Надежды Федосеевны?

— Не согласен нимало-с,— с нетерпеливым и ожесточенным видом поднялся и Павел Павлович,— и к тому же еще раз прошу меня избавить-с... потому что всё это детство и глупости-с.

— Смотрите! — погрозил ему пальцем юноша с высокомерной улыбкой,— не ошибитесь в расчете! Знаете ли, к чему ведет подобная ошибка в расчете? А я так предупреждаю вас, что через девять месяцев, когда вы уже там израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь,— вы здесь сами от Надежды Федосеевны принуждены будете отказаться, а не откажетесь,— так вам же хуже будет; вот до чего вы дело доведете! Я вас должен предуведомить, что вы теперь как собака на сене,— извините, это только сравнение,— ни себе, ни другим. По гуманности повторяю: размыслите, принудьте себя хоть раз в жизни основательно размыслить.

— Прошу вас избавить меня от морали,— яростно вскричал Павел Павлович,— а насчет ваших скверных намеков я завтра же приму свои меры-с, строгие меры-с!

— Скверных намеков? Да вы про что ж это? Сами вы скверный, если это у вас в голове. Впрочем, я согласен подождать

до завтра, но если... Ах, опять этот гром! До свиданья, очень рад знакомству,— кивнул он Вельчанинову и побежал, видимо спеша предупредить грозу и не попасть под дождь.

XV

Сквитались

— Видели-с? видели-с?— подскочил Павел Павлович к Вельчанинову, едва только вышел юноша.

— Да, не везет вам!— невзначай проговорил Вельчанинов. Он бы не сказал этих слов, если б не мучила и не злила его так эта возраставшая боль в груди. Павел Павлович вздрогнул, как от обжога.

— Ну-с, а вы-с — знать меня жалеючи браслета не возвращали — хе?

— Я не успел...

— От сердца жалеючи, как истинный друг истинного друга?

— Ну да, жалел,— озлобился Вельчанинов.

Он, однако же, рассказал ему вкратце о том, как получил давеча браслет обратно и как Надежда Федосеевна почти насильно заставила его принять участие...

— Понимаете, что я ни за что бы не взял; столько и без того неприятностей!

— Увлеклись и взялись! — прохихикал Павел Павлович.

— Глупо это с вашей стороны; впрочем, вас извинить надо. Сами ведь видели сейчас, что не я в деле главный, а другие!

— Всё-таки увлеклись-с.

Павел Павлович сел и налил свой стакан.

— Вы полагаете, что я мальчишке-то уступлю-с? В бараний рог согну, вот что-с! Завтра же поеду и всё согну. Мы душок этот выкурим, из детской-то-с...

Он выпил почти залпом стакан и налил еще; вообще стал действовать с необычной до сих пор развязностью.

— Ишь, Наденька с Сашенькой, милые деточки,— хи-хи-хи!

Он не помнил себя от злобы. Раздался опять сильнейший удар грома; ослепительно сверкнула молния, и дождь пролился как из ведра. Павел Павлович встал и запер отворенное окно.

— Давеча он вас спрашивает: «Не боитесь ли грому»— хи-хи! Вельчанинов грому боится! У Кобыльникова — как это — у Кобыльникова... А про пятьдесят-то лет — а? Помните-с?— ехидничал Павел Павлович.

— Вы, однако же, здесь расположились,— заметил Вельчанинов, едва выговаривая от боли слова,— я лягу... вы как хотите.

— Да и собаку в такую погоду не выгонят! — обидчиво подхватил Павел Павлович, впрочем почти радуясь, что имеет право обидеться.

— Ну да, сидите, пейте... хоть ночуйте! — промямлил Вельчанинов, протянулся на диване и слегка застонал.

— Ночевать-с? А вы — не побоитесь-с?

— Чего?— приподнял вдруг голову Вельчанинов.

— Ничего-с, так-с. В прошлый раз вы как бы испугались-с, али мне только померещилось...

— Вы глупы! — не выдержал Вельчанинов и злобно повернулся к стене.

— Ничего-с,— отозвался Павел Павлович.

Больной как-то вдруг заснул, через минуту как лег. Всё неестественное напряжение его в этот день, и без того уже при сильном расстройстве здоровья за последнее время, как-то вдруг порвалось, и он обессилел, как ребенок. Но боль взяла-таки свое и победила усталость и сон; через час он проснулся и с страданием приподнялся с дивана. Гроза утихла; в комнате было накурено, бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на другом диване. Он лежал навзничь, головой на диванной подушке, совсем не раздетый и в сапогах. Его давешний лорнет, выскользнув из кармана, тянулся на снурке чуть не до полу. Шляпа валялась подле, на полу же. Вельчанинов угрюмо поглядел на него и не стал будить. Скрючившись и шагая по комнате, потому что лежать сил уже не было, он стонал и раздумывал о своей боли.

Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но посещали его очень редко,— через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скоплялось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавление. Непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда десяти часов сряду, боль доходила наконец до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала мерещиться смерть. В последний бывший с ним назад тому с год припадок, после десятичасовой и наконец унявшейся боли, он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двигать рукой, и доктор позволил ему в целый день всего только несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размоченного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль от разных случайностей, но всегда при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходила; иногда случалось захватывать ее в самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и всё проходило разом; иногда же, как в последний припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов рвотного. Доктор признался потом, что был уверен в отраве. Теперь до утра

еще было далеко, за доктором ему не хотелось посылать ночью; да и не любил он докторов. Наконец он не выдержал и стал громко стонать. Стоны разбудили Павла Павловича: он приподнялся на диване и некоторое время сидел, прислушиваясь со страхом и в недоумении следя глазами за Вельчаниновым, чуть не бегавшим по обеим комнатам. Выпитая бутылка, видно тоже не по-всегдашнему, сильно на него подействовала, и долго он не мог сообразиться; наконец понял и бросился к Вельчанинову; тот что-то промямлил ему в ответ.

— Это у вас от печени-с, я это знаю! — оживился вдруг ужасно Павел Павлович,— это у Петра Кузьмича у Полосухина-с точно так же бывало, от печени-с. Это припарками бы-с. Петр Кузьмич всегда припарками... Умереть ведь можно-с! Сбегаю-ка я к Мавре,— а?

— Не надо, не надо,— раздражительно отмахивался Вельчанинов,— ничего не надо.

Но Павел Павлович, бог знает почему, был почти вне себя, как будто дело шло о спасении родного сына. Он не слушался и изо всех сил настаивал на необходимости припарок и, сверх того, двух-трех чашек слабого чаю, выпитых вдруг,—«но не просто горячих-с, а кипятку-с!» — Он побежал-таки к Мавре, не дождавшись позволения, вместе с нею разложил в кухне, всегда стоявшей пустою, огонь, вздул самовар; тем временем успел и уложить больного, снял с него верхнее платье, укутал в одеяло и всего в каких-нибудь двадцать минут состряпал и чай и первую припарку.

— Это гретые тарелки-с, раскаленные-с! — говорил он чуть не в восторге, накладывая разгоряченную и обернутую в салфетку тарелку на больную грудь Вельчанинова.— Других припарок нет-с, и доставать долго-с, а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше будут-с; испытано на Петре Кузьмиче-с, собственными глазами и руками-с. Умереть ведь можно-с. Пейте чай, глотайте,— нужды нет, что обожжетесь; жизнь дороже... щегольства-с...

Он затормошил совсем полусонную Мавру; тарелки переменялись каждые три-четыре минуты. После третьей тарелки и второй чашки чаю-кипятка, выпитого залпом, Вельчанинов вдруг почувствовал облегчение.

— А уж если раз пошатнули боль, то и слава богу-с, и добрый знак-с! — вскричал Павел Павлович и радостно побежал за новой тарелкой и за новым чаем.

— Только бы боль-то сломить! Боль-то бы нам только назад повернуть! — повторял он поминутно.

Через полчаса боль совсем ослабела, но больной был уже до того измучен, что, как ни умолял Павел Павлович,— не согласился выдержать «еще тарелочку-с». Глаза его смыкались от слабости.

— Спать, спать,— повторил он слабым голосом.

— И то! — согласился Павел Павлович.

— Вы ночуйте... который час?

— Скоро два, без четверти-с.

— Ночуйте.

— Ночую, ночую.

Через минуту больной опять кликнул Павла Павловича.

— Вы, вы,— пробормотал он, когда тот подбежал и наклонился над ним,— вы — лучше меня! Я понимаю всё, всё... благодарю.

— Спите, спите,— прошептал Павел Павлович и поскорей, на цыпочках, отправился к своему дивану.

Больной, засыпая, слышал еще, как Павел Павлович потихоньку стлал себе наскоро постель, снимал с себя платье и наконец, загасив свечи и чуть дыша, чтоб не зашуметь, протянулся на своем диване.

Без сомнения, Вельчанинов спал и заснул очень скоро после того, как потушили свечи; он ясно припомнил это потом. Но во всё время своего сна, до самой той минуты, когда он проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконец, приснилось ему, что с ним будто бы начинается бред наяву и что он никак не может разогнать толпящихся около него видений, несмотря на полное сознание, что это один только бред, а не действительность. Видения все были знакомые; комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь в сени стояла отпертою; люди входили толпами и теснились на лестнице. За столом, выставленным на средину комнаты, сидел один человек — точь-в-точь как тогда, в приснившемся ему с месяц назад таком же сне. Как и тогда, этот человек сидел, облокотясь на стол, и не хотел говорить; но теперь он был в круглой шляпе с крепом. «Как? неужели это был и тогда Павел Павлович?»— подумал Вельчанинов,— но, заглянув в лицо молчавшего человека, он убедился, что этот кто-то совсем другой. «Зачем же у него креп?»— недоумевал Вельчанинов. Шум, говор и крик людей, теснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнее были озлоблены на Вельчанинова, чем тогда в том сне; они грозили ему руками и об чем-то изо всех сил кричали ему, но об чем именно — он никак не мог разобрать. «Да ведь это бред, ведь я знаю! — думалось ему,— я знаю, что я не мог заснуть и встал теперь, потому что не мог лежать от тоски!..» Но, однако же, крики, и люди, и жесты их, и все — было так явственно, так действительно, что иногда его брало сомнение: «Неужели же это и в самом деле бред? Чего хотят от меня

эти люди, боже мой! Но если б это был не бред, то возможно ли, чтоб такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? ведь вот он спит же вот тут на диване?» Наконец, вдруг что-то случилось, опять как и тогда, в том сне; все устремились на лестницу и ужасно стеснились в дверях, потому что с лестницы валила в комнату новая толпа. Эти люди что-то с собой несли, что-то большое и тяжелое; слышно было, как тяжело отдавались шаги носильщиков по ступенькам лестницы и торопливо перекликались их запыхавшиеся голоса. В комнате все закричали: «Несут, несут!», все глаза засверкали и устремились на Вельчанинова; все, грозя и торжествуя, указывали ему на лестницу. Уже нисколько не сомневаясь более в том, что всё это не бред, а правда, он стал на цыпочки, чтоб разглядеть поскорее, через головы людей,— что они такое несут? Сердце его билось — билось — билось, и вдруг — точь-в-точь, как тогда, в том сне,— раздались три сильнейшие удара в колокольчик. И опять-таки это был до того ясный, до того действительный до осязания звон, что, уж конечно, такой звон не мог присниться только во сне!.. Он закричал и проснулся.

Но он не бросился, как тогда, бежать к дверям. Какая мысль направила его первое движение и была ли у него в то мгновение хоть какая-нибудь мысль,— но как будто кто-то подсказал ему, что надо делать: он схватился с постели, бросился с простертыми вперед руками, как бы обороняясь и останавливая нападение, прямо в ту сторону, где спал Павел Павлович. Руки его разом столкнулись с другими, уже распростертыми над ним руками, и он крепко схватил их; кто-то, стало быть, уже стоял над ним, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что из другой комнаты, в которой не было таких гардин, уже проходил слабый свет. Вдруг что-то ужасно больно обрезало ему ладонь и пальцы левой руки, и он мгновенно понял, что схватился за лезвие ножа или бритвы, и крепко сжал его рукой... В тот же миг что-то веско и однозвучно шлепнулось на пол.

Вельчанинов был, может быть, втрое сильнее Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полных. Он скоро пригнул его к полу и вывернул ему назад руки, но для чего-то ему непременно захотелось связать эти вывернутые назад руки. Он стал искать ощупью, правой рукой,— придерживая раненой левой убийцу,— шнура с оконной занавески и долго не мог найти, но наконец захватил и сорвал с окна. Сам он удивлялся потом неестественной силе, которая для того потребовалась. Во все эти три минуты ни тот, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было их тяжелое дыхание и глухие звуки борьбы. Наконец, скрутив и связав Павлу Павловичу руки назад, Вельчанинов бросил его на полу, встал, отдернул с окна занавеску и приподнял стору. На уединенной улице было уже светло. Отворив окно, он простоял несколько мгновений, глубоко вдыхая воздух.

Был уже пятый час в начале. Затворив окно, он неторопливо пошел к шкафу, достал чистое полотенце и туго-натуго обвил им свою левую руку, чтоб унять текущую из нее кровь. Под ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на ковре; он поднял ее, свернул, уложил в бритвенный ящик, забытый с утра на маленьком столике, подле самого дивана, на котором спал Павел Павлович, и запер ящик в бюро на ключ. И уже исполнив всё это, он подошел к Павлу Павловичу и стал его рассматривать.

Тем временем тот успел уже привстать с усилием с ковра и усесться в кресло. Он был не одет, в одном белье, даже без сапог. Рубашка его на спине и на рукавах была смочена кровью; но кровь была не его, а из порезанной руки Вельчанинова. Конечно, это был Павел Павлович, но почти можно было не узнать его в первую минуту, если б встретить такого нечаянно,— до того изменилась его физиономия. Он сидел, неловко выпрямляясь в креслах от связанных назад рук, с исказившимся и измученным, позеленевшим лицом, и изредка вздрагивал. Пристально, но каким-то темным, как бы еще не различающим всего взглядом посмотрел он на Вельчанинова. Вдруг он тупо улыбнулся и, кивнув на графин с водой, стоявший на столе, проговорил коротким полушепотом:

— Водицы бы-с.

Вельчанинов налил ему и стал его поить из своих рук. Павел Павлович накинулся с жадностию на воду; глотнув раза три, он приподнял голову, очень пристально посмотрел в лицо стоявшему перед ним со стаканом в руке Вельчанинову, но не сказал ничего и принялся допивать. Напившись, он глубоко вздохнул. Вельчанинов взял свою подушку, захватил свое верхнее платье и отправился в другую комнату, заперев Павла Павловича в первой комнате на замок.

Давешняя его боль прошла совсем, но слабость он вновь ощутил чрезвычайную после теперешнего, мгновенного напряжения бог знает откуда пришедшей к нему силы. Он попытался было сообразить происшествие, но мысли его еще плохо вязались; толчок был слишком силен. Глаза его то смыкались, иногда даже минут на десять, то вдруг он вздрагивал, просыпался, вспоминал всё, приподнимал свою болевшую и обернутую в мокрое от крови полотенце руку и принимался жадно и лихорадочно думать.

Он решил ясно только одно: что Павел Павлович действительно хотел его зарезать, но что, может быть, еще за четверть часа сам не знал, что зарежет. Бритвенный ящик, мо-

жет, только с вечера скользнул мимо его глаз, не возбудив никакой при этом мысли, и остался лишь у него в памяти. (Бритвы же и всегда лежали в бюро, на замке, и только в вчерашнее утро Вельчанинов их вынул, чтоб подбрить лишние волосы около усов и бакенбард, что иногда делывал.)

«Если б он давно уже намеревался меня убить, то наверно бы приготовил заранее нож или пистолет, а не рассчитывал бы на мои бритвы, которых никогда и не видал, до вчерашнего вечера»,— придумалось ему между прочим.

Пробило наконец шесть часов утра. Вельчанинов очнулся, оделся и пошел к Павлу Павловичу. Отпирая двери, он не мог понять: для чего он запирал Павла Павловича и зачем не выпустил его тогда же из дому? К удивлению его, арестант был уже совсем одет; вероятно, нашел как-нибудь случай распутаться. Он сидел в креслах, но тотчас же встал, как вошел Вельчанинов. Шляпа была уже у него в руках. Тревожный взгляд его, как бы спеша, проговорил:

«Не начинай говорить; нечего начинать; не за чем говорить...»

— Ступайте!— сказал Вельчанинов.— Возьмите ваш футляр,— прибавил он ему вслед.

Павел Павлович воротился уже от дверей, захватил со стола футляр с браслетом, сунул его в карман и вышел на лестницу. Вельчанинов стоял в дверях, чтоб запереть за ним. Взгляды их в последний раз встретились; Павел Павлович вдруг приостановился, оба секунд с пять поглядели друг другу в глаза — точно колебались; наконец, Вельчанинов слабо махнул на него рукой.

— Ну ступайте!— сказал он вполголоса и запер дверь на замок.

XVI

Анализ

Чувство необычайной, огромной радости овладело им; что-то кончилось, развязалось; какая-то ужасная тоска отошла и рассеялась совсем. Так ему казалось. Пять недель продолжалась она. Он поднимал руку, смотрел на смоченное кровью полотенце и бормотал про себя: «Нет, уж теперь совершенно всё кончилось!» И во всё это утро, в первый раз в эти три недели, он почти и не подумал о Лизе,— как будто эта кровь из порезанных пальцев могла «поквитать» его даже и с этой тоской.

Он сознал ясно, что миновал страшную опасность. «Эти люди,— думалось ему,— вот эти-то самые люди, которые еще за

минуту не знают, зарежут они или нет,— уж как возьмут раз нож в свои дрожащие руки и как почувствуют первый брызг горячей крови на своих пальцах, то мало того что зарежут,— голову совсем отрежут „напрочь“, как выражаются каторжные. Это так».

Он не мог оставаться дома и вышел на улицу в убеждении, что необходимо сейчас что-то сделать или что непременно сейчас что-то с ним само собой сделается; он ходил по улицам и ждал. Ужасно захотелось ему с кем-нибудь встретиться, с кем-нибудь заговорить, хоть с незнакомым, и только это навело его наконец на мысль о докторе и о том, что руку надо бы перевязать как следует. Доктор, прежний его знакомый, осмотрев рану, с любопытством спросил: «Как это могло случиться?» Вельчанинов отшучивался, хохотал и чуть-чуть не рассказал всего, но удержался.

Доктор принужден был пощупать ему пульс и, узнав о вчерашнем припадке ночью, уговорил его принять теперь же какого-то бывшего под рукой успокоительного лекарства. Насчет пореза он тоже его успокоил: «Особенно дурных последствий быть не может».

Вельчанинов захохотал и стал уверять его, что уже оказались превосходные последствия. Неудержимое желание рассказать *всё* повторилось с ним в этот день еще раза два,— однажды даже с совсем незнакомым человеком, с которым сам он первый завел разговор в кондитерской. Он терпеть не мог до сих пор заводить разговоры с людьми незнакомыми в публичных местах.

Он заходил в магазины, купил газету, зашел к своему портному и заказал себе платье. Мысль посетить Погорельцевых продолжала быть ему неприятною, и он не думал о них, да и не мог он ехать на дачу: он как бы всё чего-то ожидал здесь в городе. Обедал он с наслаждением, заговорил с слугой и с обедавшим соседом и выпил полбутылки вина. О возможности возвращения вчерашнего припадка он и не думал; он был убежден, что болезнь прошла совершенно в ту самую минуту, когда он, заснув вчера в таком бессилии, через полтора часа вскочил с постели и с такою силою бросил своего убийцу об пол. К вечеру, однако же, голова его стала кружиться и как будто что-то похожее на вчерашний бред во сне стало овладевать им мгновениями. Он воротился домой уже в сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя в нее. Страшно и жутко показалось ему в его квартире. Несколько раз прошелся он по ней и даже зашел в свою кухню, куда никогда почти не заходил. «Здесь они вчера грели тарелки»,— подумалось ему. Двери он накрепко запер и раньше обыкновенного зажег свечи. Запирая двери, он вспомнил, что полчаса то-

му, проходя мимо дворницкой, он вызвал Мавру и спросил ее: «Не заходил ли без него Павел Павлович?» — точно и в самом деле тот мог зайти.

Запершись тщательно, он отпер бюро, вынул ящик с бритвами и развернул «вчерашнюю» бритву, чтоб посмотреть на нее. На белом костяном черенке остались чутошные следы крови. Он положил бритву опять в ящик и запер его в бюро. Ему хотелось спать; он чувствовал, что необходимо сейчас же лечь, — иначе он назавтра никуда не будет годиться. Завтрашний день представлялся ему почему-то как роковой и «окончательный» день. Но всё те же мысли, которые его и на улице, весь день, ни на мгновение не покидали, толпились и стучали в его больной голове и теперь, неустанно и неотразимо, и он всё думал — думал — думал, и долго еще ему не пришлось заснуть...

«Если уж решено, что он встал меня резать *нечаянно*, — всё думал и думал он, — то вспадала ли ему эта мысль на ум хоть раз прежде, хотя бы только в виде мечты в злобную минуту?»

Он решил вопрос странно, — тем, что Павел Павлович хотел его убить, но что мысль об убийстве ни разу не вспадала будущему убийце на ум. Короче: «Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить. Это бессмысленно, но это так, — думал Вельчанинов. — Не места искать и не для Багаутова он приехал сюда — хотя и искал здесь места, и забегал к Багаутову, и взбесился, когда тот помер; Багаутова он презирал как щепку. Он для меня сюда поехал, и приехал с Лизой...»

«А ожидал ли я сам, что он... зарежет меня?» Он решил, что да, ожидал, именно с той самой минуты, как увидел его в карете, за гробом Багаутова, «я чего-то как бы стал ожидать... но, разумеется, не этого, разумеется, не того, что зарежет!..»

«И неужели, неужели правда была всё то, — восклицал он опять, вдруг подымая голову с подушки и раскрывая глаза, — всё то, что этот... сумасшедший натолковал мне вчера о своей ко мне любви, когда задрожал у него подбородок и он стукал в грудь кулаком?»

Совершенная правда! — решал он, неустанно углубляясь и анализируя. — Этот Квазимодо из Т. слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтоб влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет *ничего* не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои „изречения“ запомнил, — господи, а я-то не ведал ни о чем! Не мог он лгать вчера! Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: „поквитаемтесь“? Да, *со злобы* любил, эта любовь самая сильная...

А ведь могло быть, а ведь было наверно так, что я произвел на него колоссальное впечатление в Т., именно колоссальное

и „отрадное“, и именно с таким Шиллером в образе Квазимодо и могло это произойти! Он преувеличил меня во сто раз, потому что я слишком уж поразил его в его философском уединении... Любопытно бы знать, чем именно поразил? Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимоды любят эстетику, ух любят! Перчаток слишком достаточно для иной благороднейшей души, да еще из «вечных мужей». Остальное они сами дополнят раз в тысячу и подерутся даже за вас, если вы того захотите.

Средства-то обольщения мои как высоко он ставит! Может быть, именно средства обольщения и поразили его всего более. А крик-то его тогда: «Если уж и этот, так в кого же после этого верить!» После этакого крика зверем сделаешься!..

Гм! Он приехал сюда, чтоб «обняться со мной и заплакать», как он сам подлейшим образом выразился, то есть он ехал, чтоб зарезать меня, а думал, что едет «обняться и заплакать»... Он и Лизу привез. А что: если б я с ним заплакал, он, может, и в самом бы деле простил меня, потому что ужасно ему хотелось простить!.. Всё это обратилось при первом столкновении в пьяное ломание и в карикатуру и в гадкое бабье вытье об обиде. (Рога-то, рога-то над лбом себе сделал!) Для того и пьяный приходил, чтоб хоть ломаясь, да высказать; непьяный он бы не смог... А любил-таки поломаться, ух любил! Ух как был рад, когда заставил поцеловаться с собой! Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет? Вышло, конечно, что всего лучше и то и другое, вместе. Самое естественное решение! Да-с, природа не любит уродов и добивает их «естественными решеньями». Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами: я это по собственному опыту знаю, Павел Павлович! Природа для урода не нежная мать, а мачеха. Природа родит урода, да вместо того чтоб пожалеть его, его ж и казнит, — да и дельно. Объятия и слезы всепрощения даже и порядочным людям в наш век даром с рук не сходят, а не то что уж таким, как мы с вами, Павел Павлович!

Да, он был достаточно глуп, чтоб повезти меня и к невесте, — господи! Невеста! Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о «воскресении в новую жизнь» — посредством невинности мадемуазель Захлебининой! Но вы не виноваты, Павел Павлович, не виноваты: вы урод, а потому и всё у вас должно быть уродливо — и мечты и надежды ваши. Но хоть и урод, а усумнился же в мечте, почему и потребовалась высокая санкция Вельчанинова, с благоговением уважаемого. Надо было одобрение Вельчанинова, подтверждение от него, что мечта не мечта, а настоящая вещь.

Он меня из благоговейного уважения ко мне повез и в бла-

городство чувств моих веруя,— веруя, может быть, что мы там под кустом обнимемся и заплачем, неподалеку от невинности. Да! должен же был, обязан же был, наконец, этот «вечный муж» хоть когда-нибудь да наказать себя за всё окончательно, и чтоб наказать себя, он и схватился за бритву,— правда, нечаянно, но все-таки схватился! «Все-таки пырнул же ножом, все-таки ведь кончил же тем, что пырнул, в присутствии губернатора!» А кстати, была ли у него хоть какая-нибудь мысль в этом роде, когда он мне рассказывал свой анекдот про шафера? А было ли в самом деле что-нибудь тогда ночью, когда он вставал с постели и стоял среди комнаты? Гм. Нет, он *в шутку* тогда стоял. Он встал за своим делом, а как увидел, что я его струсил, он и не отвечал мне десять минут, потому что очень уж приятно было ему, что я струсил его... Тут-то, может быть, ему и в самом деле что-нибудь в первый раз померещилось, когда он стоял тогда в темноте...

А все-таки не забудь я вчера на столе эти бритвы — ничего бы, пожалуй, и не было. Так ли? Так ли? Ведь избегал же он меня прежде, ведь не ходил же он ко мне по две недели; ведь прятался же он от меня, меня *жалеючи*! Ведь выбрал же вначале Багаутова, а не меня! Ведь вскочил же ночью тарелки греть, думая сделать диверсию — от ножа к умилению!.. И себя и меня спасти хотел — гретыми тарелками!..»

И долго еще работала в этом роде больная голова этого бывшего «светского человека», пересыпая из пустого в порожнее, пока он успокоился. Он проснулся на другой день с тою же больною головою, но с совершенно *новым* и уже совершенно неожиданным ужасом.

Этот новый ужас происходил от непременного убеждения, в нем неожиданно укрепившегося, в том, что он, Вельчанинов (и светский человек), сегодня же сам, своей волей, кончит всё тем, что пойдет к Павлу Павловичу,— зачем? для чего?— ничего он этого не знал и с отвращением знать не хотел, а знал только то, что зачем-то потащится.

Сумасшествие это — иначе он и назвать не мог — развилось, однако же, до того, что получило, насколько можно, разумный вид и довольно законный предлог: ему еще как бы грезилось, что Павел Павлович воротится в свой номер, запрется накрепко и — повесится, как тот казначей, про которого рассказывала Марья Сысоевна.

Эта вчерашняя мечта перешла в нем мало-помалу в бессмысленное, но неотразимое убеждение. «Зачем этому дураку вешаться?» — перебивал он себя поминутно. Ему вспоминались давнишние слова Лизы... «А впрочем, я на его месте, может, и повесился бы...» — придумалось ему один раз.

Кончилось тем, что он, вместо того чтоб идти обедать, направился-таки к Павлу Павловичу. «Я только у Марьи Сысоевны спрошу»,— решил он. Но, еще не успев выйти на улицу, он вдруг остановился под воротами.

— Неужели ж, неужели ж,— вскрикнул он, побагровев от стыда,— неужели ж я плетусь туда, чтоб «обняться и заплакать»? Неужели только этой бессмысленной мерзости недоставало ко всему сраму?

Но от «бессмысленной мерзости» спасло его провидение всех порядочных и приличных людей. Только что он вышел на улицу, с ним вдруг столкнулся Александр Лобов. Юноша был впопыхах и в волнении.

— А я к вам! Приятель-то ваш, Павел Павлович, каково?

— Повесился?— дико пробормотал Вельчанинов.

— Кто повесился? Зачем?— вытаращил глаза Лобов.

— Ничего... я так; продолжайте!

— Фу, черт, какой, однако же, у вас смешной оборот мыслей! Совсем-таки не повесился (почему повесился?). Напротив — уехал. Я только что сейчас его в вагон посадил и отправил. Фу, как он пьет, я вам скажу! Мы три бутылки выпили, Предпосылов тоже,— но как он пьет, как он пьет! Песни пел в вагоне, об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел. А подлец он, как вы думаете,— а?

Молодой человек был действительно хмелен; раскрасневшееся лицо, блиставшие глаза и плохо слушавшийся язык сильно об этом свидетельствовали.

Вельчанинов захохотал во все горло:

— Так они кончили-таки, наконец, брудершафтом!— ха-ха! Обнялись и заплакали! Ах вы, Шиллеры-поэты!

— Не ругайтесь, пожалуйста. Знаете, он *там* совсем отказался. Вчера там был и сегодня был. Нафискалил ужасно. Надю заперли,— сидит в антресолях. Крик, слезы, но мы не уступим! Но как он пьет, я вам скажу, как он пьет! И знаете, какой он моветон, то есть не моветон, а как это?.. И всё про вас вспоминал, но какое сравнение с вами! Вы все-таки порядочный человек и в самом деле принадлежали когда-то к высшему обществу и только теперь принуждены уклониться,— по бедности, что ли... Черт знает, я его плохо разобрал.

— А, так это он вам в таких выражениях про меня рассказывал?

— Он, он, не сердитесь. Быть гражданином — лучше высшего общества. Я к тому, что в наш век в России не знаешь, кого уважать. Согласитесь, что это сильная болезнь века, когда не знаешь, кого уважать,— не правда ли?

— Правда, правда, что ж он?

— Он? Кто? Ах, да! Почему он всё говорил «пятидесятилетний, *но* промотавшийся Вельчанинов»? почему «*но* промотавшийся», а не́ «*и* промотавшийся»! Смеется, тысячу раз повторил. В вагон сел, песню запел и заплакал — просто отвратительно; так даже жалко,— спьяну. Ах, не люблю дураков! Нищим пустился деньги раскидывать, за упокой души Лизаветы — жена, что ль, его?

— Дочь.

— Что это у вас рука?

— Порезал.

— Ничего, пройдет. Знаете, черт с ним, хорошо, что уехал, но бьюсь об заклад, что он там, куда приедет, тотчас же опять женится,— не правда ли?

— Да ведь и вы хотите жениться?

— Я? Я другое дело,— какой вы, право! Если вы пятидесятилетний, так уж он, наверно, шестидесятилетний; тут нужна логика, батюшка! И знаете, прежде, давно уже, я был чистый славянофил по убеждениям, но теперь мы ждем зари с запада... Ну, до свидания; хорошо, что столкнулся с вами не заходя; не зайду, не просите, некогда!..

И он бросился было бежать.

— Ах, да что ж я,— воротился он вдруг,— ведь он меня с письмом к вам прислал! Вот письмо. Зачем вы не пришли провожать?

Вельчанинов воротился домой и распечатал адресованный на его имя конверт.

В конверте ни одной строчки не было от Павла Павловича, но находилось какое-то другое письмо. Вельчанинов узнал эту руку.

Письмо было старое, на пожелтевшей от времени бумаге, с выцветшими чернилами, писанное лет десять назад к нему в Петербург, два месяца спустя после того, как он выехал тогда из Т. Но письмо это не пошло к нему; вместо него он получил тогда другое; это ясно было по смыслу пожелтевшего письма.

В этом письме Наталья Васильевна, прощаясь с ним навеки — точно так же как и в полученном тогда письме — признаваясь ему, что любит другого, не скрывала, однако же, о своей беременности. Напротив, в утешение ему сулила, что она найдет случай передать ему будущего ребенка, уверяла, что отныне у них другие обязанности, что дружба их теперь навеки закреплена,— одним словом, логики было мало, но цель была всё та же: чтоб он избавил ее от любви своей. Она даже позволяла ему заехать в Т. через год — взглянуть на дитя. Бог знает почему она раздумала и выслала другое письмо вместо этого.

Вельчанинов, читая, был бледен, но представил себе и Павла Павловича, нашедшего это письмо и читавшего его в первый раз перед раскрытым фамильным ящичком черного дерева с перламутровой инкрустацией.

«Должно быть, тоже побледнел, как мертвец,— подумал он, заметив свое лицо нечаянно в зеркале,— должно быть, читал, и закрывал глаза, и вдруг опять открывал в надежде, что письмо обратится в простую белую бумагу... Наверно, раза три повторил опыт!..»

XVII

Вечный муж

Прошло почти ровно два года после описанного нами приключения. Мы встречаем господина Вельчанинова в один прекрасный день в вагоне одной из вновь открывшихся наших железных дорог. Он ехал в Одессу, чтоб повидаться, для развлечения, с одним приятелем, а вместе с тем и по другому, тоже довольно приятному обстоятельству; через этого приятеля он надеялся уладить себе встречу с одною из чрезвычайно интересных женщин, с которою ему давно уже желалось познакомиться.

Не вдаваясь в подробности, ограничимся лишь замечанием, что он сильно переродился, или, лучше сказать, исправился, в эти последние два года. От прежней ипохондрии почти и следов не осталось. От разных «вспоминаний» и тревог — последствий болезни,— начавших было осаждать его два года назад в Петербурге, во время неудававшегося процесса,— уцелел в нем лишь некоторый потаенный стыд от сознания бывшего малодушия. Его вознаграждала отчасти уверенность, что этого уже больше не будет и что об этом никто и никогда не узнает. Правда, он тогда бросил общество, стал даже плохо одеваться, куда-то от всех спрятался,— и это, конечно, было *всеми* замечено. Но он так скоро явился с повинною, а вместе с тем и с таким вновь возрожденным и самоуверенным видом, что «все» тотчас же ему простили его минутное отпадение; даже те из них, с которыми он перестал было кланяться, первые же и узнали его и протянули ему руку, и притом без всяких докучных вопросов,— как будто он всё время был где-то далеко в отлучке по своим домашним делам, до которых никому из них нет дела, и только что сейчас воротился. Причиною всех этих выгодных

и здравых перемен к лучшему был, разумеется, выигранный процесс.

Вельчанинову досталось всего шестьдесят тысяч рублей,— дело бесспорно невеликое, но для него очень важное: во-первых, он тотчас же почувствовал себя опять на твердой почве,— стало быть, утолился нравственно; он знал теперь уже наверно, что этих последних денег своих не промотает «как дурак», как промотал свои первые два состояния, и что ему хватит на всю жизнь. «Как бы там ни трещало у них общественное здание и что бы они там ни трубили,— думал он иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невероятному, совершающемуся кругом него и по всей России,— во что бы там ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будет хоть этот тонкий и вкусный обед, за который я теперь сажусь, а стало быть, я ко всему приготовлен». Эта нежная до сладострастия мысль мало-помалу овладевала им совершенно и произвела в нем переворот даже физический, не говоря уже о нравственном: он смотрел теперь совсем другим человеком в сравнении с тем «хомяком», которого мы описывали за два года назад и с которым уже начинали случаться такие неприличные истории,— смотрел весело, ясно, важно. Даже злокачественные морщинки, начавшие скопляться около его глаз и на лбу, почти разгладились; даже цвет его лица изменился,— он стал белее, румянее.

В настоящую минуту он сидел на комфортном месте в вагоне первого класса, и в уме его наклевывалась одна милая мысль: на следующей станции предстояло разветвление пути, и шла новая дорога вправо. «Если б бросить, на минутку, прямую дорогу и увлечься вправо, то не более как через две станции можно бы было посетить еще одну знакомую даму, только что возвратившуюся из-за границы и находящуюся теперь в приятном для него, но весьма скучном для нее уездном уединении; а стало быть, являлась возможность употребить время не менее интересно, чем и в Одессе, тем более что и там не уйдет...»

Но он всё еще колебался и не решался окончательно; он «ждал толчка». Между тем станция приближалась; толчок тоже не замедлил.

На этой станции поезд останавливался на сорок минут и предлагался обед пассажирам. У самого входа в залу для пассажиров первого и второго классов столпилось, как водится, множество нетерпеливой и торопившейся публики и,— может быть, тоже как водится,— произошел скандал. Одна дама, вышедшая из вагона второго класса и замечательно хорошенькая, но что-то уж слишком пышно разодетая для путешественницы, почти тащила обеими руками за собою улана, очень молоденького и красивого офицерика, который вырывался у нее

из рук. Молоденький офицерик был сильно хмелен, а дама, по всей вероятности его старшая родственница, не отпускала его от себя, должно быть из опасения, что он прямо так и бросится к буфету с напитками. Между тем с уланом, в тесноте, столкнулся купчик, тоже закутивший, и даже до безобразия. Этот купчик застрял на станции второй уже день, пил и сыпал деньгами, окруженный разным товариществом, и всё не успевал попасть в поезд, чтоб отправиться далее. Вышла ссора, офицер кричал, купчик бранился, дама была в отчаянии и, увлекая улана от ссоры, восклицала ему умоляющим голосом: «Митенька! Митенька!»

Купчику показалось это слишком уже скандальным; правда, и все смеялись, но купчик обиделся уже более за оскорбленную, как показалось ему почему-то, нравственность.

— Вишь, «Митенька!»— произнес он укорительно, передразнив тоненький голосок барыни.— И в публике уже не стыдятся!

И подойдя качаясь к бросившейся на первый стул даме, успевшей усадить рядом с собой и улана, он презрительно осмотрел обоих и протянул нараспев:

— Шлюха ты, шлюха, хвост отшлепала!

Дама взвизгнула и жалостно осматривалась, ожидая избавления.

Ей и стыдно-то было, и боялась-то она, а к довершению всего офицер сорвался со стула и, завопив, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назад на стул. Хохот кругом усиливался, а помочь никто и не думал; но помог Вельчанинов: он вдруг схватил купчика за шиворот и, повернув, оттолкнул его шагов на пять от испуганной женщины. Тем скандал и кончился; купчик был сильно опешен и толчком и внушительной фигурой Вельчанинова; его тотчас же увели товарищи. Осанистая физиономия изящно одетого барина возымела внушительное влияние и на насмешников: смех прекратился.

Дама, краснея и чуть не со слезами, начала изливаться в уверениях о своей благодарности. Улан бормотал: «Балдарю, балдарю!» — и хотел было протянуть Вельчанинову руку, но вместо того вдруг вздумал улечься на стульях и протянулся на них с ногами.

— Митенька!— укоризненно простонала дама, всплеснув руками.

Вельчанинов был доволен и приключением и его обстановкой. Дама интересовала его; это была, как видно, богатенькая провинциалочка, хотя и пышно, но безвкусно одетая и с манерами несколько смешными,— именно соединяла в себе всё, гарантирующее успех столичному фату при известных целях на женщину. Завязался разговор; дама горячо рассказывала и жалова-

лась на своего мужа, который «вдруг из вагона куда-то скрылся, и от этого всё и произошло, потому что он вечно, когда надо тут быть, куда-то и скроется...»

— По надобности...— пробормотал улан.

— Ах, Митенька!— всплеснула опять она руками.

«Ну достанется же мужу!»— подумал Вельчанинов.

— Как его зовут? я пойду и отыщу его,— предложил он.

— Пал Палыч,— отозвался улан.

— Вашего супруга зовут Павлом Павловичем?— с любопытством спросил Вельчанинов, и вдруг знакомая ему лысая голова просунулась между ним и дамой. В одно мгновение представился ему сад у Захлебининых, невинные игры и докучливая лысая голова, беспрерывно просовывавшаяся между ним и Надеждой Федосеевной.

— Вот вы, наконец!— истерически вскричала супруга.

Это был сам Павел Павлович; в удивлении и страхе глядел он на Вельчанинова, оторопев перед ним, как перед привидением. Столбняк его был таков, что некоторое время он, по-видимому, не понимал ничего из того, что толковала ему раздражительной и быстрой скороговоркой оскорбленная супруга. Наконец, он вздрогнул и сообразил разом весь свой ужас: и свою вину, и о Митеньке, и об том, что этот «мсьё»— дама почему-то так назвала Вельчанинова — «был для нас ангелом-хранителем и спасителем, а вы — вы вечно уйдете, когда вам надо тут быть...»

Вельчанинов вдруг захохотал.

— Да ведь мы с ним друзья, друзья с детства!— восклицал он удивленной даме, фамильярно и покровительственно обхватив правой рукой плечи улыбавшегося бледной улыбкой Павла Павловича.— Не говорил он вам об Вельчанинове?

— Нет, никогда не говорил,— оторопела несколько супруга.

— Так представьте же меня, вероломный друг, вашей супруге!

— Это, Липочка, действительно господин Вельчанинов-с, вот-с...— начал было и постыдно оборвался Павел Павлович. Супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него глазами, очевидно за «Липочку».

— И представьте, и не уведомил, что женился, и на свадьбу не позвал, но вы, Олимпиада...

— Семеновна,— подсказал Павел Павлович.

— Семеновна!— отозвался вдруг заснувший было улан.

— Вы уж простите его, Олимпиада Семеновна, для меня, ради встречи друзей...— Он — добрый муж!

И Вельчанинов дружески хлопнул Павла Павловича по плечу.

— Я, душенька, я только на минутку... отстал...— начал было оправдываться Павел Павлович.

— И бросили жену на позор!— тотчас же подхватила Липочка.— Когда надо, вас нет, где не надо — вы тут...

— Где не надо — тут, где не надо... где не надо...— поддакивал улан.

Липочка почти задыхалась от волнения; она и сама знала, что это нехорошо при Вельчанинове, и краснела, но не могла совладать.

— Где не надо, вы слишком уж осторожны, слишком осторожны!— вырвалось у ней.

— Под кроватью... любовников ищет... под кроватью — где не надо... где не надо...— ужасно разгорячился вдруг и Митенька.

Но с Митенькой уже нечего было делать. Всё кончилось, впрочем, приятно; последовало полное знакомство. Павла Павловича услали за кофеем и за бульоном. Олимпиада Семеновна объяснила Вельчанинову, что они едут теперь из О., где служит ее муж, на два месяца в их деревню, что это недалеко, от этой станции всего сорок верст, что у них там прекрасный дом и сад, что к ним приедут гости, что у них есть и соседи, и если б Алексей Иванович был так добр и захотел их посетить «в их уединении», то она бы встретила его «как ангела-хранителя», потому что она не может вспомнить без ужасу, что бы было, если б... и так далее, и так далее,— одним словом, «как ангела-хранителя...»

— И спасителя, и спасителя,— с жаром настаивал улан.

Вельчанинов вежливо поблагодарил и ответил, что он всегда готов, что он совершенно праздный и незанятой человек и что приглашение Олимпиады Семеновны ему слишком лестно. Затем тотчас же завел веселенький разговор, в который удачно вставил два или три комплимента. Липочка покраснела от удовольствия и, только что воротился Павел Павлович, восторженно объявила ему, что Алексей Иванович так добр, что принял ее приглашение прогостить у них в деревне месяц и обещался приехать через неделю. Павел Павлович улыбнулся потерянно и промолчал. Олимпиада Семеновна вскинула на него плечиками и возвела глаза к небу.

Наконец, расстались: еще раз благодарность, опять «ангел-хранитель», опять «Митенька», и Павел Павлович увел наконец усаживать супругу и улана в вагон. Вельчанинов закурил сигару и стал прохаживаться по галерее перед воксалом; он знал, что Павел Павлович сейчас опять прибежит к нему поговорить до звонка. Так и случилось. Павел Павлович немедленно явился перед ним с тревожным вопросом в глазах и во

всей физиономии. Вельчанинов засмеялся: «дружески» взял его за локоть и, притянув к ближайшей скамейке, сел и усадил его с собою рядом. Сам он молчал; ему хотелось, чтоб заговорил Павел Павлович первый.

— Так вы к нам-с?— пролепетал тот, совершенно откровенно приступая к делу.

— Так я и знал! Не переменился нисколько!— расхохотался Вельчанинов.— Ну неужели же вы,— хлопнул он его опять по плечу,— неужели же вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я в самом деле могу к вам приехать в гости, да еще на месяц — ха-ха!

Павел Павлович весь так и встрепенулся.

— Так вы — не приедете-с!— вскричал он, нисколько не скрывая своей радости.

— Не приеду, не приеду!— самодовольно смеялся Вельчанинов. Впрочем, он и сам не понимал, почему ему так уж особенно смешно, но чем дальше, тем ему становилось смешнее.

— Неужели... неужели вы в самом деле говорите-с?— И, сказав это, Павел Павлович даже привскочил с места, в трепетном ожидании.

— Да уж сказал, что не приеду,— ну чудак же вы человек!

— Как же мне... если так-с, как же сказать-то Олимпиаде Семеновне, когда вы через неделю не пожалуете, а она будет ждать-с?

— Экая трудность! Скажите, что я ногу сломал или в этом роде.

— Не поверят-с,— жалостным голоском протянул Павел Павлович.

— И вам достанется?— всё смеялся Вельчанинов.— Но я замечаю, мой бедный друг, что вы-таки трепещете перед вашей прекрасной супругой,— а?

Павел Павлович попробовал улыбнуться, но не вышло. Что Вельчанинов отказывался приехать — это, конечно, было хорошо, но что он фамильярничает насчет супруги — это было уже дурно. Павел Павлович покоробился; Вельчанинов это заметил. Между тем прозвонил уже второй звонок; в отдалении послышался тонкий голосок из вагона, тревожно вызывавший Павла Павловича.

Тот засуетился на месте, но не побежал на призыв, видимо ожидая еще чего-то от Вельчанинова,— конечно, еще раз заверения, что он к ним не приедет.

— Как бывшая фамилия вашей супруги?— осведомился Вельчанинов, как бы не замечая совсем тревоги Павла Павловича.

— У нашего благочинного взял-с,— ответил тот, в смятении посматривая на вагоны и прислушиваясь.

— А, понимаю, за красоту.

Павел Павлович опять покоробился.

— А кто же у вас этот Митенька?

— А это так-с; дальний наш родственник один, то есть мой-с, сын двоюродной моей сестры, покойницы-с, Голубчиков-с, за непорядки разжаловали, а теперь опять произведен; мы его и экипировали... Несчастный молодой человек-с...

«Ну так-так, всё в порядке; полная обстановка!»— подумал Вельчанинов.

— Павел Павлович!— раздался опять отдаленный призыв из вагона и уже с слишком раздражительной ноткой в голосе.

— Пал Палыч!— послышался другой, сиплый, голос.

Павел Павлович опять засуетился и заметался, но Вельчанинов крепко прихватил его за локоть и остановил.

— А хотите, я сейчас пойду и расскажу вашей супруге, как вы меня зарезать хотели,— а?

— Что вы, что вы-с!— испугался ужасно Павел Павлович.— Да боже вас сохрани-с.

— Павел Павлович! Павел Павлович!— послышались опять голоса.

— Ну уж ступайте!— выпустил его наконец Вельчанинов, продолжая благодушно смеяться.

— Так не приедете-с?— чуть не в отчаянии в последний раз шептал Павел Павлович и даже руки сложил перед ним, как в старину, ладошками.

— Да клянусь же вам, не приеду! Бегите, беда ведь будет!

И он размашисто протянул ему руку,— протянул и вздрогнул: Павел Павлович не взял руки, даже отдернул свою.

Раздался третий звонок.

В одно мгновение произошло что-то странное с обоими; оба точно преобразились.

Что-то как бы дрогнуло и вдруг порвалось в Вельчанинове, еще только за минуту так смеявшемся. Он крепко и яростно схватил Павла Павловича за плечо.

— Уж если я, *я* протягиваю вам вот эту руку,— показал он ему ладонь своей левой руки, на которой явственно остался крупный шрам от пореза,— так уж вы-то могли бы взять ее!— прошептал он дрожавшими и побледневшими губами.

Павел Павлович тоже побледнел, и у него тоже губы дрогнули. Какие-то конвульсии вдруг пробежали по лицу его.

— А Лиза-то-с?— пролепетал он быстрым шепотом,— и вдруг запрыгали его губы, щеки и подбородок, и слезы хлынули из глаз.

Вельчанинов стоял перед ним как столб.

— Павел Павлович! Павел Павлович!— вопили из вагона, точно там кого резали,— и вдруг раздался свисток.

Павел Павлович очнулся, всплеснул руками и бросился бежать сломя голову; поезд уже тронулся, но он как-то успел уцепиться и вскочил-таки в свой вагон на лету. Вельчанинов остался на станции и только к вечеру отправился в дорогу, дождавшись нового поезда и по прежнему пути. Вправо, к уездной знакомке, он не поехал,— слишком уж был не в духе. И как жалел потом!

СОДЕРЖАНИЕ

ДЯДЮШКИН СОН. *Из мордасовских летописей* . . 5

СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ. *Рассказ* 119

ВЕЧНЫЙ МУЖ. *Рассказ* 165

Достоевский Ф. М.

Д70 Дядюшкин сон. Скверный анекдот. Вечный муж.— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1986.— 285 с.

1 р. 80 к.

В книгу включены сатирические произведения Ф. М. Достоевского, написанные в 1850—1860-е годы, а также рассказ «Вечный муж» (1869), который, как и «Дядюшкин сон», был создан на основе впечатлений семипалатинского периода жизни писателя. Показывая в нем смешение трагического и комического, пошлого и высокого в сознании и поступках своего героя, Достоевский эту сложную диалектику чувств тирана и жертвы связывает с темой униженного достоинства человека.

Д $\frac{4702010100-075}{М\ 140(03)-86}$ без объявл. 84Р1

Федор Михайлович Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН

●

СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ

●

ВЕЧНЫЙ МУЖ

Редактор З. С. Колодина
Худож. редактор В. З. Вешапури
Техн. редактор Г. В. Стачева
Корректор Е. В. Филатова